

**ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ**

**Глава первая**

Рано утром над Большим Городцом грохнул выст­рел, залаяли собаки, с надрывом кто-то заголосил в со­седнем доме, словно хоронили покойника. За окном за­кричали по-немецки, опять хлопнул выстрел, этак глухо хлопнул, отдаленно, затем совсем близко прострочила автоматная очередь. Настя Усачева подбежала к окну, отодвинула край занавески, вся напряглась, вся пре­вратилась в слух и зрение.

На улице немцы и полицаи бегали, строча из авто­матов, офицер давал отрывистые команды. Свернули к дому Степачевых, кто-то ударил прикладом в калитку. Настя отпрянула от окна, перевела дух, потом снова отодвинула занавеску. Немцы ломились в соседний дом. «Ужели конец? — подумала она. — Ужели кто-то выдал? Что делать? Куда спрячешься? На чердак? В подвал?»

У Степачевых с калитки сорвали дверь. Солдаты ри­нулись во двор. Случилось что-то страшное. Провал. Кто-то предал... Кто? Она вышла в сени и снова прислушалась, ожидая, что вот-вот придут и за ней. В се­нях темно и прохладно, и она хотела бы затеряться в полутьме, зарыться в сено, а может быть, через огород задами и... в лес. Подумала так и сразу отогнала эту мысль. А как мать? Могут схватить ее. Они все могут, решительно все: могут убить, арестовать, поджечь

дом, увести корову.

Мать Насти — Екатерина Спиридоновна — стояла на коленях перед образами, истово крестилась.

— Господи милостивый! Упаси нас, грешных... От на­пасти юродивых упаси!

Настя села на скамейку, тихо сказала:

— К Степачевым вломились.

— К Степачевым? Сколько говорила тебе: не якшай­ся с этими Степачевыми. Они что? Пустышные. Неза­мужние... Ветер у них в голове... Ах, Настя, Настя! Попадешь в лапы к эсэсям окаянным — изуродуют, а то и просто застрелют. Им что...

Старуха заплакала, утирая слезы. И чувство жало­сти переполняло Настю, она готова сама была запла­кать. И на самом деле: вот ее, Настю, заграбастают, и как мать будет жить одна, кто поможет ей? Братья — неведомо где. На фронтах, в партизанских отрядах — никто не знает. Да и живы ли? Единственная опора — она, дочка. И кормилица и защитница — только она, и никто больше.

— Ладно, мама, ладно, не бойся. Ничего плохого не случится. Поверь мне — ничего.

— Супостатов боюсь. Сколько людей погубили!

Да, фашисты многих обездолили, осиротили. Поруху принесли, тяготы. Страх. Смерть... Пришли, словно рать озверелая. Что натворят — никому не ведомо. Настя встревожена. Тоже страшно. Боялась за Степачевых. До­ма ли они? Светланка Степачева сегодня ночью должна пойти на связь к леснику Прохорычу. А вдруг ее уже схватили? Что тогда? Провал и новые жертвы. Может, и Настю схватят? Все может быть. Решительно все.

Не терпелось выйти на улицу, разузнать, что и как. И все же боязно выходить: улица стала чужой, опас­ной— там разгуливают фашисты, полицаи. Лютуют не без причины. Настя уже знала: партизаны в селе Ракушеве раскокошили фашистский гарнизон, а на стан­ции Лесная взорвали эшелон с боеприпасами. От воз­душной волны сорвало крышу вокзала, в домах вылете­ли стекла, загорелись склады. Получилась развеселая карусель: фашисты бегали по улицам в подштанниках, кричали и ругались, стреляли из автоматов в непрогляд­ную темень. Очухались лишь под утро. И вот злобству­ют. Хватают людей без разбора. Поджигают дома. Не обошли стороной и Большой Городец. Кого схватят? Кто станет очередной жертвой?

Настя подошла к окну, снова отодвинула занаве­ску — на улице тихо и безлюдно. «Ушли, — обрадова­лась,— значит, пронесло...» Только она подумала, как вдруг на огородных задах прогремела автоматная оче­редь, короткая, отрывистая. Поняла — расстреляли ко­го-то. Стриганули из автомата — и поминай как звали. Но кого же, кого? Она отпрянула от окна, поняла: опасность все еще кружит по деревне. Мать истово крестилась и, посмотрев с укором на дочь, что-то не­внятно пробормотала.

В калитку Усачевых громко застучали. Настю точ­но током обожгло. Идти открывать? Не откроешь — дверь выломают, так что надо открывать. Она вышла в сени. Вышла, прислушалась. Да, там, за дверью, были они. Что принесли с собой? Что? Может, смерть?

— Кто там? — спросила громко, хотя и знала, что это они, фашисты.

— Открывай! — кто-то рявкнул по-русски.

«Кто бы это? Голос вроде знакомый, с хрипотцой». И, осмелев, она отворила дверь.

На крыльце были трое — немецкий лейтенант, поли­цай Синюшихин (теперь она поняла, что это он сказал: «Открывай!») и еще солдат с автоматом. В лицо Насти пахнул непривычный запах духов вперемешку с табачным и сивушным запахом.

Духами пахло от лей­тенанта, самогонкой и табачиной — от Синюшихина.

— Принимай гостей! — громко сказал полицай и, широко осклабившись, показал беззубый рот.

Синюшихин был из соседней деревни Нечаевки, жил с матерью-бобылкой, известной на всю округу Дарьей Синюшихой. Синюшихина в колхозе не работала, при­торговывала самогоном. Сын перед самой войной при­шел из отсидки. За что сидел, Настя не знала. Синюшихину — за тридцать, не молод уже, но не женат; в пьяной драке лет двенадцать назад кто-то выбил ему правый глаз, и в армии он не служил. А когда пришли оккупанты, он, Синюшихин, и подался к ним, так ска­зать, готовеньким. И вот выслуживается.

Лейтенант — этакий красавчик, черноволосый и бело­лицый. Военная форма ладно сидела на нем, хромовые сапоги припорошены дорожной пылью. Лейтенант высок и худощав. Синюшихин, приземист и косолап, нагло гля­дел единственным глазом на молодую хозяйку.

— Ай, гут, фрау! Партизан есть?

— Нет никого. Вот мать да сама.

Немец улыбнулся. У Насти немного отлегло. «Авось пронесет»,— подумала так и заулыбалась в ответ не­мецкому офицеру:

— Милости просим. Садитесь, садитесь... — Эти сло­ва она еле выдавила из себя, чуть не проглотила их, чуть не захлебнулась от избытка воздуха, но делать бы­ло нечего, нужно разыгрывать радушную хозяйку.

Синюшихин, точно близкий родственник, подмиги­вая белесой бровью, спросил как ни в чем не бывало:

— Хорошо бы опохмелиться, хозяйка... «Божья сле­за» небось найдется?

— Для кого найдется, а для кого и нет.

— Значит, есть? — Полицай засопел. Широкие но­здри вздрагивали в предвкушении скорой выпивки, а левый глаз начал косить к двери, куда только что ушла Спиридоновна.

— Не нат, не нат! — замахал рукой офицер и смор­щил лицо. — Самокон не нат...

— Господин офицер не желают. Значит, и самогона нет,— подойдя к Синюшихину, ответила Настя.

— Ах, так!— У полицая нервной рябью запрыгали морщинки возле выбитого глаза, кожица неестественно вздрагивала, иссиня-темное веко в глазном проеме так и не открылось. — Я тебе покажу, как с господином по­лицейским разговаривать в присутствии господина офи­цера! — заорал Синюшихин. — Покажу! — Брызжа слю­ною, он начал выплевывать одну угрозу за другой: — Повесить мало! Братья — коммунисты! Я все знаю, гос­подин лейтенант. И сама с партизанами связана. А муж кто? — Синюшихин пружинисто, по-петушиному под­прыгнул и в самое лицо прокричал Насте: — Все знаю, голубка! Решительно все! К партизанам ходишь? — Из гнилого рта выплескивалась тягучая слюна вместе с крошками хлеба. Эти слюнявые и мокрые комочки про­тивно ударялись в лицо Насте. Сразу захотелось пойти к рукомойнику и умыться.

Офицер спросил:

— Эти верни, что он сказаль?

— Нет, неправда,— по-немецки ответила Настя.— Насчет братьев ничего не знаю, где они и что с ними. Откуда мне знать! И муж не знаю где. О его судьбе ничего не известно. А сама — вся тут, на виду... Живу тихо, смирно. Мать еще со мной. Спросите любого — все подтвердят. А он лжет, Синюшихин. Не верьте ему, гос­подин лейтенант.

— Почему по-немецки так хорошо говорите? — спро­сил офицер на своем языке. — Не арийка ли?

— Нет, я русская,— ответила Настя. — А немецкий выучила в школе, потом в

институт собиралась посту­пить.

— Карош, карош,— по-русски одобрил лейтенант. Он заулыбался и продолжал уже на своем родном язы­ке:— Могу устроить переводчицей в комендатуру. Согласны, мадам?

— Я подумаю.

Настя бойко отвечала по-немецки офицеру. Синюши­хин оторопело слушал, ничего не понимал, о чем шел разговор, просто был ошарашен подобным поворотом ситуации. Опохмелки не выгорело,— лицо полицая по­темнело, злобный огонек в левом глазу потух, и вся не­уклюжая фигура его, одетая в казенное обмундирова­ние, обмякла, плечи опустились, пальцы правой руки лихорадочно сжимались и разжимались. Как только на­ступила пауза, он ядовито прохрипел:

— Не верьте ей, господин лейтенант. Она хитрая.

— Хитри? Что такое хитри?

Настя перевела это слово по-немецки. Немец заулы­бался, погрозил предупреждающе пальцем:

— Русская хитри... Карош хитри, карош...

Настя не поняла — то ли ругает ее, то ли хвалит — и сказала отчетливо по-русски:

— Хитрая, но без задней мысли...

Офицер опять заулыбался, поднял правую руку к козырьку, словно отдавал приветствие, щелкнул каблу­ками, повернулся и, четко печатая шаг, направился к выходу. Синюшихин и солдат последовали за ним. У са­мого порога полицай скособочился, приподнял к косяку двери кулак:

— Смотри, Усачева! Гляди! Сейчас повезло. Потом припомню!.. — Он злобно хлопнул дверью. Настя вздрогнула. «Да, этот мерзавец на все спо­собен, решительно на все,— подумала она,— надо с ним поосторожней. Опохмелить бы негодяя». И поняла, что допустила оплошность.

Волнение распирало ее, и она не знала, что делать, что предпринять. Хотелось выскочить на улицу, по­смотреть, что там. Кого схватили, кого убили? Она бы­ла так ошеломлена случившимся, что не могла понять, въяве это или во сне. Все еще не верила, не могла по­верить в то, что вот пришли, поговорили и... ушли. Ждала ареста, чего угодно ждала, но только не такого финала.

Можно сказать, повезло. Здорово повезло на этот раз. Может быть, ненадолго избавилась от беды, но все же... Так боялась зловещего стука в дверь и этого нежелательного визита. Так боялась! Фашисты без причины не заходят в дом. Ищут кого-то, в чем-то за­подозрили, что-то, может быть, уже знают. Возможно, арестовали Степачевых. Может, кого убили. А она, На­стя, тоже связана с подпольем одной веревочкой. А вдруг эта нить порвется? Что тогда? Она торопливо сглатывала воздух, каменела от напряжения и страхов. Подошла к окну, отодвинула занавеску и посмотрела на улицу. Там все еще расхаживали фашисты и поли­цаи. Многие были навеселе. Кто-то угостил пришельцев самогоном. Незнакомый полицай хриплым голосом тя­нул похабную частушку.

«Веселятся,— подумала Настя,— скорей бы уходи­ли...» Она боялась повторного стука в дверь, очень боялась... Глядела на мать. Та опять опустилась на ко­лени, шептала молитвы, крестилась:

— Господи, помоги нам, грешным! Избавь от напа­сти... Спаси и помилуй...

Эти призывы к богу раздражали Настю. Разве по­может бог? Разве услышит молитвы? «На бога надейся, а сам не плошай»,— вспомнила она народную поговор­ку. Только на самих себя и надо надеяться, на свою смекалку. Кто хитрей, тот и победит в этой смертель­ной схватке. Многие погибнут, но правда победит,

жизнь победит.

Мать все еще молилась, истово шептала призывы к всевышнему.

— Перестань молиться! Перестань,— сердито ска­зала Настя. — Бог не поможет. Вот уйдут каратели, схо­ди к Ольге Сергеевне, разузнай, что понатворили фа­шисты.

Мать обиделась. Поднялась с колен, с укоризной проговорила:

— Не хули бога, не охальничай! Он, всевышний, все слышит. Кабы не молилась, кабы не услышал молитвы бог-то... Чтоб тогда? Какая напасть на нас свалится?

— Ох, мама, мама! — завздыхала Настя. — Мы еще не знаем, что каждого ждет впереди. И богу ничего не ведомо. Держаться надо — вот что. Друг за дружку держаться. Крепко. Руками. Всей деревней. Будем дер­жаться— и врага победим. А к Сергеевне сходи. Тебя, старушку, не тронут.

— Ладно, схожу,— согласилась Спиридоновна.— Вот поутихнет, и схожу.

Немцы ушли только в полдень. И Спиридоновна по­шла. Ольга Сергеевна Бавыкина жила на другом кон­це деревни. Не все знали, что она верховодит подполь­ным колхозом. Не знала об этом и Спиридоновна, и все же шла с опаской, боялась за Настю. Да и как было не бояться, когда нехристи врываются в дома, грабят, убивают людей. Словно бы все посходили с ума, все в этом мире стало ненадежным и зыбким, и старухе казалось, что само небо вот-вот обрушится на землю и придавит все живое, все уничтожит. Страхи-то какие! И за что наказанье такое? За какие грехи? Спиридо­новна крестилась и охала, и перед глазами у нее рас­плывались и таяли оранжевые круги.

Улица была пустынной, словно вымерла. Золотистое солнце разливалось повсюду, ласкало землю, а Спири­доновне казалось, что и солнца-то нет, что это не лучи, а огненные стрелы сверкают и пляшут, будто бы хотят поджечь Большой Городец, и заречный лес, и даже зем­лю. Не потому ли и деревня слепо молчит? В каждой избе затаилась тревога. Люди боялись выходить на улицу. Ведь бывало и так, что каратели, сделав утром погром, снова приходили вечером или на другой день, и все начиналось сначала. Немало людей погибло в ок­рестных селах, немало семей ограблено. И люди как могли сопротивлялись, повсюду действовали незримо, тайно. Действовало подполье и в Большом Городце. И душой подполья была учительница Ольга Сергеевна Ба­выкина.

Спиридоновна уважала Бавыкину, и в то же время в душе у нее шевелилась неприязнь к этой смелой и от­крытой женщине. Привязалась к ней Настя, точно бы неотрывным клеем прилепили ее к этой учителке. А учителка — подозрительная для немцев, против фашистов, видать, народ поднимает. Сорвется — и в пропасть. И Настя с ней. Что тогда? Так думала Спиридоновна и злилась на дочку. Не бережет себя, играет с огнем. И доиграется.

Ольга Сергеевна встретила Спиридоновну у крыль­ца, сразу же пригласила в дом, усадила на табурет спросила:

— Настя дома?

— Дома, матушка, дома,— торопливо начала изъяс­нять суть дела Спиридоновна. — Заходили супостаты. Заходили. Перепужалась я, милая ты моя! Думала, Настю сграбастают. Уведут. Офицер-то так и рыскал глазищами, так и шнырял. А она по-ихнему, по-герман­ски, значит, так ловко отвечала. Этим и спаслась, ви­дать. Полицай-то Синюшихин шнапсу вспотребовал. А Настя, дуреха, отказала беспохмельному. Окаянный угрожал...

— Угрожал? И что?

— Пока ничего. Не увели.

— Это хорошо, что цела. А Светланку аресто­вали.

— Светланку? — Спиридоновна от страха выпучила глаза. — Допрыгалась

девка. А Антонина?

— Антонину убили. Из автомата на задах.

— Ой, страсти господни! До чего дожили! Так и Настю могут застрелить. В одночасье могут. Шушука­лась со Светланкой и Тонькой. Светланка к бесям, говоришь, в лапы попалась? Потянет за собой и Настю. Я все вижу, все разумею.

— Разумеешь — помалкивай. Рот на замке держи.

— Молчу. Молчу. От страхов молчу. Боязно. За Настю боязно.

— Пускай зайдет Настя. Дело есть.

— Како еще дело? — Спиридоновна испугалась пу­ще прежнего. Она понимала, что дружба Насти с таки­ми людьми, как Ольга Сергеевна, как Степачевы, к добру не приведет, она догадывалась, что в действиях и поступках этих людей скрывается что-то тайное, опас­ное, связанное с большим риском для жизни.

— Пускай зайдет! — повторила просьбу Ольга Сер­геевна.

— Ладно, скажу,— неохотно ответила Спиридонов­на. — Но ты, голубушка, особливо-то не втягивай ее в тенета. Втянешь, а потом что? Не вытянешь. Жалко мне Настю. Одна теперь у меня. Без нее куда? — Старуха заплакала.

Ольга Сергеевна, приобняв за худенькие плечи гостью, стала утешать ее:

— Ничего не случится с Настей, поверь мне, тетя Катя. Решительно ничего. И Светланку вызволим. Чай, на своей мы земле, на советской. А они, фашисты, временно гостюют. Красная Армия наступает, и гляди, как теперь у этих «гостей» под ногами земля горит. Не горит — полыхает. Пламенем-то этим и нас иногда под­палит. Не без этого. Но дышать стало легче. Теперь мы играем, а они под нашу музыку пляшут. Слыхала, как на станции-то прогремело?

— Слыхала. Как же.

— Ну вот то-то. Пусть боятся они нас, а не мы их...

Старуха смотрела на Ольгу Сергеевну, смотрела не­доверчиво, с опаской: беду принесет в деревню, такую бедовуху, что сам черт не расхлебает.

— Стреляли-то на задворках в людей. Антонину убили. А завтра кого?

— На то и война, тетя Катя.

— Но ведь сгубили человека...

— Антонину сгубили, а их человек десять на тот свет отправим. Мстить будем, тетя Катя. Так что иди, иди и не бойся...

Спиридоновна пришла домой и накинулась на Настю:

— Антонину убили. Светланку увели! И ты за ними? Туда метишь? И когда ума наберешься, непутевая?

У Насти екнуло сердце, нехорошо так сжалось и опустилось, будто бы раскололось надвое. Она глядела на мать и не знала, что сказать в ответ, о чем спросить. Понимала, что впереди опасная дорога, может, опасная для жизни, но она должна была пройти этой дорогой до конца.

**Глава вторая**

Притаилась деревня Большой Городец, словно бы окунулась в дремоту, словно бы вымерла: улица пустынная и тихая — никто не выходит из дому. И собаки притаились в подворотнях, и куры не кудахтают, да и кур-то осталось десятка полтора, не больше. Притаились люди в ожидании перемен, к лучшему или худшему. Но хорошего ожидать было нечего: фашисты могли повторить налет.

И счастье Большого Городца состояло в том, что деревня как бы на отшибе от главной дороги. От большака к ней шел узенький проселок. Глухое место, темное для чужака, в лихую годину небезопасное. Потому не так часто заглядывали сюда фашисты — опасались на рваться на партизанскую засаду.

На взгорках возле деревни рос хвойный лес, а дальше, в распадках — береза, ольха, осина. Меж ольховых густых зарослей протекала речка Радожка, мелководная и неширокая, она впадала в нижнем своем течении, километрах в трех от деревни, в небольшое продолговато озерцо. Озеро это языкасто врезалось в непролазную лесную глухомань. Туда и ходили на связь деревенские подпольщики, приносили вести от партизан, и в послед нее время все более обнадеживающие. Партизаны били фашистов все смелей и решительней, и люди чувствовали, что приближается час освобождения.

В Большом Городце действовал подпольный колхоз. Действовал уже не первый год, люди работали артельно, и урожай распределялся по трудодням. В этом подпольном колхозе Настя Усачева вела бухгалтерский учет, хранила протокольные записи.

Когда пришли фашисты, старостой в деревне назначили Алексея Поликарповича Максимова, человека степенного, уравновешенного, рассудительного и справедливого. Уже тогда, в августе сорок первого, по предложению Максимова хлеб и картофель были убраны артельно,— часть урожая все же пришлось отдать окку­пантам, остальное распределили среди колхозников с добавкой на сохранность семян под посев будущего го­да. Большегородцы надеялись, что Красная Армия ос­вободит деревню к весне и семена пригодятся.

Колхоз вроде бы распался и вроде бы действовал. Глубокой осенью в дом к Максимову пришли Ольга Сер­геевна Бавыкина и Настя Усачева. Пришли с предло­жением избрать новое правление и записали все это в протоколе.

— Существует он и так, колхоз-то,— сказал Макси­мов. — Урожай распределили, коровы и овцы — в Рысьих Выселках. За ними люди приглядывают, обряжают.

Староста сидел на лавке, большой и неуклюжий, бо­родатый, и руки его большие неподвижно лежали на ко­ленях. В глазах не то испуг, не то удивление.

— Коров сберегли и уток даже, вот чем кормить бу­дем?— Максимов вопросительно глядел на Бавыкину и ждал ответа.

— Часть скота партизанам сдать надо, на мясо,— предложила Ольга Сергеевна. — Заприходовать все кор­ма и выдавать строго по норме.

— Так-то оно так.— Было не понять, соглашался или не соглашался с Бавыкиной староста, долго мол­чал, теребил бородку, потом спросил: — Где они, эти партизаны? Их что-то не слышно.

— Как же так, Поликарпыч! — глядела на него ис­пытующе Ольга Сергеевна. — Партизаны действуют. И не так далеко от нашей деревни.

— Ах вот как! — староста заволновался. — Где же они объявились, эти партизаны?

— Секрет, Поликарпыч.

— Ну, раз секрет, скотину не сдам,— отрезал Мак­симов.— Вот придет Красная Армия — тогда и разговор другой...

— А если не придет в ближайшее время? И немцы пронюхают, где наша ферма, что тогда?

— Пускай забирают немцы. Расписку с них возьму.

— С той распиской ответ держать будешь перед Со­ветской властью.

— Не пужай, не пужай. Если надо — отвечу. Скажу, что под угрозой сдал, что некому было сдавать.

— Сдавать есть кому. И Советская власть у нас действует. Где есть советские люди — там и власть Со­ветская. А вот колхоз, как таковой, на сегодняшний день вроде бы и существует, а вроде бы и нет. Негоже так, Поликарпыч, надо все по закону оформить. Собрать актив и на нем избрать правление. А потом как правление решит — так и будем делать.

Максимов долго думал — взвешивал все «за» и «против». Дело не шуточное — колхоз в тылу врага, а ведь он тут, в деревне, староста. Узнают немцы — головы не сносить. Его первого и вздернут. А кому охота болтаться на веревке? Нет, пускай уж так, как оно есть. Работать артельно, никаких записей не производить, немцам, что потребуют, сдать, ну, а часть и партизанам можно подбросить. Только где они, эти партизаны? Днем с огнем не найдешь. Попрятались в лесах, ви­дать, отсиживаются, словно те медведи в берлогах. Не ведь зимой медведь пускай там и отсыпается, не ест и не пьет, лапу сосет, но живой, и небось сердечко у него постукивает. А люди есть люди, тем более свои они, по­жалеть их надо.

— Обождем малость, Ольга Сергеевна,— начал воз­ражать Максимов. — Повременим до весны. Там, гля­дишь, солнышко припекать начнет, и партизаны в ле­сах начнут пошевеливаться, и Красная Армия подойдет. От Москвы фрицев, говоришь, шуганули?

— Прогнали с треском. А партизаны — они тут ря­дом, свои. И если ты, Поликарпыч, пойдешь супротив них — пеняй на себя.

— Опять начала пужать! У меня сыновья в Красной Армии,— уже сердясь, сказал Максимов. — Немцам пока ничего не дадим. А насчет колхоза — подумать на­до, обмозговать подетально. Дай сроку дня два-три — подумаю.

На этом и порешили. А через неделю провели со­брание актива, избрали правление. Председателем ут­вердили Максимова, заместителем — Бавыкину. Вошла в правление и Настя. Вела она первый подпольный про­токол. Секретарствовала и на других заседаниях и все документы хранила в тайнике.

Колхоз «Заря» стал жить своей необычно тревожной трудовой жизнью. Бригадиры давали наряды колхозни­кам, Настя вела учет, к севу готовились семена. Партизанам были отправлены мясо и мука.

Двенадцать коров и двадцать четыре овцы были уп­рятаны в лесу, километрах в трех от деревни, в так на­зываемых Рысьих Выселках. Там когда-то был хутор. Жили в том хуторе эстонцы-маслоделы, но лет десять назад выехали — и место запустело, стало обрастать кустарником. Жилых построек в Выселках не сохранилось, был лишь большой крытый сарай, в котором ко­гда-то хранилось сено, уцелело и старенькое гумно да байнюшка. В сарае и гумне разместился скот, а в байнюшке жили скотницы.

Здесь же, в Выселках, зимовали и колхозные утки. Летом и осенью кормились в лесном озерце Николь­ском. У самого берега была сколочена временная птицеферма и тут же — сторожка для жилья.

Всю зиму сорок первого и сорок второго года Боль­шой Городец будто спал беспробудным сном, спал под снегами в ожидании лучших времен. Люди редко выхо­дили из дому, а если и выходили, то только по крайней необходимости. Шла скрытая работа, на первый взгляд незаметная, на ферме и еще более скрытая — в глубо­ком подполье, где обсуждались важные общественные дела, налаживалась связь с партизанами. В лесные деб­ри на самодельных лыжах уносились связные, возвра­щались с газетами и листовками. Новые вести прино­сили и радость, и печаль, а главное — надежду на ос­вобождение. И Большой Городец жил своей неторопкой жизнью, жил так, как мог жить в тяжелых условиях оккупации. Фашисты редко наведывались сюда, словно бы забыли, что где-то существует деревня под названи­ем Большой Городец.

Однако весной, когда растаяли снега, немцы зача­стили, а в начале мая в Большом Городце обосновался фашистский гарнизон. Правда, гарнизон был неболь­шим — всего человек двадцать, но все же немцы пригля­дывались ко всему, подмечали, что делается на улице, на полях, на лесных дорогах и тропах. Да и полицаи частенько наведывались в Большой Городец: они знали лучше, чем немцы, местных жителей и могли в од­ночасье сотворить непоправимую беду. Но тут выру­чала самогонка. Полицаи были падки на выпивку и, возвращаясь в волостную управу под изрядным хмель­ком, нередко везли объемистую бутыль

«божьей слезы» самому бургомистру.

В деревне стало неспокойно: люди жили с оглядкой, ежечасно опасаясь попасть в немилость незваным при­шельцам. Командовал фашистским гарнизоном в Большом Городце обер-лейтенант Грау. Высокий и худоща­вый, лет сорока пяти, волосы ежиком, когда он сердил­ся, глаза стекленели и по-совьи округло впивались в со­беседника.

Первым делом Грау собрал всех жителей на сходку. Из бывшей читальни по его приказу вынесли стол, и Грау, взобравшись на него, картинно жестикулируя, начал свою речь:

— Сопротивление Красной Армии сломлено, и скоро доблестные войска великой Германии займут Москву и Ленинград...

«В прошлом году об этом же трубили,— подумала Настя,— и снова об этом же трубят. Недаром сказано: “Видит собака молоко, да в кувшине глубоко"».

Грау между тем продолжал:

— Кто будет хорошо служить новой власти и помогать в борьбе с партизанами и саботажниками, тот быстро разбогатеет. Фюрер добросердечен к тем, кто ему верен и кто ему служит...

Грау вылаивал слова пронзительным фальцетом, и эти слова Настя воспринимала точно грязную ругань, понимая без переводчика, и снова подумала: «Никто в холуи не пойдет к вам, никакие посулы не соблазнят» А как было бы хорошо взобраться на стол и выкрикнуть это в лицо немецкому офицеру. Подумала так и быстро подалась вперед, но вовремя спохватилась «Да что я, очумелая! Надо держаться, надо терпеть. Бо­роться разумно и осторожно... А там придет и на нашу улицу праздник. Обязательно придет!..»

Офицер пообещал дать семян на посев, но с обязательным условием: большегородцы должны осенью сдать германскому вермахту три тысячи пудов зерна. Шутка ли сказать — три тысячи!

— А если мы будем сеять каждый не свою полоску, а как раньше — на общем поле артелью? — спросил у не­мецкого офицера староста Максимов. — Остались три полудохлые лошади, а тракторов и вовсе нет...

— Сейте,— согласился Грау,— но землю разделите. Колхоза не будет. Вермахт разрешает частную инициа­тиву. За сдачу хлеба отвечает головой староста. Потребуем сполна.

Сказал, словно отрубил, и спрыгнул со стола.

Народ зашумел, заволновался: шутка ли — три тысячи пудов!

А что самим останется? Солома да мякина... Эх, Максимов, Максимов! И зачем пообещал? А вдруг зем­ля не родит и люди не захотят гнуть спину на фаши­стов?

Семена, которые обещал выделить Грау, не поступи­ли. Собирали зерно с каждого двора по нормам, кото­рые определило подпольное правление колхоза. Дейст­вовали осторожно. Предварительно выявили возможно­сти каждой семьи, собирали семенное зерно в основном на добровольных началах. Все знали, что надо сеять: не посеешь, как говорят, не пожнешь. Сеяли рожь ста­рики, женщины и подростки заборонили, и земля пусто­вать не осталась.

Когда подоспел сенокос, траву косили тоже сообща, артелью. В одиночку косили — что поближе, а на даль­них пожнях — для общественного стада. Все шло своим чередом. Но оккупанты стали догадываться о чем-то: все от них скрыть было нельзя, просто невозможно. Грау вызывал Максимова, орал на него:

— Поощрять надо частную инициативу! А у вас что? Скопом работаете.

Максимов объяснял через Настю, изворачивался, как мог, говорил, что в России, дескать, и раньше крестьяне работали общиной и называлось это «помочью».

— Община,— квакал Грау. — Я покажу тебе общи­ну. На веревке будешь

болтаться.

Чертыхался, грозил, стучал кулаком по столу, но Максимов был невозмутимо

спокоен, неторопливо вер­тел в руках кисет, не спеша свертывал самокрутку, долго высекал кресалом искру, прикуривал, молчал. Но Грау еще пуще свирепел, казалось, он выхватит из ко­буры пистолет и выстрелит в Максимова. Настя толкала старосту туфлей в сапог, предупреждала об опасно­сти, а Максимов все дымил и молчал.

— Земля была разделена. — Грау уже сбавлял крик­ливость на обычный разговор. — Землю поделили, а ра­ботаете как?

— Люди привыкли артельно работать,— стоял на своем Максимов. — Привыкли, господин обер-лейтенант. И до колхозов так работали.

Настя переводила слова Максимова, с беспокойством поглядывала на него и думала: «Тяжелую ношу взва­лил на свои плечи Алексей Поликарпович. Надо и уро­жай вырастить, и фашистов обхитрить, раздать зерно колхозникам и партизанам помочь. Оккупанты наседа­ют с каждым днем все наглей, того и гляди, раскроют все планы подпольного колхоза. И что тогда?»

Офицер между тем как бы читал мысли старосты, впивался в него совиными глазками:

— С партизанами связь держите? Под их дудку пляшете?.. Доиграешься, староста. Если хлеб не сдашь сполна, расстреляем.

Максимов отвечал с крестьянской хитрецой:

— Цыплят по осени считают.

Настя дословно перевела эту фразу. Немец не понял, погрозил пальцем:

— Каких цыплят? Я покажу тебе, старый, не только кур, но и скорлупку от яиц. Будешь жрать ее сам, скорлупу. Говори, в чем дело, мокрая курица! Выкладывай мне своих цыплят! Придет осень — новых потребую!

— На осень заглядывать не будем,— уклончиво отвечал Максимов. — Будет осень — будут и яйца. А не будет яиц — скорлупу будем есть.

Настя переводила эту фразу, переиначив:

— Куры много принесут — для всех хватит.

Грау кивал головой в знак согласия и отпускал с миром старосту и переводчицу.

Фашист не раз грозил Максимову и расстрелом, и виселицей, а в лучшем случае обещал посадить в кутузку на казенные харчи. И всякий раз Настя выручала старика, переводила слова Максимова таким образом, что немец оставался довольным и отпускал его. А бывало так: после очередной беседы в комендатуре Грау приходил в гости к старосте на дом, приглашали и Настю. Максимов угощал немца медком, самогончиком с калгановым настоем, затем, если была это суббота, приглашал в баньку, парил березовым веником сутулую спину коменданта, после баньки снова угощались медовухой, и немец добрел, хвастался тем, что в Германии у него хорошая усадьба, что породистый скот, что растет отменный картофель и что этим картофелем он откармливал свиней.

— А что тут? Дыра. И небо у вас дырявое. И лес темный, буреломный: пойдешь — ногу сломаешь.

Настя с усердием переводила Максимову все разглагольствования обер-лейтенанта, Максимов слушал, кивал головой, поддакивал, иногда хмыкал и подливал «гостю» новую порцию самогона. Грау пил, закусывал огурцом и вслух мечтал о том, что окончится война и что он как победитель вернется в свою благодатную Баварию пить пиво, выращивать картофель и отвозить на бойню откормленных свиней.

Уже в конце июля в Большой Городец нагрянула беда, может быть, и не самая большая беда, но она, эта беда, была словно бы предвестницей новых больших бед и новых тяжких испытаний. Из райцентра фашисты прислали комиссию по определению урожая на корню. А что это обозначало — знал почти каждый: после уборочных работ все заберут подчистую. Тут уж как ни крути, а вынь да положь: сам не отдашь — возьмут силой.

Комиссия отправилась в поле, где наливалась рожь. Немецкий интендант, низенький и кривоногий, выпячивая пузцо, быстро перебирая короткими ножками, по­шел вдоль полосы, сорвал несколько колосков и своими пухленькими ладонями быстро-быстро начал растирать их. Затем пофукал на ладони, сдунув шелуху, и горсточку зерен ловким броском отправил в рот, начал жевать. Пожевав, проглотил. Лицо расплылось в улыбке и, подбежав к старосте, на ломаном русском языке начал говорить:

— Путь, путь... Скольки? — И сам себе ответил: — Путь сто. Тяк?

— Так-то оно так, да не совсем так,— ответил Максимов.

— Скольки с гектар?

— Пудов шестьдесят — больше не получится. — Максимов упрямо мотнул головой. — А посередке поля — и того меньше. Плешин не сосчитать, голых мест.

— Плесин... Что такое плесин?

Максимов снял кепку, наклонился и показал немцу на свою плешивую голову. Плешь у старосты была небольшая, с редкими волосинками на макушке.

— Вот как тут плешь,— проговорил Максимов.— Почти голо,— и, махнув рукой в поле, добавил: — И там голо — плешь.

Немец разгадал хитрость старосты, насупился и, разгребая короткими руками стебли, направился к середине поля.

— Пошель, пошель,— манил он за собою старосту, тот нехотя поплелся за интендантом.

Вернулись минут через десять. Настя услышала, как немец угрожающе твердил одно и то же:

— Сто путь. Сто.

— Ну сто так сто! Пускай будет сто,— махнул рукой Максимов. — Пишите хоть двести. Цыплят по осени считают...

Задание на сдачу хлеба было дано заведомо нело­яльное. И как выкрутиться из этого положения, подпольные правленцы и сами не знали. Вносились разные предложения, но ни одно из них не было принято. Хлеб решили убирать. Надеялись на то, что немецкий гарнизон уйдет из села. А когда немцев не будет, и выход из положения найдется сам собой.

Так оно и получилось. Немцы ушли. Хлеб убрали весь. Сразу же в поле его обмолотили и распределили по трудодням. Часть зерна была надежно упрятана в лесных тайниках для сдачи партизанам и на семена. Снопы сложили в скирды и ночью их подожгли.

Когда вернулся Грау со своей зондеркомандой, то обнаружил в поле один лишь пепел. Максимов сказал фашисту, что скирды, еще не обмолоченные, кто-то ночью поджег. А кто — в селе никто толком не знает: то ли партизаны, то ли еще кто. Деревенские не поджигали — самим вот как хлеб нужен.

Через два дня в Большой Городец приехал карательный отряд гестапо. Начались допросы. Вызывали женщин, подростков, даже детей. Все в один голос заявляли, что не знают, кто подпустил красного петуха под скирды, может, от молнии загорелись. Горели скирды ночью, все в это время спали, а когда утром проснулись, скирд уже не оказалось. Поохали, поахали и разошлись. Староста тоже, как мог, оправдывался, говорил, что он тут ни при чем, не мог же он поджечь сам: германскому рейху верой и правдой служит. Но, как ни оправдывался, вся вина легла на него.

Максимову связали руки, связанного, били по лицу, а затем, упавшего,

шпыняли сапогами в бока. А когда бить устали, бросили в курную баньку под строжайшую охрану. Утром опять его вывели на улицу, снова били, требовали сказать, куда спрятан хлеб. Ничего не добившись, объявили приговор: за невыполнение приказа вермахта сжечь живым на костре.

Максимов стоял на коленях в разорванной рубахе, с запекшимися пятнами крови, лицо в синяках, редкие седые волосы багряно слиплись, один глаз выбит, и окровавленный, багрово-темный провал глазницы слезился тоненькой струйкой алой крови. Староста слегка постанывал, и единственный глаз его вонзался в палачей угрожающе строго.

Настя стояла тут же, в толпе, ей было больно и жутко глядеть на этого истерзанного пытками большого человека. Она словно бы принимала в себя всю ту боль и все те муки, которые так мужественно переносил Алексей Поликарпович.

Двое солдат подхватили Максимова и повели к сараю. Он не шел, а волочился ногами по земле, нисколько не сопротивляясь. Сарай подожгли с двух сторон, а когда пламя стало облизывать крышу и стены, солдаты в открытую дверь втолкнули Максимова прямо в прожорливую пасть огня. Он успел приподнять голову и выкрикнул:

— Держитесь!

И его поняли все, в ужасе отпрянув от полыхающего костра. Прошло еще несколько мгновений — пылающее покрытие сарая с треском и воем обрушилось, словно огненная крышка гроба.

Народ зашумел, одни плакали, другие истово крестились, кто-то издал протяжный стон. Все знали: Алексей Поликарпович Максимов никого не выдал, ни­чего не сказал палачам и тайну унес с собой навсегда.

**Глава третья**

Подпольное правление колхоза собралось ночью в избе Бавыкиной. Люди приходили поодиночке, и Ольга Сергеевна каждого встречала в сенях с фонарем в руке. Когда все собрались и расселись по местам — кто на пол, кто на скамейке, кто на стульях,— хозяйка обве­ла всех внимательным взглядом и тихо сказала:

— Разговор будет серьезным и секретным. Я думаю, вы поняли меня?

— Поняли, поняли,— сразу ответило несколько го­лосов. — Слушаем тебя, Ольга Сергеевна.

Она молчала и пристально всматривалась в лица то одного, то другого, как бы проверяя верность и надеж­ность каждого. Каратели только что побывали в Большом Городце. Еще одна жертва. Фашисты могли в лю­бую минуту появиться снова — кого-то убить, кого-то схватить. Не исключено, что в деревне появился преда­тель: ведь кто-то выдал сестер Степачевых.

— Положение, товарищи, тревожное,— начала Ба­выкина,— только выдержка и высочайшая бдительность могут спасти нас в этом крайне тяжелом положении. Колхоз, как и прежде, должен работать по законам Со­ветской власти.

Голос Бавыкиной вздрагивал от чрезвычайного вол­нения, и в такт ее голосу слегка подмигивал и колебался слабый язычок керосиновой коптилки. Настя слуша­ла Ольгу Сергеевну, и сердце ее тоже отстукивало секунды, будто било в набат.

— Убили Антонину, арестовали Светлану,— продолжала Ольга Сергеевна,— вырвали еще одно звено из нашей цепи, но цепь сомкнулась и не разорвать ее. Я верю, твердо верю — Светлана выстоит! А мы постараемся вызволить ее.

— Жива ли? Может, тоже убили?

— Все может быть, но фашистам она живой нужна. Попытаются вырвать от

Светланы нужные сведения.

— Значит, пытать будут? — кто-то спросил из темноты.

— Могут,— ответила Ольга Сергеевна.

Все притихли, и эта тишина, такая робкая, точно траурная, продолжалась

несколько минут, потом Бавыкина снова начала говорить. Голос ее — спокойный,

ровный и в то же время призывный:

— Враг коварен и хитер, но и мы не лыком шиты. За два года войны кой-чему научились. Помните ту зиму, первую военную? Было трудно. Фашисты пытались превратить нас в послушных рабов. Но что у них из этой затеи получилось? А ровным счетом ничего. Как ни старались поставить на колени — не сработала машина. Ведь отправили через линию фронта в осажденный Ленинград две подводы с хлебом!

— Помним, помним! — раздались голоса.

— Все было сделано так, что комар носа не подточит. Хлеб убрали, а фашистам кукиш показали. Партизанам же отправили больше двух тонн. Только жаль Алексея Поликарповича...

Снова все приутихли. Гибель Максимова была еще так свежа в памяти у всех, что когда вспоминали о нем, то казалось, Алексей Поликарпович все еще живой, что ушел, может быть, в соседнюю деревню, загостевался у милого дружка, что пройдет день-другой — и вернется как ни в чем не бывало. Но дни бегут, за днями — недели, прошел уже почти год, а Максимова нет и нет, только память осталась о нем.

Правленцы засиделись допоздна. Все обговорили. Прикинули, как сберечь урожай. Хлеба были хорошие, колос тяжелый. Такой богатый хлеб надо было убрать и спасти. Раз в сорок втором фашистов обманули, то уж в сорок третьем хлеб надо было убрать и упрятать. Немцы взяли на учет все и наверняка будут следить за уборкой и обмолотом, но следи не следи — сила была уже на нашей стороне. Партизаны действовали все решительней и смелей. Теперь уже не отдельные деревни, а целые районы контролировались народными мстителями.

Когда все разошлись, Ольга Сергеевна попросила Настю остаться.

— Дело есть, и неотложное,— сказала она. — Завтра пойдешь в Рысьи Выселки. На связь.

— На связь? Я там еще не была.

— Дорогу знаешь. Маша Блинова сначала встретит. А затем скажет, как дальше идти.

Значит, теперь она должна быть связной вместо Светланки Степачевой. Обрадовалась, что доверяют: будут встречи с новыми людьми, тайные явки. Возможно, придется побывать в партизанском лагере, может, отправят на Большую землю...

Подруги вышли на улицу. Над притихшей землей сверкал бесчисленными звездочками огромный купол неба. Безмолвие охватило землю. Окна домов слепо глядели на улицу, иногда кой-где вздрагивал слабый огонек, вздрагивал и гас, точно боялся ярко вспыхнуть. За речкой виднелась еле различимая, окутанная сумраком стена леса. Все притаилось и замерло в непо­движности: и деревня, и речка, и лес, и, конечно же, притаились люди — ждали чего-то, каких-то перемен. Все было зыбко в этом мире, неопределенно, загадочно. Какая судьба уготована Насте — об этом она тоже ни­чего не знала.

На другой день отправилась на связь в Рысьи Вы­селки. С кем конкретно предстоит встреча, не могла предполагать, и какие получит инструкции для Ольги Сергеевны — тоже неизвестно.

Было утро. Обогнув озеро, углубилась в лес. Доро­га глухая и узкая, по ней давно не ездили, вдоль колеи по бокам росли небольшие деревца ольхи и вереск, а между ними из-подо мха проклюнулись коричневатые шляпки маслят. В лесу полусумрачно: косые лучи солнца еле пробивались сквозь крону могучих деревьев, струились мерцающими снопиками. Где-то совсем рядом зачирикала варакушка и тотчас умолкла, за овражком захрустел старый сушняк — видимо, пробирался в ни­зинные заросли сохатый.

А вот и лужайка налево от дороги, густо поросшая травой. На траве — капельки

росы поблескивают алмаз­ными зернышками. И опять недалеко пропела варакушка, и в ответ ей напевно ответила иволга. Настя оста­новилась. Тихо вокруг, кажется, и нет войны.

В Выселках Настю встретила Маша Блинова, моло­дая, кареглазая, расторопная и работящая; про таких говорят — огонь баба. Здесь Маша обряжала коров, приглядывала за телятами.

— Не хочешь ли молочка? — первым делом предло­жила она Насте. — Свеженькое, парное. Только что подоила.

— От молочка не откажусь,— ответила Настя.

Ответ ее был паролем. Она поняла, что этот ответ сработал, Маша заулыбалась, приобняла Настю за пле­чи, тихо проговорила:

— Гость ждет тебя там, в сторожке, у озера. Завтрак ему только что носила.

— А кто — не знаешь?

— Свой человек. Хороший. Иди, не бойся.

Настя шла по тропинке вдоль ручья. Солнце уже припекало изрядно, над головой назойливо гудели слепни. Она отломила ольховую веточку и начала отмахиваться. Тропинка углубилась в сосновый лес, где была легкая прохлада и терпко пахло хвоей и папоротником.

А вот и озеро, небольшое, круглое, окаймленное густыми зарослями ольхи и березы. По водной глади бесшумно плавают утки, кормятся тут чем бог послал — озерной травкой, мелкой рыбешкой. Это ее, Настина затея: она настояла, чтобы сохранили утиную ферму Уток осталось десятка три, не больше, но и то хорошо. Закончится война — пригодятся для развода.

Она остановилась у берега, наклонилась и зачерпнула в ладони воды. Капли, искрясь на солнце, стекали обратно в озеро, и Настя плехнула воду от себя. По зеркальной глади прокатилась серебряная рябь. Потом снова зачерпнула и начала обмывать лицо. Вода была приятной, освежающей. Затем взошла на мостки и стала звать уток:

— Ути, ути...

Но утки не слушались, поплыли на середину озера. Она повернулась к берегу и вдруг увидала его, того человека, к которому шла. Человек стоял и пристально глядел на нее черными пронзительными глазами. Он был невысок и плотен, лет сорока пяти, лысая голова. Одет просто: синяя косоворотка навыпуск, черные галифе, аккуратно заправленные в сапоги.

— Здравствуйте, Усачева,— сказал он по-домашнему, словно знал ее давно.

Она подошла к нему, подала руку.

— Заждался я вас,— продолжал он, поглаживая лысину.— Давайте знакомиться. — Фамилия моя — Фили­монов, Степан Павлович.

— Да я вас знаю, Степан Павлович. Вы — секретарь райкома.

— Теперь уже подпольного райкома,— пояснил он.

— А как вас звать? Фамилия мне известна — Усачева, а по имени вот не знаю.

— Настя.

— Хорошее имя — Настя, Анастасия. Очень хорошее.

— Да уж как родители нарекли,— смущенно ответила она. «Да что это я,— подумала она,— ведь он такой простой, и слова у него такие простые, и взгляд теплый, ласковый. А я растерялась потому, что вот здесь, в лесу, так неожиданно повстречалась с секретарем райкома партии. И разговаривает он — словно бы с давней знакомой. Значит, доверяют, значит, нужна».

Посмотрев на тихое озеро, он начал непринужденно вести разговор:

— Ну что ж, Настя. Я — человек дела. Хочу знать все подробно, что у вас произошло.

— Что в Городце были фашисты, вам известно?

— Кое-что знаем. «Гости» пришли, «гости» и ушли. Беду принесли?

— Убили Антонину Степачеву, а Светлану увезли.

— И об этом знаем. Были аресты и в других деревнях. Люди гибнут... Изучаем причины. Сделаем соответствующие выводы. Будем думать, как освободить арестованных. Задача трудная. А что вы собираетесь де­лать у себя?

— Правленцы совещались. Хлеб решили убрать. А как уберечь от фашистов?

— И об этом тоже подумаем.

— Приедут и закрома очистят. Где-то надо спрятать зерно.

— Разумеется, этот вариант предусмотрим. Хлеб фашистам не отдадим. Он наш хлеб, советский. Часть сдадите в счет хлебопоставок. Партизанам. Остальное распределите по трудодням.

— Легко на словах, Степан Павлович. А как на деле получится?

Филимонов задумался. Он сидел на пеньке и глядел на зеркальную гладь озера. Достал кисет, свернул самокрутку и долго кресалом высекал огонь. Прикурив, глубоко затянулся, приглушенно закашлялся. Настя внимательно смотрела на него: под глазами глубокие морщинки и синеватые тени, на висках густая проседь, лицо его выражало глубокую усталость и озабоченность.

— Да, тяжело нам,— произнес наконец Филимонов и вздохнул. — Теряем людей, и таких хороших людей... Но что поделаешь? Слышали новость? Разгромили фашистов под Курском. Освобождены Орел и Белгород.

Настя почувствовала, как возбуждающая радость переполняет ее. Наши победили! Под Курском. Значит, будет свободен и Большой Городец, другие села, другие города. Скорей бы это времечко пришло! Скорей бы! Она смотрела на Филимонова сияющими глазами. Он заметил, как она волнуется, и в ответ заулыбался.

У Насти от радости перехватило дыхание, и, немного отдышавшись, она продолжала вслух:

— Степан Павлович, какую радость принесли вы нам! Какое счастье! Давайте я вас расцелую. — И она припала к его щетинистой щеке. — Вот обрадуются колхознички! Вот обрадуются! И надо же — Орел и Белгород освободили! Теперь скоро и к нам наши придут. Ведь придут же, Степан Павлович?

— Непременно придут. А когда — пока не знаем. Может, скоро. А может быть... — Он замолчал, и лицо его стало непроницаемым и суровым.

— Придут, придут избавители! Сердце мое чует, что скоро придут!

— Этот день не за горами. Салют прогремел в Москве в честь Победы. Вся страна радуется.

— Салют?

— Да, салют из орудий. По радио слушал. Ликует Москва!

— Так и улетела бы туда! Хоть бы одним глазком поглядеть... А ведь самого-то главного и не сказала вам, Степан Павлович. Боязно и говорить об этом.

— Это о чем же?

— Немецкий офицер с полицаем Синюшихиным были в нашем доме. Матушка перепугалась. Синюшихину я самогону не дала. Пожалела. Полицай противный. А офицерик-то немецкий молоденький такой, форсистый. Я с ним по-немецки вела разговор. И ловко так у меня получилось, как по-писаному. Приглянулась, видать. И что бы вы думали? Предложил переводчицей в управу.

— Переводчицей? Так сразу и предложил?

— Предложил. Хорошо отвечала. Почти без запинки.

— А где же выучила немецкий?

— В средней школе азы прошла, в институт готовилась поступать... А когда пришли немцы, я уж тут по-настоящему тренировалась. Переводила Максимову, с солдатами часто разговаривала. И теперь говорю довольно сносно по-немецки.

— Вот это да! Задала ты мне, Настенька, задачку. Можно сказать, непростую. Тут надо все обмозговать. Все взвесить...

— Не пойду я к ним,— отмахнулась Настя.

— Как не пойдешь? А если прикажем?

— Если прикажете, все равно не пойду. Там у них надо роль играть, притворяться.

— Верно. Играть надо. Артисткой надо быть самой что ни на есть настоящей. Играть так, чтоб не заподозрили.

— А если не смогу? Натура не выдержит. Грубить начну. И считай — пропало.

— Если надо, все выдержишь, Настя. Ради нашей обшей победы. А где тебе быть — особо решим. На подпольном райкоме.

Филимонов взял небольшой камушек и пустил его по озерной глади, высекая блинчики. В этом броске было что-то озорное, мальчишеское, что-то разудало-рус­ское. Он повернулся к Насте и, улыбаясь, сказал:

— Через неделю встретимся. В этот же самый день недели, на этом же месте. Тогда и решим, что предпри­нять. Согласна? — Он достал из портфельчика вчетверо сложенную пачку газет и протянул Насте: — Это комсомольцам-агитаторам. Пусть прочитают колхозникам.

Он крепко пожал ей руку, и она пошла в обратный путь, по той же тропинке. Встреча с секретарем под­польного райкома взбудоражила, окрылила. Весь облик этого человека: его голос, спокойный и ровный, его улыбка, такая непосредственная и приветливая, и такая убежденность в правоте святого дела — все это для На­сти было так важно, так необходимо в данный момент, что она хоть сейчас готова была пойти на любое опас­ное задание.

Шла, смотрела на деревья и думала, что вот тут, в лесу, хорошо и вольготно, кажется, никто не угрожает тебе, нет никакой опасности, кругом безлюдье, а если и встретится человек, то непременно хороший, такой, как Степан Павлович или как доярка Маша Блинова. Лес словно убаюкивал в ветвистой колыбели, нашептывая сказки о безвозвратном и далеком детстве.

И все же на душе было тревожно. Что ждет впереди? Какие подстерегают опасности? Она ничего об этом не знает. Возможно, придется жить и работать в логове врага, вести опасную игру. В ней боролись два чувства. Одно подсказывало: будь благоразумна, не лезь в пекло, живи при относительном спокойствии и в относительной безопасности с матерью — и будешь цела. Другое же чувство как бы подталкивало ее, будоражило и звало: нет, иди туда, где ты нужна, где ты больше сделаешь для пользы дела.

Так думала она, когда шла к Рысьим Выселкам, и не заметила, как подошла. Маша Блинова обтирала мокрой тряпкой бидон, на лужайке горел костер, над ним, держась на подставках, висел черный котел, в котором подогревалась вода. Кругом было тихо, лишь слепни кружились назойливо, не давая покоя всему живому.

— Пришла? — спросила Маша. — Домой торопишься?

— Пойду,— сказала Настя. — Ты тут за уткам пригляди, чтоб не одичали, не отбились...

— Ладно, ладно. От мужа-то не слышно чего?

Про мужа, про Федора своего, Настя давно ничего не слыхала.

— А что? Почему спрашиваешь?

— Мой-то Гешка, говорят, жив. Видели его под Псковом. В лагерях сидел, в

немецких. Без ноги, говорят. Может, и твой Федор жив? Ненароком объявится!

У Насти кольнуло в груди. Муж, Федор! Как проводила жарким июльским полднем, получила несколько писем, а потом немцы заняли деревню, и весточек — ни­каких. Живой или мертвый Федя — она не знала. На фронт уходил вместе с Геннадием Блиновым. И вот объявился Гешка. А Федор? Что с ним, где он?

А Маша улыбалась и смотрела на нее счастливый глазами:

— Жду Геннадия со дня на день, гляди, прискачет! Раз живой — обязательно объявится. Он уж такой у меня, Геша. Где бы ни мотался, а к дому всегда стежки-дорожки проложены. Гляди, придет и твой.

— Живой ли?

— Может, и живой. На свете каких чудес не бывает! Только жди, Настенька, жди.

У Насти сладостно потеплело в груди. Хорошо б хоть одним глазком взглянуть на него, ободрить теплым словом.

**Глава четвертая**

Гешка пришел, точно с неба свалился, всем на удивление: как это он, безногий солдат, прикостылял от железнодорожной станции, такую даль и на костылях? Мария вскрикнула, увидев мужа, бросилась на шею, запричитала:

— Гешенька, Геша... Без ноги!..

Гешка растерялся, костыли загрохотали, и сам он чуть было не упал, Мария усадила его на лавку. Пришли соседи, а в полдень уже набилась полная изба. Бабы всплакивали, утирая платками глаза, старики трясли Гешку за руку, приговаривая:

— Ну, вот и вернулся... Как же ты ухитрился-то?

Гешка ухмылялся, теребил грязной пятерней голову, глядел на односельчан виноватыми глазами.

— Сквозь ад прошел,— отвечал глуховатым голосом. — Не знаю, как и в живых остался... По лагерям мотало месяцев шесть. Молодуха одна пожалела, приходила в лагерь, харчишки носила. А потом немцы выпустили: ненужным оказался, словно бы кочерыжка обглоданная, безногий-то. Ни на работу, ни еще куда. Ну, и отдали меня той женщине. Спасла. Подкормила. А теперича вот дома...

— А моего сынка не видал там, в лагерях-то? — спрашивала его пожилая женщина. — Может, встречал?

— Нет, не встречал,— отмахивался Гешка. — Народу там — что те муравьев в муравейнике. А сколько перемерло, бедных, с голодухи-то! Вот про Федора Усачева кой-какие весточки есть. Передайте Насте — пусть при­дет. Вам ничего не скажу, а ей все как на духу выложу.

Настя пришла вечером. Кто-то сказал, что Федор жив, что будто Гешка видел его в немецких лагерях. И другой слух прошел, что погиб он в первом же бою, где-то в белорусских болотах. Настя не знала, кому и верить. К Блиновым боялась идти.

И вот пришла, села на лавочку, глядела печально на Гешку, словно на спасителя, ждала, что он скажет. А солдат молчал, поглядывал на Настю, на жену, на стены, на потолок, точно привыкал к новой для него обстановке и не мог привыкнуть. Настя пригляделась к нему и заметила: приобкатала война Гешку, хоть и храбрится он, а не тот мужичок. Лицо серое, и морщинки под глазами, и шея, как у петуха, вытянулась, еле голову держит. На Гешке была гимнастерка немецкого покроя и линялые галифе, правая штанина подогнута и заправлена за пояс. Левая нога, обутая в старый валенок, неестественно подрагивала, казалось, безногий солдат вот-вот поднимется со скамейки. Но Гешка сидел и криво улыбался, глядя на Настю,— видать, надоели ему частые гости: пристают с расспросами, жалеют, а к чему она ему, эта людская жалость? Совсем ни к чему. Пришел живой — и то ладно.

— Ну что, Настя? — спросил Гешка, — Не признаешь?

— Как же, признаю,— спокойно проговорила она и все смотрела на него: словно бы не деревенский он, апришел откуда-то из дальних краев, постучался в дверь к Марии, впустила она его и приняла

— Где мыкался? — спросила она. Хотела спросить, где муж Федор, но не спросила, ждала, когда сам об этом поведает.

— Где был — там уж нет меня,— уклончиво ответил Гешка,— Там ветер гуляет.

Он судорожно сжал пятерней пустую штанину, скомкал ее, и Настя теперь поняла, что нога у него отнята высоко, и жалость к Гешке начала шевелиться в ней, все нарастая и нарастая.

— Как же теперь без ноги-то? — спросила она и смахнула слезу, а сама подумала: «Вот Федор, пускай бы и без ноги, но живым вернулся, с радостью приняла бы. Только бы пришел, только бы живым был...»

Гешка насупился, очевидно, не понравился ему такой вопрос, да и сама она уже спохватилась: зачем так спросила?

— Хорошо, что живой,— вступила в разговор Мария. — Люди головы сложили или мучаются там, в фашистских лагерях. А Геннадий, слава богу, пришел…

— Заладила одно и то же — живой да пришел... Гешка схватился за культю, вскрикнул, будто бы боли, уставился вопросительно на жену: — Раз живой, достань самогончику. Горлышко размочить не мешает**,** прежде чем разговоры вести. Вот с Настеной-то, с ней. Не скаредничай, доставай!

— С утра угостился — и хватит! — отмахнулась Мария.— Что у меня, питейное заведение аль ресторан какой? Иль шинкарка я?

— Шинкарка не шинкарка, а жена. Муж из дальней дали прикостылял, значит, угости как следоват! Иначе разговор не пойдет. Трезвому страшно правду говорить. А выпью — все легче.

Настя затихла, притаилась, вся в ожидании. А Гешка тянул и тянул, будто бы воды в рот набрал, ждал, когда Мария принесет выпивку. И она медлила, не несла.

— Ну, что молчишь-то, рассказывай! — крикнула на него жена. — Не томи. Ведь за делом пришла Настена-то, про мужа хочет узнать.

— Бутылку поставь, тогда и разговор пойдет

— Ладно, бог с тобой,— махнула рукой Мария.— Сейчас принесу. Только не томи Настю. Изболелась душа, поди, у нее в ожидании-то...

— Рассказ невеселый будет. Смочить его надо, этот рассказ.

Настя смотрела на Геннадия и ждала с замиранием сердца, что он скажет. А он медлил, словно бы из­матывал ее ожиданием. Наконец срывающимся голосом она спросила:

— Ну, что с ним, с Федором-то моим? Что? Говори!

— Сейчас расскажу все по порядку. Вот только гор­лышко смочу малость, пересохло оно...

Мария подала бутылку мутноватой жидкости. Выдернув бумажную пробку, Геннадий налил в стакан, залпом выпил. Потом взял огурец и начал хрустко жевать. Жевал долго, кряхтел и мотал головой. И когда съел, пучеглазо уставился на Настю, начал свой невеселый рассказ:

— Да, попали мы, значит, с Федором-то в один полк и в одну роту. Сначала в резерве были. С месяц, не больше. А потом бросили на передовую нас, значит, на Западный фронт. Сразу, с ходу, и в бой. Немец-то дюже напирал, тогда в силах он был, в сорок первом году. А мы оборону держали. Держали на одном месте, на другом. И сдержать не могли: силенок не хватало и техники...

Он говорил не торопясь. Подробно рассказывал, где, когда и какой шел бой. Где отступали, где в окружение попали, как вырывались из этого окружения. Говорил с полчаса, и Настя томилась, жадно слушала, ожидая, что скажет о судьбе Федора. Но Гешка снова пускался в рассуждения о том, как тяжело было войскам в сорок первом году, как пропадали люди, погибая от пуль или попадая в плен.

— А Федор-то, что с ним? — опять спросила она и вся затаилась.

— Федор? — Он уставился на нее выпуклыми, мутноватыми от выпитого самогона глазами, сказал: — Был твой Федор, да весь скукосился. Сам видел.

У нее перехватило дыхание, в первое мгновение она чуть не задохнулась, не могла выговорить ни слова, молчала и тупо глядела на Гешку. Он тоже смотрел на нее и тоже молчал, словно ждал, когда она заплачет, но она не плакала, побелела вся: испуг не отпускал ее долго, хотя она и не совсем поверила в то, о чем сообщил ей Гешка.

— Нет! Нет! Не верю! — наконец прокричала она, — Не верю я в это! Не верю!

Гешка глядел на нее немигающими серыми глазками и думал: почему ж она не поверила ему, фронтовику, прошедшему через кромешный ад? Со злорадством глядел на свою жертву, как бы говоря всем своим видом: «Федора нет твоего, а я вот живой, хоть и безноги, а вот пришел, прикостылял и самогон пью, и жена меня ночью уложит спать в теплую и мягкую постель, и завтра утром проснется и снова опохмелится. Три дня подряд. Вот так, красоточка Настя, не пошла за муж за меня, за Гешку Блинова... Пошла за Федора, а его, Федора-то, и нет. Лежит в земле сырой и никогда не вернется...»

Настя уронила голову и беззвучно заплакала. Спина Насти вздрагивала, а пальцы рук, положенные на стол, судорожно сжимались и разжимались, словно ловили что-то и не могли поймать. Гешка молчал, и жена его, Мария, молчала, и стены в доме зловеще молчали

Настя должна была выплакаться, вылить из себя всю горечь, чтоб стало легче. Когда, наконец, подняла голову и с мольбой посмотрела на Гешку, словно прося у него других слов, не таких беспощадных и страшных, а более мягких, утешительных, в которых была бы надежда, хоть маленькая, но была б. Ведь может, он и живой, Федор-то? Не убит? Может, мыкается в плену или в другом каком месте? Она очень хотела, чтоб именно так оно и было, хотя знала, что на фронте гибнут тысячи, миллионы людей, что вероятность остаться живым невелика. У нее была надежда. И чтобы увериться в этой надежде, спросила:

— Это правда, Геннадий? Не выдумал ты все это? На самом деле видел?

— Да, видел,— ответил он бесстрастно и спокойно. — Видел, Настя.

— А чем докажешь? Ну чем?

— А вот чем. — Гешка поднялся со скамейки. — Просил Федор перед самой смертью передать своей жене кой-что. И это кой-что я сохранил. Рисковал, но сохранил.

Гешка вытащил из-под лавки вещевой мешок, развязал его, долго шарил рукою в мешке, что-то искал. Наконец нашел... В руках у него был кожаный бумажник,

сильно потертый. Настя сразу же узнала, что это его, Федора, бумажник. Она настолько растерялась, что чуть не уронила его, принимая от Гешки. Потом раскрыла — в одной из ячеек оказалась красноармейская книжка Федора. Она долго глядела на эту книжку, не веря своим глазам, потом из другой ячейки вынула пожелтевшую фотографию. Фотография была ее, Насти­на. Она подарила ее своему жениху месяца за два до свадьбы. Смотрела на себя, на ту Настю со светлыми глазами, с длинными косами, ниспадающими на грудь, круглолицую, чернобровую. Да, она была красива тогда. Такая ли теперь?

Настя перевернула фотографию и увидела надпись красными чернилами. Это была ее надпись, буквы прижимались плотно друг к дружке, словно бежали куда-то внаклонку, торопились. На фотографии было написано:

*«Дорогому Феде. Будь счастлив на всю жизнь. Настя».*

Поглядела, прочитала и вдруг поняла, что его нет. Эта страшная мысль, что нет его и уже никогда она его не увидит, болью отозвалась в сердце. Она опять чуть не заплакала, но сдержалась, взглянув на Гешку, спро­сила:

— Как это было? Как?

— В сорок первом, в августе,— ответил Гешка.

— Так давно?

— Почти два года прошло,— продолжал Гешка.— Два долгих года.

— А ты вот живой все же. Пришел...

— Как видишь, пришел. Сам себе не верю.

Она хотела как можно скорей узнать все подробно­сти о судьбе Федора и в то же время боялась этой страшной правды. А Гешка медлил, не рассказывал, ждал, когда она немного отойдет, не любил бабьих слез.

— Было это, как я уже говорил,— наконец начал Гешка свой невеселый рассказ,— было в сорок первом, в конце августа...

Настя, страшно волнуясь, ловила каждое слово рассказчика, словно эти слова произносились не Гешкой, кем-то другим из непроглядной дали, из тех лесов и нолей, где стогласным эхом громыхала война.

— Под Гомелем это было,— продолжал свой рассказ Гешка,— попали мы в окружение. Полк наш прикрывали отступающие части. С Федором я был в одном взводе. Я — рядовым, он — отделенным. Оборону держали у кромки леса, и тут убило взводного. Федя принял на себя взвод. Держались мы часа полтора, а под вечер фашистынасприжали к лесу и почти окружили. Федо­ра ранило в грудь и шею. Я оттащил его в кусты. Гляжу — кровь изо рта, и весь он обмяк, полуживой. Открыл глаза, смотрит на меня и приказывает хриплым голосом: «Беги в лес. Спасайся... Беги...» — «А как ты, Федя?» — спрашиваю. «Мне хана... Отвоевался. Передай Насте, что погиб. А документы забери. Настеотдай. Жене». — Гешка закашлялся, тряхнул головой, посмотрел на Настю, как бы жалеючи поглядел. — Вынул я у него из кармашка гимнастерки бумажник с документами. «Ладно,— сказал,— исполню твою последнюю волю, передам все, если живым останусь». Отполз от него шагов на пятнадцать, пули просвистели над головой, срезали листья ивняка, точно бритвой. Ну, думаю, пропал, не уйти. Прополз еще метров десять, и тут — разрывная в голень. «Ну, вот и допрыгался», — обожгла меня такая несусветная мысль. Куда ускачешь на одной-то ноге? Перевязал ногу ремнем, чтоб кровь остановилась. Жду, что дальше будет. Бой вроде прекратился. Тишина. Ни выстрелов, ни разрывов — только раненые кой-где постанывают. В ноге боль страшнющая, терплю, зубами поскрипываю. Ползу обратно к Федору: решил узнать, что с ним. Подполз, значит. А он — мертвый. И руки раскинуты...

Настя сжалась вся, затрясла ее судорога, словно сковала ее страшная боль, закрыла лицо руками.

— Не надо, Геша. Не говори больше... Не надо...

Геннадий умолк. Он и сам разволновался. Воспоминания разбередили, будто опалили огнем. Хотел он еще сказать, как взяли в плен его, как отрезали ногу, как скитался по лагерям... Ему тоже пришлось не сладко, были такие минуты, что рад был умереть. Да вот все вернулся. А Федор? Ах, Федя, Федя, друг фронтовой! Уж не притопаешь к родным берегам, к жене, к отчему дому...

Настя вытерла слезы, печально глядела на Гешку, долго глядела и молчала, сомнения все же мучили ее, будоражили душу. Наконец сказала:

— Может, это неправда, Геша? Может, живой?

Гешка тупо смотрел на нее и молчал, и она поняла, что он принес с собой горькую правду, и от этой правду никуда не денешься, никуда не уйдешь.

— Если не веришь, то жди... Может, воскреснет, но чудес не бывает, Настя. Не верю я в чудеса.

Она поднялась, шагнула к двери, постояла у порога, открыла дверь и вышла на улицу. Деревня утопала в тишине и покое, а на душе у Насти было очень нехорошо, тягостно было. С этой минуты она твердо решила, что пойдет туда, куда пошлют, хоть в самое пекло, хоть в самое опасное место.

Дома сказала матери:

— Федора нет больше, мама.

Спиридоновна села под божницу, заохала, перекрестилась трижды.

— Откуль такие вести принесла? Нехорошие...

— Гешка принес.

— О, господи! Времечко-то какое! Как жить дальше будем? Куда денемся?

— Я, мама, решилась теперь...

— На что решилась? — Старуха со страхом глядела на дочь, голова ее вздрагивала от волнения. — Что, что надумала? Уж не утопиться ли хочешь в озере? Умом рехнулась?..

— Нет-нет! Топиться мне ни к чему. В партизаны пойду. Теперь твердо решила.

— А я как? — Старуха испугалась не на шутку.— Меня с кем оставишь? Одну?

И на самом деле, как она останется одна, мать, самый близкий человек на свете, может быть, теперь единственный родной человек? Она глядела на мать, и сердце ее сжималось от тревоги и беспокойства, от тех недобрых предчувствий, когда не знаешь, что тебя ждет впереди. Мать останется одна, будет по вечерам плакать, молиться перед иконами, ждать. И она, Настя, о ком еще может думать, кого беречь?

— Ладно, мама, не горюй,— сказала Настя. — Я недалеко буду. В случае чего приеду — выберу времечко... А тебе люди всегда помогут — и огородное убрать, и в случае, если заболеешь.

Почти всю ночь не могла уснуть Настя. Все думала и думала, взвешивала все. Сомнения опять тревожили сердце. Может, остаться дома, жить тихо, смирно, пере­дать лихолетье?.. А как люди? Что они подумают? Тот же Филимонов? Ведь решила — и поворота назад нет. Полыхает война, а она в сторонку, в укромный уголок? Нет, не может Настя Усачева сидеть под крылышком у матери. Не может! Должна пойти, куда позовут. Должна.

**Глава пятая**

— Подпольный райком принял решение направить тебя, Анастасия Ивановна, для работы в город Остро­гожск,— сказал Филимонов, встретив ее на том же месте, где они встречались первый раз. — Согласна?

— Да, я согласна,— ответила Настя.

— А родственники есть в Острогожске?

— Двоюродная сестра Надя. Вернее, жила. Сейчас не знаю, проживает ли там

она. Муж на фронте. Дом — на Ильинской улице.

— Вот и остановишься у сестры на первое время.

— А что буду делать в райцентре?

—Выполнять задания подпольного райкома партии. Старайся почаще попадаться на глаза этому офицеру, который приглашал работать переводчицей. Фамилия его — Брунс, видная фигура в жандармерии. Оккупационные власти поручили Брунсу вести борьбу с партизанами, диверсионными группами и всеми теми, кто препятствует фашистам устанавливать новый порядок. Постарайся к Брунсу устроиться на работу.

— А если не пригласит?

— Тогда в другом месте устроишься. Знание немецкого языка поможет тебе. Со мной будешь поддерживать связь через человека в определенное время. Через пароль, конечно. От него получишь инструкции и задания. — Степан Павлович замолчал, обдумывая, что ещесказать. Затем добавил: — Нужна осторожность. Постепенно, без нажима втирайся в доверие. Фашисты стали теперь исключительно подозрительны. Провалы на фронте, активность партизан и подпольщиков постоянно настораживают оккупантов. Даже в продажных прислужниках они подозревают потенциальных врагов. Так что посылаем тебя, Анастасия, на опасное и особенно ответственное задание.

— Я готова. Мне все равно...

— Что случилось?

Настя, потупив голову, молчала. Она не знала, что сказать Филимонову; на душе было горько, неспокойно. Помолчав, сказала правду:

— Муж погиб, Федор. Только вчера узнала об этом.

— Почему только вчера? — спросил он.

И она рассказала все, о чем сообщил ей Блинов.

— Значит, пришел из плена этот Гешка? — переспросил Филимонов. — Был в лагерях? Тут что-то непонятное. Загадочное. И сохранил бумажник? Интересно. Хотелось бы повидать этого Гешку.

— Без ноги он, на костылях. Инвалид.

— Так, так. Отпустили, значит. Пойми, Настя, они так просто не отпускают. Ну, в общем, проверим этого Гешку.

Районный городок Острогожск основан около двухсот лет назад по указу императрицы Екатерины, не­большой, очень тихий городишко. До революции большая часть горожан занималась торговлей и промыслами. Купцы скупали у крестьян лен, шерсть, шкуры, торговали различными товарами. Промышленности почти не было. Только после революции открылись фанерная и трикотажная фабрики.

Лишь центральная часть городка была каменной. Дома старые, приземистые, с толстыми стенами. Обыч­но верхние этажи жилые, а в нижних располагались магазины и различные служебные помещения. Деревянная часть города вся утопала в зелени. Почти у всех были свои огороды и сады, острогожцы держали коров и другую живность. Когда пришла война, обычная жизнь горожан нарушилась: многие эвакуировались в глубокий тыл, а те, кто остался, затихли. Все тут как бы притаилось в тягостном ожидании. Только в центре городка было оживленно: с ревом проносились автомашины и мотоциклы, печатали строевой шаг солдаты. Лучшие дома теперь были заняты под различные службы немецкой администрации, солдатней. Магазины бездействовали: нечем было торговать. Лишь по воскрес­ным дням на базарной площади открывалась «толкучка», куда приходили люди, чтобы выменять на барахло краюху хлеба или стакан махорки.

Настя пришла в Острогожск во второй половине дня, когда солнце уже клонилось к закату. По центральной улице сновали немецкие солдаты и офицеры. По­всюду слышалась немецкая речь. Прошла на Ильинскую. На первый взгляд почти ничего не изменилось — те же дома, заборы и палисадники. Возле дома Надежды Поликарповой громоздилась куча мусора, поодаль валялась опрокинутая вверх колесами телега. Улица была пустынной, точно в полудреме, еле дышала.

Дом Поликарповых, обшитый тесом, уже почерневший от времени, стоял в некотором углублении, перед домом — просторный палисадник с двумя клумбами, на которых некогда буйно цвели георгины и гладиолусы. Сейчас же клумбы заросли травой. На передней части палисадника, раздавшись могучими кронами, стояли три старые липы. Тут же росла рябина. Все это создавало впечатление уюта, тишины и покоя.

Настя постучала в калитку. На стук никто не ответил. «А что если Надежду угнали в Германию? — поду­мала она. — А ребенок? С кем тогда осталась пятилетняя Ирочка? Могло случиться так, что и с ребенком отправили. А может быть, в огороде хозяйка?» И Настя направилась в огород. Она шла словно по коридору: возле заборчика плотной стеной разрослись густые ветви хмеля. В огороде тоже никого не было, на грядках — капуста, морковь, свекла, значительная полоса отведена под картофель, с краю часть была выкопана. «Значит, в доме живут»,— решила Настя и направилась к соседям узнать, куда ушла Надежда.

Из соседнего дома вышла сухонькая старушка. Приложив ладонь к уху, она терпеливо выслушала Настю и глухим, придавленным голосом изрекла:

— Посадили Надюху. С неделю как посадили.

— Кто посадил? — прокричала в ухо старушке Настя, хотя уже и догадывалась, кто посадил Надежду.

— Знамо кто. Они, бонапарты окаянные.

— Фашисты?

— Они,— опять ответила бабка. — А девчонку увезли в деревню.

— А кто в доме теперь живет?

— А никто. Пустой дом. Ключ у меня. А ты кем ей будешь?

Настя ответила. Бабка пристально и с подозрением посмотрела на незнакомку, видать, сразу не поверила, что Настя двоюродная сестра Надежде, потом вспомнила, признала:

— Так Усачева ты? Из Городца?

— Усачева,— ответила Настя.

— Что, к ней, к Надежде-то, жить приехала?

— Хотела остановиться. Только что из деревни, хочу устроиться в городе.

— В городе?

— Ага.

— Худо в городе. В деревне-то лучше, спокойней. Ну, раз решила тут жить, ключ отдам. Только спроведай Надежду-то. Может, отпустят.

— Обязательно спроведаю. А за что посадили, ба­бушка, не знаешь?

— Об энтом она мне не докладывала.

В доме Поликарповых было полусумрачно и тихо, но чувствовалось, что жильцы ушли отсюда недавно, и казалось, вот они придут, послышится веселый звонкий голос ребенка. Кроме кухни в доме было еще три ком­наты — большая передняя и две боковые. Настя бывала тут не раз, когда еще жива была родная тетка Мария Спиридоновна, сестра матери, умершая лет шесть назад, не однажды гостила.

Родным и домашне-уютным повеяло в этом доме. Кажется, вот сейчас войдет в переднюю тетя Маша и ска­жет своим певучим голосом: «Дорогушенька, может, молочка парного выпьешь?» или: «Блинчиков со сметанкой. Уж блинчики-то очень хороши!»

Настя любила гостить у тети, потому и сейчас пришла в этот пустой дом, словно в гости. Но в доме — ни души, даже кот Васька куда-то запропастился. Настя накопала картошки, разыскала примус, но керосина не оказалось. Принесла дров и затопила печку. Хлеб был свой, и, сварив картошки, пообедала.

Прилегла на диван, задумалась. Нужно было действовать, что-то предпринимать. В первую очередь раздо­быть разрешение на свидание с Надеждой. Разрешат ли? Если что серьезное, могут и не дать свидание, а если не разрешат — надо отнести сестре передачу. Она уложила в портфельчик полковриги хлеба, с десяток кар­тофелин. Это было все, что она могла взять с собой.

В городке до войны тюрьмы не было, и когда пришли фашисты, то надобность в этом заведении сразу же, в первые дни оккупации, стала очевидной. Под тюрьму заняли один из бараков на окраине города, но через два месяца это помещение уже не вмещало всех заключенных, и решено было наиболее опасных, с точки зрения гестапо, узников содержать в каменном здании бывшей трикотажной фабрики. Там же размещались различные службы оккупантов: гестапо, жандармерия, комендатура. Под тюрьму был отведен первый этаж, в окна были вставлены железные решетки. Собственно тюрьма и весь комплекс строений фабрики тщательно охранялись.

Настя подошла к крыльцу, где стоял часовой, спросила по-немецки:

— Как попасть к ротенфюреру команды СС Брунсу?

Часовой лупоглазо уставился на Настю.

— Брунс? — повторил он. — Там, наверху он.

Пройдя в вестибюль, она снова увидела часовых и опять спросила, где найти Брунса. На нее с удивлением посмотрели, прощупали цепкими глазами с ног до голо­вы. Унтер в эсэсовской форме потребовал портфель, видимо, решил проверить, нет ли там взрывчатки. Раскрыв портфель, гестаповец вынул хлеб, разломил пополам и ничего не обнаружил, потом достал сверток с карто­фелем, две картофелины вывалились и покатились к двери. Они катились, словно гранаты-лимонки, готовые вот-вот взорваться. Немцы с опаской попятились в противоположный конец помещения, но, убедившись, что это не гранаты, успокоились.

Унтер спросил:

— Кому продукты? Уж не ротенфюреру ли? К сожалению, он на довольствии германского рейха и русской картошкой давиться не будет.

— О нет, нет,— сказала Настя,— картофель и хлеб предназначены другому лицу. А к ротенфюреру — по личному делу.

— Вы кто, немка? — спросил часовой.

— Да, я немка, по линии матери — немка,— сказала Настя.

Часовой глядел на нее немигающими глазами, она поняла, что он поверил ей, значит, сказала правильно Она должна постоянно помнить советы Филимонова!- как можно искусней втираться в доверие к немцам. Часовой предложил оставить портфель и указал, в какой комнате располагается ротенфюрер Брунс.

По коридору сновали немецкие офицеры. «Встревожены чем-то,— подумала она,— на фронтах неблагоприятно. Да, немец уже не тот, что был в сорок первом году. Тогда фашисты были надменны и вероломны. А теперь спеси у них поубавилось. Чувствуют себя не как дома, а как временные жители на чужой земле: многие понимают — скоро придется уходить, и уходить не по своей доброй воле. Только бы скорей этот час настал, только бы быстрей!»

Настя постучалась в кабинет Брунса. Дверь открыл, однако, не он, а другой офицер, спросив, кто ей нужен. Она назвала.

— По какому делу? — опять последовал вопрос.

Фашист смотрел на нее с подозрением. Она почувствовала это сразу и немного испугалась.

— Я его знакомая,— сказала она по-немецки, и офицер, оставив ее в приемной, удалился в кабинет.

Она огляделась. Комнатушка была тесной. Стоял стол, на нем телефон, у стены шкаф. И пахло каким-то неприятным запахом казенной солдатчины — табаком кожей. У Насти запершило в горле. Захотелось уйти и больше не встречаться ни с часовыми, ни с самими ротенфюрером Брунсом, но чувство долга, необходимость помочь сестре, выполнить задание подпольного райкома пересилили это отвращение.

Наконец она вошла в кабинет. Брунс сидел за столом, просматривая бумаги, вскинул голову от стола и, узнав, заулыбался:

— А-а, фрейлейн, как вас—Ната?

— Анастасия,— четко произнесла она.

Он предложил сесть.

— Ана-стасия,— растягивая это слово, обозначающее имя посетительницы, проговорил он и начал тушить папиросу.—Очень рад видеть такую очаровательную девушку… Очень рад.

— Женщину,— поправила она его.

— Ах, да, у вас муж. Но где он сейчас?

— Не знаю, господин ротенфюрер,— сказала она,— война.

— Ах, да, это верно — воина. И как она затянулась — война. И конца не видать...— Он смотрел на нее уже строго, надменно. И неожиданно спросил: — Вы верите, Анастасия, в победу немецкого оружия?

— А как вы? — спросила она в свою очередь.

Он глядел на нее вопросительно и словно бы растерялся, видимо, не понравился ему встречный вопрос, заданный русской женщиной. Хотя женщина и отлично говорит по-немецки, но все равно она русская, и кто знает, что у нее на уме.

— Большевизм обречен,— наконец голосом, не требующим возражений, изрек он и забарабанил пальцами по столу.

По этой дрожи тонких холеных рук она поняла, что он нервничает, стало быть, не очень уверен в победе немецкого рейха. Он, казалось, уловил ее тайные мысли и снова спросил:

— Вы сочувствуете нам, Анастасия?

— Да, сочувствую,— ответила она, вложив в эту фразу совсем не то, что предполагал он. Немецкие войска терпели одно поражение за другим, можно было и «посочувствовать» таким господам, как Брунс.

Потом она начала излагать свою просьбу. Ей трудно было подобрать нужные слова, но она объяснила, как могла. Брунс сразу помрачнел, вытянулся в кресле, нахмурился — не предполагал, что такая хорошенькая женщина, прекрасно разговаривающая на немецком языке, и вдруг попросит свидания с какой-то кузиной, попавшей в тюрьму. Официально, с легким раздражением он наконец ответил:

— Хорошо. Завтра заходите в двенадцать ноль-ноль. Я выясню все,— и записал: *«Надежда Поликарпова*».— А где вы остановились? Где живете?

— В ее доме, в доме Поликарповой, он совершенно пустой...

Брунс заулыбался, глаза его заблестели плутоватой живостью, и он снова заговорил:

— Такая красавица — и одна. Не боитесь?

— Нет. Бояться мне некого. Я ведь никому ничего плохого не сделала.

— Ну, хорошо, хорошо. Приходите завтра.

На другой день разрешение на свидание с Надеждой она получила. Сестра сидела не в центральной тюрьме, а в бараке, на окраине города. Пропуск был за подписью Брунса, и ее сразу же пропустили во двор, затем она прошла в комнату, где сидел пожилой тюремщик с автоматом в руках. Он проверил опять ее пропуск и проводил в соседнее помещение, указал на скамейку, и она села. В комнате было мрачно и пустынно — голые стены, грубый стол и возле стола две скамейки. На табуретке сидел полицейский, цепко смотрел на Настю, и ей стало немножко жутко. Да и удастся ли поговорить с Надеждой откровенно, без утайки? Волнение нарастало, и она не могла подавить в себе это волнение, сидела и ждала.

И вдруг в дверях появилась Надя в сопровождении конвоира. Переступив порог, она замерла от неожиданности, слегка вскрикнула и чуть не упала. Тюремщик подхватил ее под руки и усадил на скамейку. Теперь они сидели друг против друга, словно немые — не могли говорить. Говорили только глаза. Надежда смотрела на сестру с удивлением, будто бы спрашивала: «Как ты появилась тут, Настя? Не ждала тебя, совсем не ждала. Нежданно-негаданно в гости прикатила, а хозяйка, как видишь, принимает тебя не в доме своем...» Надя смот­рела на сестру, и слезы заполняли ее глаза.

— Не плачь, Наденька! Не плачь... — начала утешать Настя сестру, но и сама чуть не заплакала. — Может, выпустят. Потерпи немного. Может, все обойдется…

Надя перестала плакать. Смотрела на сестру печаль­но, и было видно, что она не верила в ее слова, не верила в избавление. Немного помолчав, сказала:

— Настя ты, Настя! Редко кто выходит на волю из этих стен. Живым, невредимым. Или погибнешь здесь, или отправят куда. На каторгу. Другого пути нет...

— Помогу тебе, Надя. Помогу, вот посмотришь, вырву из неволи.

— Как? Каким путем?

— Поможет один человек. Буду просить его. Поможет.

— Ой, не верю, Настенька! Не верится мне. А кто? Скажи — кто?

Настя подалась всем телом к сестре, прошептала:

— Брунс. Я была у него. — Сказала и сама испугалась этих слов. Страшным было это имя, для Наденьки страшным. Спохватилась Настя, но было уже поздно. Наденька побледнела, испугалась, с подозрением смотрела на сестру. Потом спросила:

— Ужели Брунс? Не может этого быть! Ты с ними, Настя?

Настя хотела сказать, что нет, нет, что она не с ними, и не могла этого сказать: рядом сидел тюремщик и все мог услышать — и тогда она пропала.

— Помогу, Наденька,— только и могла она еще ей сказать.

Надя смотрела на нее сурово, осуждающе смотрела. И это Настя поняла и не могла уже исправить своей оп­лошности.

— Не надо мне твоей помощи,— сказала Надя.— Не надо!

— Ты успокойся. Все будет хорошо. Вот прими пере­дачу. Принесла тебе хлеба и картошки. Больше ничего не могла. — Она протянула узелок: — Возьми, голодная небось...

— Не надо мне твоей подачки. Поняла я все! Поня­ла!— И Надя отбросила узелок. Он развязался. Хлеб упал на стол, картофелины покатились, догоняя друг друга.

Наденька порывисто поднялась. Настя увидела, как гневно засверкали у нее глаза. Надя круто повернулась и в сопровождении часового исчезла в проеме двери.

Настя не могла подняться, словно приковали ее к сиденью. Она хотела крикнуть сестре вдогонку: «На­денька, я своя! Я не с ними! Поверь мне, Наденька!» Но Наденька исчезла, а Настя сидела и молчала, уби­тая горем, раздавленная, почти парализованная. Что она могла поделать? Что сказать? Только молчать и страшное горе унести с собой. Лучше бы сама умерла вот тут, на этом месте, лучше бы сгинула навсегда.

**Глава шестая**

Долго не могла уснуть в эту ночь Настя. Перед гла­зами стояла сестра Надежда, и казалось, что смотрит она на нее осуждающе. И дом, в котором жила, казался чужим, и жить в нем было теперь неуютно и боязно. Только перед рассветом немного уснула, а когда проснулась, открыла глаза — в комнате уже было светло, начинался новый день, и надо было что-то делать. Наскоро поела, вышла на улицу. Погода была пасмурной. Тугой и прохладный ветер гнал на юго-восток тяжелые серые облака, набухшие влагой. Дождя давно уже не было, и все же в этом ветреном полуненастье чувствовалось отдаленное дыхание осени. Она шла на явочную квартиру, находившуюся на улице Гоголя. Нашла нужный дом, постучала в калитку. Дверь открыла девочка лет двенадцати:

— Вам кого?

— Мне папу.

— Папы нет, дома мама.

— Позови маму.

Девочка ушла, и Настя осталась стоять в нереши­тельности. Возникал вопрос: почему вышла не сама мама, почему послали девочку открывать дверь?

Наконец на пороге появилась женщина, худая, лет тридцати пяти. Как и было условлено, Настя спросила:

— Есть в продаже капуста?

Женщина раздраженно ответила:

— Не продаем,— и хлопнула дверью.

«Что же это значит? — думала Настя, возвращаясь. — Дом, кажется, тот, и улица та. Ведь не мог ошибиться Филимонов. И все-таки женщина ответила не так, как предусматривал пароль: „Сегодня не продаем, продавать будем завтра”. А тут просто: „Не продаем”. Не пригласила в дом. И взгляд у нее недружелюбный, почти враждебный».

Филимонов предупреждал, что к запасному связному пойти можно только при чрезвычайных обстоятельствах, и это нужно делать не сразу, а приоглядевшись, нет ли за тобой «хвоста». Адрес на запасную явку у Насти был, но идти туда можно было дня через два-три, убедившись, что нет слежки.

Настя сходила на биржу труда, зарегистрировалась. Пообещали устроить на работу: ведь она хорошо знает немецкий язык. И надо было еще раз встретиться с Брунсом, но, чтобы пойти к нему, нужно придумать какой-нибудь повод, какую-либо причину. Сделать все так, чтобы он не заподозрил ее ни в чем. И она нашла этот повод: решила рассказать ротенфюреру о приезде в Большой Городец Гешки Блинова, и пусть он вызовет его и все толком расспросит о Федоре. Но, с другой стороны, этого делать не следовало: если немцы узнают, что она вдова, да притом при ее привлекательной внешности, будут приставать со своей любовью. А попробуй отвяжись…

Когдашла обратно, незаметно для себя оказалась в центре города. И вдруг услышала чей-то окрик. Обернулась и увидела перед собой Гаврилу Синюшихина. На нем был черный мундир с широкими серыми обшлагами, зеленая кепка с длинным козырьком. Он улыбался, сверкая единственным глазом, и, поднеся ладонь к неестественно длинномукозырьку, проговорил:

— Здрасьте, землячка! Вот и свиделись...

Она хотела грубо отмахнуться от него, съязвить и отойти: настолько он был противен, что даже и разгова­ривать не хотела с ним. Но прошла секунда-другая, и она подавила в себе чувство гадливости, вымученно улыбнулась и сказала:

— Добрый день, Синюшихин. На службе, что ль?

— Я тут в полицейском управлении. Заходи. Рад землячку приветить.

— Ладно,— ответила она,— возможно, и загляну. Вот на биржу ходила, на

работу хочу устроиться.

— Значит, жить будешь в Острогожске?

— Решила здесь.

— А кто на постой принял?

— У дальних родственников живу. Дом у них пу­стым оказался.

— Драпанули, что ль? Еще в сорок первом?

— Ага.

— Тогда я к тебе загляну как-нибудь вечерком. Ад­ресочек дашь? Ты не сумлевайся во мне. Я тебе, если что надо, помогу...

«Приставать будет»,— подумала Настя и, как бы спохватившись, заспешила:

— Я там временно у них. Скоро на другое место жить перейду.

— Ну, смотри, как хошь. Считай, я свой тебе человек. Если что — найдешь меня. Только с этими не свя­зывайся.

— С кем это — с этими?

— Сама знаешь с кем. Живи спокойно. Цела будешь — исчастье, глядишь, найдешь. Немецкая власть крепка.

«Крепка, да не очень»,— хотела сказать она, но сдержалась. И когда Синюшихин пошел прочь, почувствовала облегчение: вроде обошлось. Главная ее забота — только бы не сделать неверный шаг, не оступиться. Ведь Филимонов так на нее рассчитывает, так надеется. «Надо акклиматизироваться в этом неспокойном пристанище врага и, уже утвердившись прочно, действовать наверняка» — так напутствовал ее секретарь подпольного райкома. Но с полицаем Синюшихиным не хотелось завязывать тесных связей. Уж слишком ничтожен и страшен этот верзила, и она была рада, что так получилось — не спросил полицай ее адреса.

Однако на другой день вечером Синюшихин ввалился по-медвежьи в дом Поликарповых, точно близкий родственник, осклабился, показав гнилозубую пасть. Был навеселе и сразу начал пошленько каламбурить.

— Как нашел-то меня? — спросила Настя.

— На то я и полицейский. Все должен знать.

— Ну, а все же кто дал адрес?

— Кто-кто... Пошел на биржу труда, там и дали. Ведь ты зарегистрировалась...

— Это верно,— согласилась Настя.— На бирже адрес мой есть. Но ведь дом-то не мой. Вот хозяйка придет и попросит освободить квартиру.

— Я могу так устроить, что и не придет. Не вернется — и вся недолга.

— Но уж этого я не позволю. Она за пустяк посажена и со дня на день может вернуться. У ней семья, дочь...

— Знаю, знаю,— проворчал Синюшихин. — Знаю, за что и посажена. Можем сделать, что вернется, а можем — и нет.

Всем своим разговором он давал понять, что имеет какое-то влияние, какой-то вес, что он не какой-нибудь рядовой полицейский, а службой у своих господ добившийся особого доверия. Недаром на груди поблескивала фашистская медаль.

— Я, Настенька, у самого вахтмайстера Шмитке в почете. Что я скажу ему, то и сделает.

— Не сомневаюсь, ты человек видный. — Настя решила не обострять отношений. — Вот и помоги вызволить Надежду, вытянуть из тюрьмы.

— А это посмотрим. — Он хитро посмотрел на нее и ядовито добавил: — Пожалела самогоночки мне налить... а? Перед Брунсом выкобенивалась? Шушеры- мушеры... Так складно по-немецки лопочешь...

— Поднаучилась. Вот толмачом и хочу устроиться где-нибудь. Устроят?

— Могут устроить. Но сначала проверить тебя надо. Не подослана ли ты кем? Может, лазутчица, а?

Он пристально смотрел на нее единственным глазом. Казалось, этот сатанинский глаз просверливает ее насквозь. Стало не по себе, и сердце больно екнуло. Ужель Синюшихин ее разгадал, что-то знает, может, он и Степачевых выследил и выдал? Вот пришел и пытает, этак исподтишка выворачивает душу. Хоть убрался бы скорей. А он между тем продолжал, словно бы допрашивал:

— Однако за тобой надо посмотреть, что ты за птица…

— Смотри, изучай,— немного придя в себя, прогово­рила она,**—** вся здесь. Вся на виду.

— Вижу, что вся. — Он нахально смотрел на нее и продолжал: — В нутро надо заглянуть, что там у тя в нутрях-то?

Она похолодела вся и боялась, что вот теперь-то он заметит ее волнение.

— Забрасывают партизаны агентов, но вахтмайстер Шмитке настороже. От него не ускользнешь.

— Никаких партизан я не знаю,— ответила она.— Жила у всех на виду. Вся деревня знает, кто я.

— Деревня? Известна нам эта тихая деревня. Но в тихом-то болоте, как говорят, черти водятся. Нет ли чертей в вашем Городце? Уж больно она тихая, эта де­ревня, затаилась в лесу. Партизаны не бывают у вас?

— Какие там партизаны,— отмахнулась Настя. — И в глаза не видели. Люди живут смирно, спокойно. Каж­дый думает о себе, как бы прокормиться.

— Ты вот что, деваха. — Ресницы его запрыгали мелкой дрожью. — Давай-ка со мной по-хорошему. Я не зверь там какой-нибудь. Ты вот пойдешь к ним служить, к немцам, и я у них на службе вот уж два года. Значит, будем одной веревочкой повязаны. А как при­вяжут— не открутишься. Это уж я знаю. По одной стезе пойдем, надо друг за дружку крепко держаться. По­няла, в чем дело?

— Понятно,— ответила Настя, а сама старалась разгадать, к чему он клонит.

— Держись за меня — и не пропадешь.

— Держаться-то, конечно, можно, да долго ли продержимся? Красные придут — ответ держать надо.

— Не придут. Немец под Ленинградом. Оборона у него крепкая.

— Дай-то бог,— поддакнула Настя. — Значит, помоги, устрой.

— Это ужкак пить дать помогу. Замолвлю словечко.

Он еще раз намекнул, что его положение у немцев прочное, прихвастнул, что и продукты достает, так что хватит на двоих.

«Это верно, можешь достать,— подумала Настя, — ездишь с карателями по деревням, грабишь, отбираешь последнее. Такие продукты и в горло не полезут».

— И барахлишко достаю. Кое-что запасено.

«Вот-вот,— опять подумала Настя,— отнял у советских, короче говоря, раздел наголо не одну семью. Выучка еще та: у хозяев грабить научился». И она еще сильнее почувствовала к нему такое неистребимое отвращение, такую ненависть, что готова была закричать на него, вцепиться ногтями в его ненасытную рожу, но огромным усилием воли подавила в себе вспышку гнева, только взглянула на него исподлобья, и он уловил этот взгляд ее.

— Ну, ладно, ладно. Потом зайду. И особо-то ты девица, не ряпайся: хочешь жить — шевели умом.

— Я и так шевелю, чай, не безмозглая кукла.

— Вот-вот. Потом столкуемся.

Он ушел, Настя открыла окно. На улице накрапывал дождик. «И завтра, поди, заявится,— вздохнула она, — будет приставать, соблазнять тряпками, банкой консервов или плиткой шоколада. Но как от него избавиться? Грубо вытолкнуть — озлобится. А злобный недруг таких бед натворит, что окажешься за решеткой. Что же предпринять? Был бы рядом Филимонов — подсказал бы. Да вот еще

вдобавок связь не наладила. Уж не вернуться ли обратно в Городец?»

Нет, она должна еще сходить на запасную явку. Если и там провал, тогда — домой.

Все было враждебным в этом небольшом городке, где разместились различные немецкие тыловые службы. На улицах — сплошь военные, однако они стали суетливы, во всех их действиях чувствовалась какая-то нервозность. Видимо, отзвуки событий в районе Курска и Харькова докатились и сюда, в глухой городок северо-западной России.

А скоро ли на этих землях грянет гром? Стогласный. Очистительный. Под Ленинградом и на Волховском фронте. Чтобы приблизить эти яростные вспышки грома, надо повсюду вредить врагу, не давать ему покоя. И вот она, Настя Усачева, послана подпольным райкомом со специальным заданием. Может, от ее умелых действий, от ее выдержки и хладнокровия зависит многое. Ведь на нее рассчитывают, на нее надеются — там, в партизанском штабе.

Нет, она должна действовать именно здесь, в этом небольшом городке, где оккупанты чувствуют себя еще спасительно прочно, где пока они хозяева. Чтобы быстрей от них избавиться, нужна ее четкая и безупречная работа. Назад пути не было...

На запасной явочной квартире ей открыл дверь пожилой мужчина в очках. Он ответил на пароль, как и было предписано, и, пригласив в переднюю, сразу же задал вопрос:

— На улице Гоголя были?

— Да, была,— ответила Настя и рассказала, как там встретила ее какая-то женщина.

— Положение серьезное,— потирая руки, начал рас­суждать человек в очках. — Никто за вами не увязался?

— Да вроде бы нет.

— Наш человек, проживавший в доме на Гоголя, арестован. Он дальний родственник этой женщины. По­дозрения падают на нее. Возможно, она повинна в том, что он провалился. Кто он — теперь для вас это не име­ет никакого значения. Связь будете держать со мной. Звать меня — дядя Вася. — Он улыбнулся, сощурив бли­зорукие глаза. — Все инструкции для дальнейших дейст­вий будете получать от меня. А через кого и каким пу­тем—потом решим.

Настя кивнула и начала рассказывать о том, как к ней приходил полицейский Синюшихин.

— Наиподлейший мерзавец этот Синюшихин,— ска­зал дядя Вася.— На совести этого негодяя — не одна жертва. Однако и его надо использовать, если предоставится такая возможность. Пускай заходит, но будь осторожна. Синюшихин — хитрая бестия.

— Одного боюсь,— ответила Настя,— назойлив он.

— Говори, что замужняя, что верна только мужу.

Сказал это дядя Вася и заметил, как потухли у Насти глаза. Глубоко вздохнув, она сказала:

— Нет у меня мужа.

И она поведала ему все. Как замуж вышла, как провожала Федора на войну, как пришел Гешка с не­добрыми вестями.

— Тяжело мне, очень тяжело. Я все время думаю о нем...

Дядя Вася молчал, думал о Настиной судьбе, о судьбе многих людей.

— Но ведь он не живой, убили его.

— А может, живой. Может, Гешка-то ошибается. Всякое на войне бывает — и мертвые воскресают.

— Ты не говори никому, что погиб муж, ни полицаю тому, ни немцам. Пускай

Федор твой будет словно бы живой. — Она в знак согласия кивнула, а он между тем продолжал: — И на работу устраивайся как можно скорей. Хорошо говоришь по-немецки, а это уже половина успеха.

Они условились, когда снова встретятся, и Настя сразу же пошла на биржу труда. Там ей сказали, чтобы зашла через пять дней, и предложили заполнить анкету. Сотрудник биржи, некто Сперужский, с лисьими глазами и тонким женским голосом, стал допытываться:

— По какой причине в город переехала? Почему мать оставила?

Эти вопросы озадачили ее, и сразу она не могла от­ветить.

— В деревне скучно,— наконец сказала и почувствовала, что сказала правильно.

— Понятно,— изрек многозначительно Сперужский. — Вы женщина молодая, красивая... Нужны кава­леры подходящие, а в деревне — там что? Серость.

— И в деревне грамотных людей теперь много.

— Немецкому рейху грамотеи не нужны. Интелли­генты только воду мутят. Германии нужны работники.

«Да, это верно. Гитлеру нужны бессловесные рабы»,— подумала Настя и примирительно ответила:

— Нужны работники, господин Сперужский, вы пра­вильно сказали.

Ему, видимо, понравился ответ, и он благосклонно сказал на прощание:

— Приходите завтра, что-нибудь придумаем.

— Спасибо,— ответила она и пошла к выходу. Когда открыла дверь, то услышала из глубины кабинета писклявый голос:

— Усачева, вы случайно не родственница валдайским заводчикам Усачевым? Были до революции такие фабриканты, занимались изготовлением знаменитых валдайских колокольчиков.

— Нет, как будто просто однофамильцы.

— А я подумал — валдайская ты, потому и спросил. — Он обращался к ней то на «вы», то на «ты», и эта изменчивость в обращении говорила о частой смене его настроений, его отношения к тому, с кем он разговаривал. — Приходи,— повторил он еще раз,— для тебя что-нибудь придумаем. — И она поняла по тону его обращения, что он действительно для нее может что-то сделать.

Выйдя на улицу, размышляла о том, что приходится обивать пороги, унижаться перед мелкими тварями, просить, чтоб устроили. Грамотные работники им не нужны, а нужен рабочий скот, послушное стадо, бессловесное и раболепное. Не зря, видать, спросил о родстве с теми Усачевыми, что жили когда-то в Валдае. Настя бывала в этом маленьком примечательном городке: там жила подруга Верочка Иванова. Была летом, когда го­товились с ней поступить в институт. Понравилось озеро с живописными берегами, с хрустальной прозрачной во­дой. Купались и загорали, ходили в боровые леса.

Запомнилось валдайское кладбище, расположенное на холме. У входа — кирпичной кладки красная цер­ковь. Над могилами — высокие деревья. У подруги здесь покоилась мать. И вот Настя вспомнила, что рядом бы­ли похоронены и купцы Усачевы. На их могилах стояли массивные кресты из черного мрамора. Из надписей на них следовало, что Усачевы жили в Валдае еще в на­чале прошлого века. И фамилия этих Усачевых извест­на только потому, что они разнесли по всей России ма­линовый перезвон валдайских колокольчиков. И звенели эти колокольцы неумолчным звоном полтора века под дугами лихих троек.

Придя домой (дом Поликарповых она считала своим домом), Настя легла и не заметила, как уснула. Прос­нулась рано. На улице была несусветная пасмурь: с неба сыпался мелкий дождик, предосенний, нудный и за­тяжной. Сквозь эту тоскливую сеянь дождя она увиде­ла соседку, снимавшую с вешал мокрое белье. Вспомни­ла, что и она вчера повесила кофточку, и, торопясь, вы­бежала на улицу. Сняла белье и развесила уже дома, возле печки.

Дождь не переставал и в полдень. Только к вечеру тучи побледнели, и мокрядь постепенно отодвинулась в неоглядную даль. Настя вышла в огород покопать картошки и там снова увидела соседку. Вытянув длин­ное сухое лицо, старуха тихо спросила:

— Новость-то слыхала?

— А что такое?

— Как что? Аресты в городе идут. Хватают людей вдоль и поперек.

— Ну?..

— Вот те и ну. Этого, главного ихнего, кто-то укокал.

— Какого главного? — спросила Настя.

— Не помню уж. Память-то у меня знашь кака. Иди-ка узнай у Семеновых. Они тут рядом живут. По другу сторону твово дома.

Настя вошла в дом сама не своя: то ли идти к Сперужскому, то ли нет.

Решила пойти.

**Глава седьмая**

Убит был вахтмайстер Шмитке. Убили его среди бела дня в центре города, в тот момент, когда он выходил из комендатуры и садился в автомашину. Стрелял кто-то со стороны парка, пуля попала в голову, и Шмитке упал замертво, лежал плашмя, раскинув руки. Фашисты суетились возле него, ошарашенные случившимся, и когда пришли в себя — бросились в сторону парка, но настигнуть тех, кто стрелял, не смогли. Хватали всех, кто попадался на глаза, хватали без разбора — и женщин, и подростков. В первые два часа было аресто­вано около тридцати человек, начались допросы, пытки, а кто на самом деле стрелял — так и не удалось выяснить.

Утром Настя сидела дома, опасалась выйти: мало ли, попадись под горячую руку в гестапо — попробуй потом вырвись из этих цепких лап, сгинешь, точно в темный омут провалишься. Посидела часа два, пошла в огород, прислушалась: в городе было тихо, казалось, и сам воздух застыл в неподвижном оцепенении. Накопала картошки, вымыла ее, поставила кастрюльку на прогар плиты, но печку топить не стала. Зачерпнула воды, взяла сухарик и начала жевать, припивая водицей. Сухарик похрустывал на зубах, было ощущение, будтожует постный сахар, такой сладкий и ароматный. Разжевала, проглотила и поняла, что это не сахар, а простая корочка хлеба, но только немножко сладкая — ведь она со вчерашнего дня ничего не ела и проголодалась. И вдруг подумала: а как же там Надюша? Небось помирает от голодухи — ведь и передачу-то не приняла. Снова стало горько на душе, ощущение сладости и покоя моментально исчезло. Решила про себя: что-то надо делать, чтобы вызволить Надю, спасти. «Действовать, только действовать! Не сидеть же на месте»,— решила она и с этими мыслями вышла на улицу.

Солнце падало под уклон, недавней пасмури как не бывало, а когда день хороший — и на душе светлей. Шла она по улице к своей цели, иногда останавливали патрули, она показывала пропуск, хотя он и был временный, но выручал надежно, и особенно выручало знание немецкого языка. С патрулями она бойко перекидывалась фразами, солдаты козыряли ей, и она шла дальше.

На бирже труда принял все тот же Сперужский. На этот раз он был хмур и нелюдим и даже выявил некоторое неудовольствие тем, что она пришла. Весь вид его говорил о том, что он подавлен чем-то и глубоко встревожен.

— Нет, нет, не могу устроить! Не могу! — проворчал он и отвернулся. — Приходите лучше завтра, после обеда.

— Я прошу вас, выслушайте меня. — Настя села на скамейку,делая вид, что не уйдет, пока не выслушают ее.— Мне работа нужна. Ведь надо на хлеб зарабатывать.

— Всем вам подай хлеб, да еще с маслом. Много вас, таких нахлебников, развелось.

— Но я ведь прошу вас, господин Сперужский. Очень прошу.

Сперужский молчал. Работу, конечно, он мог бы по­дыскать и сейчас, но проявлял осторожность: мало ли что? Кто она такая, эта Усачева? Пришла из деревни. Почему пришла, зачем? Может, подослали подпольщи­ки? Всякое бывает. Вот самого Шмитке ухлопали. Кто его убил? Может, Усачева и ухлопала. Отправила на тот свет к праотцам, а сама для отвода глаз заявилась сюда. Возьмешь на работу — грехов не оберешься. Нет, надо обождать, пускай проверят в жандармерии.

— Не могу,— твердо отрубил Сперужский. — Вот ес­ли на оборонительные сооружения... Согласна землю ко­пать или тачку таскать?

— Я могла бы переводчицей... Мне Брунс обещал.

— А, Брунс! Тогда иди к Брунсу. Пускай он и уст­раивает.

И на этот раз Настя ушла ни с чем. Она шла, размышляя, что же дальше предпринимать. Пойти к Брунсу — а вдруг и он откажет? Что тогда? Жить просто так, без дела она не могла. Надо найти какую-то работу, хотя бы временную, пристроиться к какому-либо месту, приоглядеться, завязать контакты. А жить просто так в городе нельзя — это она понимала и решила пойти снова к Брунсу или в жандармерию. Должны же ее, в конце концов, устроить.

Возле базарной площади она увидела ребенка лет семи, сидевшего возле забора. Подошла поближе и разглядела его. Мальчик был одет в серую поношенную куртку, на голове старенький картуз, штаны настолько износились, что сквозь внушительные дыры были видны остренькие колени ребенка. Лицо сморщилось, как у старичка, глаза полузакрыты. Настя поняла: ребенок умирает от истощения. Она окликнула его:

— Кто ты такой? Откуда пришел?

Мальчик чуть приоткрыл глаза и снова закрыл, ничего не ответив. Он настолько был слаб, что еле шевелил губами. Подойдя еще ближе, Настя увидела, что по прохудившейся одежонке ребенка ползают насекомые. «Ах ты, милый, что наделала с тобой война», — подумала Настя, и в душе ее всколыхнулась такая жалость к этому крохотному существу, что она чуть не заплакала. Надо было как-то помочь, а как — не могла придумать. Взяла за рукав и попыталась поднять мальчика, но колени его подкашивались, он настолько ослаб, что не мог самостоятельно идти. Поддерживая, она повела его к дому.

Затопила печку, чтобы согреть воду и вымыть ребенка. Одежонку тут же сожгла, порылась в шкафах Надежды и нашла кой-какие вещи. Когда вода согрелась, мальчика посадила в таз и начала мыть. Тельце было настолько хрупким, что она боялась натирать мочалкой. Потом взяла ножницы и остригла волосы. Снова мыла шею, спину, животик, совсем провалившийся почти до позвоночника.

— Господи, до чего ты дошел! Ведь и умереть недолго...

Намыв, закутала в одеяло, положила на кровать. Приготовив обед, стала кормить. Мальчик еле раскрывал рот и слабо шевелил губами. И все же помаленьку ел. Когда проглатывал пищу, кадык на шее неестественно вздувался и набухшая жилка импульсивно вздрагивала. На другой день он уже жадно хватал пищу, словно птенец, то и дело открывая ротик. Однако Настя знала, что кормить много в таких случаях нельзя, иначе может наступить непоправимое, сказала ласково и чуть слышно:

— Обождем, миленький, немножко. Обождем.

Он открыл глаза и посмотрел на нее с такой преданностью, точно перед ним была родная мать. Губки зашевелились, и до слуха Насти донеслось единственное слово, произнесенное почти шепотом:

— Мама...

— Что, сыночек, что? — спросила она и заплакала. Ее охватило чувство

жалости, неизбывной тревоги: она понимала, что ребенок не ее, но матерью теперь, хотя бы временно, должна стать она. Обязана поставить несчастного ребенка на ноги, спасти его.

Она уже думала только о нем и делала все только для него. Из старого белья сшила ему рубашонку и простенькие штаны. А вот обувку не знала, где найти. Но надеялась, что мир не без добрых людей, выручат, все будет, только бы поскорей выходить его, вдохнуть в слабенькое тельце животворную силу.

Еще через день он уже слабо улыбнулся, и она спро­сила как можно ласковей:

— Как звать-то тебя, родненький?

В его карих глазках заиграл огонек жизни, и он сно­ва улыбнулся.

— Ну как, скажи, как тебя зовут? — снова спроси­ла она.

— Федя,— ответил он слабеньким голоском.

«Федя, Федя,— пронеслось в голове,— не может быть». Это имя было ей настолько дорого, что она про­никлась необъятной нежностью к маленькому Феде. Ей показалось, что он и похож на того большого и сильно­го Федора, на мужа ее.

— Феденька, милый, откуда ты, из какой деревни? — спрашивала она мальчика.

Он слабо замахал сухонькой восково-прозрачной ру­чонкой, еле слышно прошептал:

— Из Плавкова. Деревню сожгли...

— А родители где?

— Сожгли и маму, и бабушку.

— А папа?

— Папа? — переспросил он. — Не знаю, где папа.

— Господи боже мой! — всплеснула руками Настя.— Осиротила война ребенка! Обездолила... — Она приоб­няла худенькое тельце Феди и горько заплакала.

Через несколько дней маленький Федор начал совсем оживать. Он уже бегал по комнатам и радостно лепетал:

— Мама. Я хочу, чтобы жива была мама...

Насте было радостно глядеть на него и в то же время горько, очень горько... Заменить мать Федору она не могла, должна была пристроить его где-то, куда-то определить, чтоб не погиб ребенок, а сама должна пойти туда, куда ее пошлют.

В один из субботних дней Настя снова была в кабинете у Брунса. Гестаповец строго смотрел на нее, подошел совсем близко, смотрел, словно бы просвечивал глазами насквозь. Настя хладнокровно выдержала пристальный взгляд фашиста. Он отошел к столу, полистал какие-то бумаги и, повернувшись к ней, жестко сказал:

— Сестру вашу, к сожалению, выпустить на волю не можем.

Настя вся подалась вперед, она не знала, что сказать. Брунс заметил, как она волнуется, переживает, и уже тише проговорил:

— Пока не можем...

— Почему? — вырвалось у нее.

Он знал почему, но не хотел сказать, не мог этого сейчас сказать по некоторым

соображениям. И она догадывалась, почему он не мог: велось следствие, многие были арестованы, многие подозревались...

— Не доверяете? — спросила она.

— Нет-нет! Почему же? — замахал рукой гестаповец. — Я, Анастасия, вам вполне доверяю. Мы вас уже проверили. По всем каналам. И могу вам сообщить приятную новость. — Он с минуту помедлил, отошел к окну, поглядел на улицу и, круто повернувшись, сказал: — Принимаем вас переводчицей в жандармерию. У нас есть переводчики. Надежные люди. Но работы стало настолько много, что мы не справляемся. Приходится работать ночью. Притом выезжаем на периферию. Мо­гут быть командировки. Согласны?

— Я подумаю,— сказала она. — Работа мне нужна, но некоторые обстоятельства меня удерживают...

— Что за обстоятельства?

— Мать дома одна. Старенькая, а дел по хозяйству немало.

— Ну, матери поможем. Не пропадет твоя мать. Будешь навещать. Не так часто, но будешь.

Он перешел с ней на «ты», это ее несколько удивило. Разговор приобретал доверительный тон, она поняла, что Брунс и на самом деле ей доверяет. Все шло как нельзя лучше, она даже не надеялась на столь быстрый поворот событий к лучшему. Осмелев, посмотрела ему прямо в глаза, застенчиво улыбнулась.

— Ну как, Усачева? — Он тоже улыбался и смотрел на нее, смотрел неотрывно и, казалось, с дружелюбием. Она это поняла сразу и загрустила, напускной этакой грустинкой, а в душе разливалась радость. «Вот хорошо, приглашают,— думала она. — Так быстро и ловко все получилось. Буду работать там, где для подполья всего нужней. Здесь, у них, в жандармерии. То-то обрадуется Филимонов».

Брунс ждал ответа, а она медлила. Сказать сейчас, что согласна, или отложить свое согласие на несколько дней? Все обдумать, доложить по инстанциям, что ее принимают,а потом уж и браться за дело?

— В принципе я согласна,— наконец сказала она.— Но надо подумать, все взвесить. Работа у вас непростая.Сложнаяработа... — Она помолчала немного и подняла глаза: — У меня нервы...

— Ах, нервы,нервы! У всех у нас они, эти нервы.— Брунс снованачал ходить по комнате, поглаживал черные волосы,которые и так лежали аккуратно, смазанные каким-то снадобьем. — Ко всему нужна привычка, дорогая. Может, другие причины имеются?

— У меня мальчик. Сирота. Дальний родственник. Родители погибли, и надо его пристроить.

— Уладим и это,— перебил ее Брунс. — Мальчика отправим в Германию. Там воспитают, сделают настоя­щим человеком. Я об этом лично позабочусь.

— Нет, я не согласна, чтоб его отправили в Герма­нию,— начала возражать Настя. — Может, отец у него жив. Будет искать ребенка.

— Отец? Где его отец? — Глаза Брунса сверкнули подозрением. — В партизанах?

— Нет, не в партизанах,— спокойно ответила На­стя. — Мобилизован еще в сорок первом году, летом. С тех пор неизвестно где.

— Может, убит, может, попал в плен?

— Не знаю где,— сказала Настя,— но мальчика на­до спасти. Разрешите отвезти в деревню, к матери? Там он не пропадет.

— А работа?

— Отвезу — и сразу примусь за работу. Дайте мне пропуск на пять-шесть дней. С матерью повидаюсь, посоветуюсь.

— Ну что ж, поезжайте,— согласился Брунс. — Даем всего два дня, больше не можем. Согласна?

— Да, я согласна,— сказала Настя и поднялась.— Благодарю вас, господин ротенфюрер.

— Документы получите в канцелярии. На попутных машинах доехать можете сегодня.

— Еще раз благодарю,— поднялась и поклонилась Настя. — Вы добрый человек, Брунс. Очень добрый.— Сказала эти слова и спохватилась: зачем так сказала? Вот глупая. Что он может подумать? Какие сделает выводы? Подумала так и быстро вышла, боясь, что он еще что-нибудь спросит, остановит.

Через полчаса у нее на руках был пропуск, очень важный документ: с такой бумагой хоть куда можно поехать, хоть в саму Германию, хоть на край света.

И вот она с Федей уже в кабине грузовика, весело болтает с шофером по-немецки. Ей и на самом деле было весело: ехала домой, так ловко облапошив самоуверенного гестаповца Брунса. Поверил, выдал пропуск. Но ведь он не знает, что она разведчица. А если бы узнал, как был бы ошарашен, разбит и подавлен! Нет, не узнает фашист, кто она на самом деле. Не узнает…

Она ехала и решительно никого не боялась.

— Значит, к матери в гости? — спрашивал у нее шофер и не верил, что она русская: ведь так хорошо говорит по-немецки. — А не в Германии мать?

— Нет, нет,— отвечала Настя. — Мать в Большом Городце. А это внучатый племянник. Сирота. Везу к матери. Потом — обратно в город: работа ждет. Переводчица я у самого Брунса.

— У Брунса? — переспрашивал немец. — Даже у Брунса? — Шофер насторожился и, казалось, не верил: Брунс был видной фигурой в Острогожске, его боялись все, даже офицеры. Кто к Брунсу попадал — выкрутиться было не так просто. Особенно сейчас — такое опасное время. Красная Армия наступает. Повсюду партизаны не дают покоя. Трудные настали времена. Очень трудные для

немецкого вермахта.

— Как тебя звать? — спросила немца Настя.

— Ганс Борш. Из-под Лейпцига я. Отец в деревне, крестьянин. Землю пашет, хлеб убирает. А сам я перед войной работал на заводе слесарем.

— Домой небось хочешь?

— Ну, кто ж не хочет? Все хотят. Да вот война все карты спутала. Перед войной собрался было жениться и... не успел.

— Поди, невеста ждет?

— Ждала, ждала, да перестала. Недавно мамаша прислала письмо. Вышла моя Роза замуж. За инвалида выскочила, за офицера. А я вот здесь. Останусь живой или пропаду — одному богу известно. В лесах партизан полно. В любой момент могут прихлопнуть.

— Боишься, Ганс?

— Иногда боюсь. Особенно ночью, когда едешь по глухомани. Кругом темный лес. Едешь и ждешь — вот забросают машину гранатами или прошьют автоматной очередью. И… считай, конец. А помирать не хочется. Скорей бы эта страшная война закончилась. Это я так, по-солдатски. Разумеется, Брунс не должен знать об этом. Я надеюсь, фрейлейн, вы не передадите ему то, о чем сейчас говорил?

— Не бойтесь. Ничего не скажу. Я ведь русская. Подневольная. Просто службу несу, и все. Кормиться как-то надо.

Солдат умолк и смотрел на Настю не то с подозре­нием, не то с доверием, но, видимо, был раздосадован, что лишнего сболтнул.

Настя поняла это и тоже молчала, однако в душе ее разливалась радость: наконец-таки и они, немецкие солдаты, начинают понимать, что война, развязанная кликой Гитлера, бессмысленная и позорная, безвозврат­но проиграна. Раз стал немецкий солдат думать об этом, и, очевидно, серьезно задумываться, значит, дела фашистов не так уж и хороши. Перспективы у них нет никакой. Настя хотела обо всем этом сказать Ган­су, но воздержалась: она не имела права об этом го­ворить.

А немец между прочим продолжал:

— Отец погиб на войне и два брата. Остался один я у матери. Ждет меня не дождется. Может, тоже ух­лопают. А как хочется жить! Как хочется! Мне всего двадцать три года. Двадцать три... — Он замолчал. При­держивая левой рукой руль машины, правой достал из кармана пачку сигарет, щелчком указательного пальца вытолкнул сигарету, поймал ее губами, долго жевал, не прикуривая, потом вынул из кармана зажигалку и при­курил. Затягивался жадно, выпуская клубы дыма в при­открытое оконце кабины, шевелил губами. Накурив­шись, выплюнул окурок и тяжело вздохнул.

Настя поняла: невеселые мысли в голове у Ганса, очень невеселые. Думал, по всей видимости, о своей судьбе, о судьбе семьи, которую так потрепала война.

— А все же о доме скучаешь, Ганс? — опять спросила Настя.

Он посмотрел на нее искоса и удивленно: кто же не хочет домой, поди, каждый солдат думает о доме, мечтает вернуться, в том числе и Ганс Борш.

— Только бы живым остаться,— ответил он не сразу. — Всем надоела война. И вам, русским, и нам. Столько людей погибло... — Он опять задумался, Настя тоже молчала и думала о своем.

Когда доехали до повертки, Настя с Федей вышли из кабины, Ганс тоже вышел.

— Ну, прощайте,— сказал он. — Счастливо добраться.

Немец долго стоял на развилке дорог, смотрел, как все дальше и дальше уходили Настя и маленький Федя. Пройдя шагов сто, Настя оглянулась, а немец все еще стоял. Она помахала ему рукой, и он махнул пилоткой раза три, потом побежал к машине, залез в кабину, завел мотор и поехал. Почему-то Насте стало жалко этого Ганса из-под Лейпцига, простого солдата, может, ни в чем не виновного, брошенного судьбой в страшную пасть войны. Сколько таких парней полегло, сколько сложено голов неповинных... Настя завздыхала и пошла быстрей. Федя еле поспевал за ней, бежал трусцой, все время оглядываясь, словно боялся: уж не гонится ли этот большеносый немец за ними? Он не понимал, о чем говорила Настя с немцем,— говорили-то по-немецки.

— Ты что все голову поворачиваешь, Федюнчик?

— А вдруг он нагонит нас и прибьет?..

— Не будет он нас догонять, Феденька. Не бойся, не будет.

— А ведь они мамку с бабуней сожгли. Ведь они, фашисты.

— Они, Феденька, они. Многих погубили они, но не все звери. И среди них есть люди. Вот и Ганс, который нас подвозил... Разве он зверь? По-моему, человек он и неплохой. Видел ты сам: не обидел нас? На машине прокатил. И еще кого-либо подвезет. А почему подвезет? Потому что человек он добрый.

— Нет, не добрый он человек! — Мальчик остановил Настю, и глазенки его колюче засверкали. Она поняла: он не поверил ей, не мог поверить, что немец Ганс добрый.

Настя улыбалась и глядела на Федю: головенка мальчугана ежисто ощетинилась, и весь он превратился в колючего ежонка. Уж так был обижен войной, так обездолен, так измучен, что в каждом немце он видел только убийцу, только насильника. По существу, многие оккупанты таковыми и были, но вот Ганс — враг или не враг? Для маленького Федора он был враг, олицетворяющий величайшее злодейство, а для Насти — враг относительный. Она поняла, что немцу Гансу ненавистна война. А раз ненавистна, то из врага он может превратиться в друга, и это превращение может произойти в любой момент. Но как убедить маленького Федю, что Ганс совсем не враг, что он может быть другом, товарищем, а если предоставится возможность, повернет оружие против фашистов? Ведь многие же немцы ведут с фашизмом, многие томятся в тюрьмах и концлагерях. Ох, сложна борьба в этом мире, борьба между злом и добром.

— Не будем об этом думать, Федя,— сказала Настя. — Подрастешь — все поймешь, все уразумеешь. А теперь мы с тобой идем в гости к бабушке. Бабушка наварит свежей картошки, угостит блинчиками, если мука у ней сохранилась. И морковка в огороде есть. Хо­чешь морковочки?

— Очень хочу,— сказал Федя. — Она такая розовая, сочная и сладкая.

— Вот и хорошо, мой маленький мальчик.

В Большой Городец они пришли под вечер, когда за­ря уже окрасила заречный край неба и лес затуманил­ся в полусумраке. Все дышало покоем: и поля, и луга были безлюдны, и на речке никого не было, деревня готовилась ко сну. Настя постучала в калитку, и сердце забилось гулко: ведь она стояла у родного порога, где все так мило и знакомо ей, где жила мать. Жива ли? Откроет ли дверь? И вот в сенях послышались шаги, вот она спустилась по ступенькам, увидев Настю, всплеснула ладошками:

— Настенька, ты?

— Я, мама. Что, не ожидала?

— Сердце весь день чуяло, что вернешься домой. Ждала сегодня. И вот не зря, видать, ждала. Да ты, кажется, не одна?

— Мальчик со мной. Сирота. Феденька

— Ну, что стали? Проходите в избу, гости мои не­наглядные.

В доме было все по-прежнему. Намыто и прибрано. Пахло огородным — укропом, чесноком, огурцами, свеклой. Мать убирает, что выросло, делает припасы на зиму.

— И зачем в город пошла? — начала упрекать Спиридоновна дочь.— Что те дома не жилось? Всего наросло, что я, съем одна?

— Сама не съешь — соседям поможешь, тем, кто нуждается. Посмотри, сколько людей голодает. Вот Феденька родителей потерял и чуть не умер с голодухи. Подкорми его, мама.

— А ты что, опять туда, в город? Смотри, допры­гаешься. С ними, с фашистами с этими, шутки плохи. Боюсь за тебя, Настя. Очень боюсь. Как не столкнули б туда, в бездонную пропастину.

— Не бойся, мама. Не пропаду. А в городе на работу устроилась...

— Это на каку таку работу?

— Секрет за семью печатями.

— У немцев, что ль?

— А хоть бы и у них...

— Смотри, девка. Слухи пойдут дурные. Что тогда? Уши не заткнешь... А наши придут — что скажут? Спотребуют, где служила, с кем крутилась...

— Все правильно, мама. Что надо, то и делаю. А ты живи да помалкивай,— многозначительно намекнула она. — Перед своими оправдаюсь...

— Смотри, мать не забывай.

— Как будет возможность, приеду опять. Живу по­ка у твоей племянницы.

— У Надюшки? Я так и знала. Поклон ей низкий да всего доброго.

— Если увижу, передам.

Спиридоновна испуганно поглядела на Настю: жи­вет вместе, а поклон — если увижу...

— Почему — увидишь? Где она? Уж не заграбаста­на ли?

— В тюрьме пока,— спокойно ответила Настя. — По ошибке посадили, скоро

выпустят.

— По ошибке они не сажают,— забеспокоилась Спи­ридоновна.— К ним в лапы загребущие попадешь — об­ратно только в могилу отправляют. Уж я-то наслухалась всего. Ой страхи господни...

— Не переживай, мама, все будет хорошо.

— Так когда обратно-то?

— Два дня всего дали. На третий отправляюсь в обратный путь. И пропуск вот у меня на руках. Так что все нормально.

— Ну, погости. Огородное поможешь убрать, наро­сло всего помаленьку.

— А теперь я пойду, мама.

— Куда пойдешь? — Спиридоновна нахохлилась и строго посмотрела на дочь. — Куда на ночь глядя?

— Надо, мама, с Ольгой Сергеевной повстречаться. А ты тут Федюшку приласкай и накорми, а я быстренько обернусь...

— Опять шашни-пострашни. Смотри, допрыгаешься, как Степачевы...

Настя незаметно вышла из дома, направилась к Ольге Сергеевне. Подруга радостно встретила ее и пер­вымделом спросила:

— Вернулась? Что, насовсем?..

— Нет, обратно скоро. Мать спроведать да на вас посмотреть. Как вы тут?

— Да ничего, живем. Урожай опять приезжал не­мецкий инспектор проверять.

— Ну, и что?

— Будем выкручиваться. Что-нибудь придумаем. А ты как там, в городе?

— Почти устроилась. К Брунсу, переводчицей обе­щает...

— Ой ли? Высоко, Настя, взлетаешь. Держись! Про Светланку ничего не известно? Где она, что с ней? Жи­ва ли?

— Вроде бы жива, если на допросах не замучили. Вот буду в жандармерии работать — постараюсь все ра­зувать. И по возможности помогу.

— Будем надеяться на тебя, Настя. Время лихое. Фашисты звереют...

Настя смотрела на подругу и примечала про себя: похудела Ольга Сергеевна, лицо осунулось и морщинок под глазами прибавилось. Нелегко тут живется, подполь­ный колхоз под носом у немцев почти два года сущест­вует, и все это на плечах Ольги Сергеевны.

— Значит, держитесь? — спросила Настя.

— Держимся. И будем до конца держаться. Фаши­сты о подпольном колхозе только, может, догадываются, но ничего толком не знают — как у нас все организова­но, какие связи с партизанами.

Ольга Сергеевна словно бы споткнулась на словах. Ведь так много хотелось рассказать подруге, обо всем порассуждать, посоветоваться.

— Хлеб в скирдах,— продолжала она. — С обмолотом тянем. Приезжали, спрашивали, почему не молотим. Ответила — молотилка в ремонте, а руками молотить, дескать, долго, да и мужиков нет, а что одни женщины да подростки. Уже разнарядка из управы пришла — сколько сдавать. Ответа не дали. Ждем указаний из подпольного райкома...

— Если хлеб фашистам отдать,— сказала Настя,— то лучше бы не сеять. Зачем врагу помогать?

— Но мы посеяли. А раз посеяли — обмолотим, хлебопоставки государству выполним. Как полагается по законам Советской власти. А фашистам—вот!.. — Ольга Сергеевна показала кукиш.

— Я не одна приехала,— сказала Настя. — Со мной — мальчонка, сирота. Сейчас он у матери пока. Помогите ему. Может, отец жив — в партизанах или на фронте. Ребенка надо сберечь.

— Не беспокойся. В обиду не дадим, всем миром поможем.

Подруги сидели почти до полуночи. О чем только не говорили! Настя спохватилась, поднялась с табуретки, поднялась и Ольга Сергеевна, обняла Настю, прижалась щекой — лицо ее было горячим.

— Приходи завтра, еще потолкуем. Живем-то в какое время? Все может случиться с каждым. Словно по острию ножа ходим... Особенно ты, Настя, нервы держи в порядке, не сорвись.

— Привыкаю, обживаюсь. По-немецки натренировалась, но все же боязно, ночи не спишь, все думаешь: а что завтра будет, что новый день принесет?

— Ну, давай иди, тебя мать ждет. Тоже переживает. Душой изболелась. А насчет малыша не беспокойся, не пропадет.

**Глава восьмая**

К вахтмайстеру Гансу Вельнеру Настя пришла ровно в назначенное время — в десять часов утра. Кар вошла в кабинет, немножко струхнула, стояла у порога онемевшая. Кабинет большой, у задней стены стол, за которым сидел вахтмайстер и перебирал бумаги. Откинув голову, он стал глядеть на нее с нескрываемым любопытством, изучающе. Затем поднялся с кресла, пригласил:

— Садитесь, Усачева.

Вельнер был высок, узколиц, волосы коротко острижены, на лацкане мундира — железный крест.

— Значит, хорошо владеете немецким языком? — первым делом спросил он. — Где изучали?

Настя ответила:

— В школе азы проходила, а затем в общении с немецкими солдатами прошла хорошую практику. И вот говорю, как видите, сносно.

— Да, вижу, вижу. Произношение у вас почти правильное. Пройдет немного времени, и вы в совершенстве будете владеть немецким языком, самым красивым и мощным языком в мире.

— Да, язык немецкий прекрасен,— согласилась Настя. — На этом языке творили Гёте и Шиллер. Я читала произведения этих великих писателей в подлиннике.

— Вот как! — удивился Вельнер. — Это похвально. Очень похвально. Мы хотим, чтобы вы, Усачева, честно служили германскому вермахту. Ваша работа будет по заслугам оценена. Вы уже знаете о своем назначении?

— Да, я знаю, что меня назначили переводчицей. Буду стараться, господин вахтмайстер.

— Ну вот и хорошо. С сегодняшнего дня вы зачислены в наш штат, поставлены на довольствие по нормам германского вермахта. А живете где?

— У родственников в частном доме.

— Можем устроить в другом месте. Но смотрите, как вам удобней. Желаю вам успехов в работе, Усачева, и можете пока быть свободной. Через два-три дня вас пригласим...

Настя вышла от Вельнера с более спокойным чувством. Ведь каких-нибудь полчаса назад она сильно волновалась, просто боялась встречи с матерым фашистом. «Кажется, все в порядке,— подумала она,— первое испытание выдержала». Она была наслышана о том, что Вельнер с подчиненными, какие бы чины они ни занимали, был всегда подчеркнуто корректен, любил,  
чтобы все его приказания выполнялись беспрекословно и пунктуально. Когда он позовет ее к себе — завтра, послезавтра, через три дня? И все же она боялась новой встречи с Вельнером, боялась его глаз, серых, проницательных, как ей показалось, всевидящих. «Дьявольские глаза»— так определила Настя пронизывающий взгляд вахтмайстера. И улыбка у него неприятная. Она вспомнила, как он улыбнулся,— в улыбке его таилась загадка. Настя поняла: бывать в обществе такого человека неудобно и опасно, порой просто страшновато. Особенно когда при ней начнут пытать очередную жертву. Настя опасалась, что не выдержит: ведь будут истязать советских людей.

У Вельнера была и другая переводчица — Клавка Сергачева. Клавка в жандармерии работала давно, и Настю, к ее радости, на допросы пока не приглашали. Она несколько раз выезжала в районы с ротенфюрером или с кем-либо другим. Гестапо частенько высылало отряды СД в ближние и дальние деревни, предпринимало карательные операции против партизан. Чем дольше продолжалась война, тем все более шатким становилось положение фашистских властей в оккупированной зоне. Поражения на фронтах, активизация партизанского движения, да и просто неповиновение населения — все это нервировало фашистов, выбивало у них почву из-под ног, и они шли на крайние меры: убивали людей, выжигали деревни.

Однажды Настя разузнала, что возле деревни Заболотье немцы построили новый аэродром, на нем базировалось до полсотни самолетов. Сведения об этом она передала по назначению. Через два дня аэродром был накрыт советской авиацией. В этот момент она была недалеко от аэродрома и видела, как он пылал в пламени пожаров. Взрывы были настолько сильны, что даже в трех километрах от места бомбежки вздрагивала земля и дребезжали стекла в окнах. Как ликовала она в эти минуты! Это была работа не только советских бомбардировщиков, но и ее работа, она непосредственно видела результаты своих усилий. «Да, живу не зря», — мысленно сказала она себе в тот момент.

Живя в Острогожске и выезжая за пределы этого городка, она многое узнавала. Удалось разузнать кое-что о расположении главных линий обороны врага. Наэтих оборонительных сооружениях работали согнанные сюда советские люди. Они-то и передавали ценные сведения, да и сама она иногда выезжала с отрядами СД в восточном направлении, где немцы воздвигали оборонительный вал.

Источником ценных сведений для нее были и сам немцы. Зная немецкий язык, она постоянно прислушивалась, о чем говорят фашистские офицеры. Особенно подвыпившие в городском ресторанчике, куда нередко приглашали и Настю. Бывала частенько и на городском рынке. На толкучке торговали сигаретами немецкие солдаты, самогоном — бабы из деревень. Тут был разный народ — и здесь кое-что узнавала. Ее интересовало буквально все: и новые огневые позиции на укрепленных пунктах, и зенитные батареи у переправ, численность войск в гарнизонах, вооружение этих войск и даже автопарки. Все эти данные она передавала через связного в партизанский штаб.

Наконец ей удалось узнать и о Светлане Степачевой. Светлана сидела в пятой камере вместе с другими девушками-комсомолками. Ее вызывали на допросы, пытали, и не раз,— об этом сообщила Клавка Сергачева, сказала, что, видимо, отправят в другую тюрьму, возможно, в Псков. Острогожские застенки были переполнены после убийства вахтмайстера Шмитке.

Судьба Надежды Поликарповой тоже была неопределенной. С передачами Настя ходила не сама, а посы­ла туда Ефросинью Горелову. Ефросинья жила на той же улице, где и Настя, а мужа ее арестовали месяц назад.

Настя жила одиноко и больше всего боялась посещений Брунса и Синюшихина. Однажды Брунс пришел с двумя бутылками вина, консервами и буханкой хлеба. Как всегда, он был с Настей любезен, сыпал компли­менты, шутил. Говорил, что закоренелый холостяк, до войны не успел жениться, а сейчас вот, видите ли, нет времени — война. Наливая вино в рюмки, Брунс расска­зывал о том, как пил шампанское во Франции, как хо­роши там девочки, что в России — глухомань и дикость, а война затянулась до бесконечности. Само собой разу­меется, можно и тут, в этой глухомани, отсиживаться, но вот начальство без конца надоедает, требует быстрей покончить с партизанами. А как с нами покончишь? С каждым месяцем они все больше и больше наглеют, на­падают на гарнизоны, пускают под откос поезда, ведут пропаганду среди населения.

— Фрау Настя случайно не связана с партизана­ми? — неожиданно спросил у нее Брунс и пристально посмотрел на нее.

Она не испугалась, ответила:

— Что вы, господин ротенфюрер! Партизаны в лесах прячутся. Бородатые и страшные. Коммунисты да ком­сомольцы. А я что? Беспартийная...

Выпив вино, он стал болтливым и надоедливым. На­стя смотрела на него и думала: симпатичный, можно сказать, красивый, и военная форма ладно сидит на нем, только больно уж эта форма не нравится ей. И эта повязка на рукаве с ненавистной свастикой. А что за мысли в голове у этого молодого вышколенного фашиста, о чем он думает? О скорой победе? Навряд ли он об этом теперь размышляет. Победа ему и не мерещится. Все его помыслы о том, как бы уцелеть, выбраться из этой каши, которую безрассудно заварил бесноватый фюрер. Брунс, может быть, все еще слепо верит в своего кумира, а возможно, эта вера давно пошатнулась. Кто знает, о чем думает вот в эти минуты ротенфюрер Брунс? Что беспокоит его и что тревожит?

— Давайте выпьем за победу доблестных войск Германии, — сказала Настя, преданно посмотрев ему в глаза.

Брунс улыбнулся, но улыбка моментально испарилась, глаза стали серьезными, он, видимо, уловил иронию в предложении собеседницы, подняв рюмку, сказал:

— Выпьем, фрау Настя,— и начал медленно пить вино.

Она тоже выпила. Они сидели друг против друга и молчали. Настя глядела на него и думала, что этот молодой офицер по фамилии Брунс, так блестяще начавший свою карьеру, не очень-то весел, хотя и улыбается, делает вид, что все идет как будто бы хорошо, что он счастлив и доволен. А какое же это счастье? Да и было ли оно у него? Даже в те дни, когда торжествовал фашизм, захватывая все новые и новые земли, счастье Брунса было непрочным, иллюзорным.

«Какие мысли кружатся в голове у Брунса?— думала Настя. — Неужели все еще он надеется на победу? Гитлер постоянно вдалбливает в головы своим солдатам и офицерам, что появится новое оружие — и тогда... Что тогда? Да и будет ли изобретено это оружие?»

— Ты не веришь, Настя, в нашу победу,— сказал, наконец, Брунс, глядя на нее повлажневшими глазами

Она не ответила ему, не знала, что сказать, слово бы растерялась, а он глядел на нее и ждал.

— Почему же? — помедлив, сказала она тихо. — Ведь Германия так сильна, а временные неудачи… Что ж, они бывают.

Она поняла — он не поверил ей,— лицо приобрело выражение отчужденности, стало почти враждебным. Ей казалось, что он разгадал ее мысли,— смотрел подозрительно.

— Если не веришь, Настя, в нашу победу,— продолжал он,— то с какой целью ты пошла к нам работать? Ну, с какой? Я хочу знать. Скажи мне...

Она оробела, что-то холодное и колкое пробежало по спине. Пыталась подавить в себе волнение, скрыть его от проницательных глаз фашиста. Она ненавидела его в эти минуты и молчала. А он спросил снова:

— Ведь сомневаешься?

— Да, сомнения есть,— ответила она неожиданно для себя,— но я все же

надеюсь.

— На что надеешься?

— На вашу победу, Курт.

— Да, мы победим. — Он вскочил с места, забегал по комнате, продолжал громко кричать, словно бы утешая себя этим криком: — Фюрер найдет средства и способности для подготовки нового, еще более сокрушительного наступления! Он отомстит большевикам за Сталинград и за летнее поражение под Курском! И ты уч­ти, Настя, что война идет на вашей территории.

Сразу захотелось ответить, что война идет пока на нашей, но придет время — будет вестись и на вашей, то есть на немецкой земле. Она ответила ему так — только не словами, а всем выражением своего лица: торжествующе поглядела на него, и он сначала не мог понять, почему она радуется. Потом, наконец, понял, но приблизительно, не уяснив до конца всю глубину ее торжествующей радости.

— Ты не веришь в победу, Настя! Я по твоему ли­цу вижу — не веришь!..

— Что ты, что ты, Курт! Я преданно служу Германии. Ведь недаром изучила немецкий язык. Работаю на вас, и назад поворота нет. Если победят русские, они меня расстреляют.

— Это верно,— согласился он,— они не помилуют тебя и других, подобных тебе. Таких, как полицейский Синюшихин. Он, кажется, был у тебя?

— Заходил,— ответила Настя,— ведь мы земляки, почти из одной деревни.

— О чем он с тобой говорил?

— Приставал с любовью...

— Это он, грязный полицейский? Как он посмел?

— Я выпроводила его. Я ведь замужняя.

— Замужняя? — Он вопросительно посмотрел на нее, словно не веря ее словам, хотя знал, что муж у нее был: наводил справки, когда принимали переводчи­цей. — Муж был, а теперь его нет... Война, Настя, такая война…

Да, она понимала, что такая страшная война убива­ет ежедневно сотни и тысячи людей. Разрушены и сож­жены города и деревни — все живое и неживое: война ничего не щадит.

— А может, он жив, муж мой...

— Он там, у красных? Возможно, и жив. Вернется и спросит у тебя, что ты делала здесь. Что ему отве­тишь?

— Да, ответ буду держать я. Но ведь Красная Армия, вы говорите, будет разбита. И Федор мой не придет, если и живой он.

— Ты изменила ему, Настя.

— Я? В чем?

— Он там воюет за Советскую власть, а ты здесь служишь нам. Разве это не измена?

Она почувствовала, что краснеет, хотя и понимала, что нет у нее вины перед Родиной, перед мужем. Она чиста во всем. И все же было стыдно сидеть рядом с фашистом, разговаривать с ним — сама эта близость словно бы оскорбляла ее. Ведь легче там воевать в открытую, на линии фронта. Но и здесь война не менее опасная, но более сложная, и тут на каждом шагу тебя подстерегает смерть.

— Не будем загадывать на будущее,— сказа она,— важно то, что мы сейчас вот живем. А что завтра будет — мы не знаем.

— Это верно,— согласился он,— будем жить сегодняшним днем.

Брунс заулыбался и, приблизившись к ней, осторожно обнял за плечи. Прислонив влажные губы к ее правому уху, прошептал:

— Я останусь у тебя, Настя...

Сердце екнуло у нее: она ждала, что он когда-то скажет об этом, и очень боялась этих слов. Освободившись из его рук, решительно запротестовала:

— Нет-нет. Я останусь одна. Так будет лучше. Я вер­на мужу.

— О муж, муж! Где он, что с ним, с этим твоим мужем? Забудь о нем, Настя! Ты так молода, так и хороша собой! А время так быстротечно, так стремительно бегут дни, месяцы, годы. Не успеешь оглянуться, как потеряешь счастье...

— Я сегодня хочу остаться одна,— заявила она.

— А потом... Потом я могу прийти?

— Только не как к любовнице...

— Ну, ладно,— сказал он. — Ты многое теряешь, Настя. Подумай. Я очень богатый человек. Отец мой— владелец фабрики.

— Не в богатстве счастье.

— А что, я плохой кавалер?

— Нет, почему же. Вы симпатичный мужчина, видный, богатый. И зачем вам связываться с русской замужней бабой? Пачкать ее и себя? Ведь вы же чистокровный ариец, в ваших жилах течет благородная арийская кровь.

— Не нужно этой брехни о благородной крови. Ты мне нравишься, Настя. Я могу тебя полюбить...

— И увезти в Германию, к родителям? Что они скажут вам?

— Ладно, ладно, Настя. Ты подумай. Я буду любить тебя. Жди, я приду...

— Только без любви...

Он засмеялся, начал опять шутить. Она, опустив голову, слушала его и думала: скорей бы избавиться от него. Потом он выпил еще две рюмки и, подзахмелев, все же ушел. В избе сразу стало словно чище: он унес с собой не только запахи чего-то казенного, до боли враждебного, но и обстановку напряженности.

Оставшись одна, Настя размышляла о том, как будет жить дальше: если он пришел сегодня, значит, придет и завтра, и послезавтра, начнет приставать, домогаться, и в конце концов она должна будет грубо выставить его за дверь. Но ведь он облечен властью, притом жестокой властью, в лучшем случае может сделать так, что ее уволят с работы и придется возвращаться в Большой Городец. А могут посадить в тюрьму или даже убить.Всё могут... А ведь она только что наладила подпольные связи и передает ценные данные партизанском штабу.

Пристают, потому что красива. Да, природа не обделила ее,— она по всей округе считалась самой видной девушкой. Многие парни заглядывались на нее, многие сватались, и только Федор Усачев завоевал ее сердце. «Ах, Федор, Федор, был бы ты жив, все бы бросила, перешла бы линию фронта и нашла бы тебя, непременно нашла бы!» Она подошла к зеркалу, прищурив глаза, смотрела на себя: несколько вздернутый нос, черные брови, волосы тоже черные, слегка вьющиеся на висках, и глаза голубые — небесной сини, на щеках легкий румянец,— да, она хороша. Как сейчас хотелось бы немножко быть подурней, постарше возрастом — было бы легче жить в этом страшном мире.

Ночто делать? Надо как-то выкручиваться. А как? Она решила пойти на свидание к дяде Васе. Дом знала, где он живет, но ведь связь у нее через другого человека и с ним она не должна была встречаться. И все же пошла.

Он копал в огороде картошку. Увидев Настю, выпрямился во весь рост и пошел ей навстречу. С тревогой посмотрев на нее, спросил:

— Случилось что?

— Да нет, ничего особенного... Пришла за советом.

— За советом? — Он обтирал руки, будто мыл их водой. На пальцах — комочки земли, они обламывались и падали в траву, а он все обтирал руки, большие, узловатые, привыкшие к постоянной работе.— Ну что ж, пошли в избу...

Он внимательно выслушал ее и сказал:

— Даже очень хорошо, что к тебе этот Брунс пристает. Вертись, крутись, води его за нос, но только с умом все делай.

— Не спать же с ним в одной постели?

— Не об этом я. Не об этом,— Дядя Вася взмахивал рукой, словно бы рубил дрова.— Одурачить его должна. Это главное. Заигрывай и обманывай. Может, пригласит на банкет куда, на пирушку. И что будет фашисты болтать — слушай внимательно. Нам очень важно, о чем они говорят, даже думают...

— Это просто сказать — заигрывай, вживайся. А если они грубую силу применят, эти господа? Что тогда?

— Да, они способны на всякие подлости, но будем надеяться, что все обойдется. В случае чего — держи связь. Если будут угрожать — придумаем, как дальше жить.— Он, немного помолчав, продолжал:— Мальчонку-то зря в деревню отвезла. Жил бы с тобой, глядишь, меньше бы приставали.

— И то верно,— согласилась она.— Не надо был Федю отвозить к матери.

Она ушла. «Да что я перепугалась понапрасну? — размышляла она,— Пускай ухаживает Брунс или еще кто, но ведь я сама себе хозяйка, сама себе барыня. В случае чего и щелчком по носу можно и того же самого Брунса, пускай вертится, танцует петухом, сыплет комп­лименты, обещает горы златые — ничего мне не надо: я должна делать свое».

**Глава девятая**

Случилось так, что заболела переводчица Клавка Сергачева. Что с ней случилось, толком Настя ничего не знала, и в жандармерию срочно вызвали ее. Войдя в кабинет к Вельнеру, она поздоровалась, он пригласил ее сесть, и она села на краешек стула. Неожиданно в комнату вошел Брунс. «Что ему надо? Почему пришел?»— подумала Настя с опаской.

Как правило, у Вельнера на допросах всегда был унтер Граубе с плетью в правой руке (он терзал свои жертвы в соседней комнате до потери сознания, если узник молчал), присутствовал кто-либо из переводчиков, а конвоиры обычно, доставив заключенного, сразу же уходили. Вельнер при допросах не любил посторонних глаз, и многое, что творил он в своих пыточных застенках, оставалось тайной. Но слухи о жестокости жандармов распространились далеко за пределы Остро­гожска.

Первым допрашивали шестнадцатилетнего белобрысого паренька из деревни Дехово, Сеню Петрухина. Он подозревался как член подпольной комсомольской организации, которая действовала в районе вот уже второй год, и гестапо несколько человек арестовало, но организация жила: провал был частичным. Настя почувствовала, что Сеня уже надломлен, кое-что сказал истязателям, но паренек мало что знал о подпольщиках. Он входил в одну из троек и был осведомлен о действиях своей тройки. Однако Вельнер добивался большего, и мальчишку уже не раз терзал Граубе, пытаясь вырвать новые дознания.

— Ты, паршивец, ходил в партизанский отряд в качестве связного? — допытывался Вельнер.— Когда хо­дил н с кем держал связь?

Настя перевела вопрос, а парнишка исподлобья гля­дел на вахтмайстера и молчал.

— Что, язык откусил? — Жандарм начинал злить­ся. — Мы всё знаем, что ты проделывал со своими друж­ками. Решительно всё!

— Я ничего не знаю,— еле слышно вымолвил Сеня и взглянул на Настю. Взгляд у него был насторожен­ный, недоверчивый.

«Что он подумал обо мне? — мысленно спросила се­бя Настя,— Что-нибудь плохое, недоброе. Решил, видать, сразу, что продалась Усачева фашистам, выслуживается. А если бы он знал правду, кто я такая на самом деле? И хорошо, что не знает». Да и сама она мало знала Сеньку Петрухина, потому что он был из другой деревни и не ее ровня — моложе лет на пять. А вот его сестра Ирина Петрухина училась с Настей в средней школе в одном классе.

— А может быть, скажешь, с кем еще связан, кто был в вашей организации?

— Что знал, все сказал,— ответил он писклявым голоском и приготовился к тому страшному и неумолимому, что уже не раз испытывал. Роста он был небольшого, худенький, через порванную рубашку проглядывала правая ключица. Волосы по-петушиному взъерошены, а в глазах такая тоска и обреченность, что казалось, вот-вот он сейчас заплачет. Но он молчал и покусывал крепкими зубами нижнюю губу. Видимо, был зол на себя, зол на то, что не выдержал пыток и кой в чем сознался. Душу его, чистую и рыцарски благородную, терзали одни и те же мысли: что подумают о нем товарищи, если даже он и умрет под топором палача? А умирать он не хотел. Да и прожил-то всего с гулькин нос: и школу не закончил, и повоевать как следует не пришлось, и девчонку, сверстницу Гальку Воробьеву, недолюбил.

— Больше я ничего не скажу,— сказал он твердо и упрямо крутнул хохлатенькой головой.

Вельнер подал знак, и Граубе вывел Сеньку из комнаты. «Повел на пытку,— подумала Настя,— и нет у них сострадания ни на капельку. Ведь парнишка-то ребенок. Как ему помочь, как выручить из беды? Надо все же что-то придумать». А что — она и сама еще не знала.

Сеньку увели, и там, в соседней комнате, на его плечи безжалостно опускалась тяжелая плеть палача. Парнишка тонкоголосо стонал и временами повторял одну и ту же фразу: «Ничего больше не знаю... Ничего».

Потом наступила тишина, и не успела Настя опом­ниться, как в комнату ввели Светланку Степачеву. Взгляды их встретились. Настя словно бы замерла, оцепенела от неожиданной встречи. Она готова была провалиться сквозь землю. Где угодно могла повстре­чаться со Светланкой, но только не здесь. Подруга сильно изменилась, а ведь не прошло и месяца, как арестовали ее. Одежда изодрана, точно побывала де­вушка в лапах хищного зверя. На лице кровоподтеки, а правый глаз заплыл в бордовом наплыве синяка, но левый смотрел цепко и смело. Настя сразу поняла, что ее не сломили.

Светланка обвела всех взглядом, потом ее единст­венный зрачок снова остановился на Насте. И Настя глядела на нее. Смотрела спокойно, но сильно страда­ла. Она не могла не заметить на лице Светланки удив­ление, затем это мимолетное удивление сменилось презрительным выражением, словно кто-то сжимал ей удавкой горло. Она взглянула еще раз на Настю, а по­том стала глядеть мимо людей, как бы не замечая ни­кого, смотрела в окно: там, на улице, сновали взад и вперед солдаты, пофыркивали моторами автомашины и мотоциклы.

Настя отвела взгляд в сторону и увидела Брунса: он впился в нее глазами. Встретив этот изучающий взгляд фашиста, она сразу подумала, что он не только наблюдает за выражением ее лица, но и читает ее мысли. Она собрала всю свою волю и невозмутимо долго смотрела на него. Затем он отвел свой взгляд, повернулся к Светланке и задал ей вопрос на ломаном русском языке:

— Ты знаешь этот фрау?

Светланка встрепенулась и снова посмотрела на Настю. Лицо подруги перекосилось презрительной гримасой.

— Знаю,— ответила она.

— Кто он такой?

— Продажная шкура,— ответила Светланка.— Таких, как она, ждет неумолимое возмездие...

Настя похолодела, но и радовалась, что так правильно ответила Светланка,

значит, приняла за изменниц**у.** Пусть будет так — это все же лучше для дела, которому она служит, ради которого идет на такой опасный риск. И в то же время было больно, что так отозвалась о ней подруга. Может, Светлана скоро умрет и, умирая, будет проклинать ее, Настю. Так и не узнает подлинной правды. Как это страшно!

Когда снова посмотрела на Брунса, то заметила, что тот был разочарован. Он, видимо, ждал теперь, что скажет Настя. А Настя молчала и чувствовала, как все с нетерпением ждут, что она скажет. Посмотрела на Вельнера — и тот буравил ее глазками и насторожил уши, большие, несколько оттопыренные, словно специально приспособленные для улавливания даже мельчайших шорохов. Уши фашиста иногда слегка пошевеливались. Настя сказала:

— Я знаю ее. Она из нашей деревни. Зовут Светланой, а фамилия — Степачева...

Брунс напряженно наблюдал за Настей, она это заметила и отвела взгляд на Вельнера. Вахтмайстер важно откинулся на спинку стула, пробурчал:

— Из вашей... Это нам известно, что из вашей. А вот о связях с подпольной организацией тебе ничего не известно?

— Нет, об этом я ничего не знаю,— спокойно ответила Настя.

— Как же так? Рядом жили, соседи, можно сказать. Подруга вам...

— Да, она соседка. Виделись часто, но дружить не дружили.

— Странное дело. Ну, а ты что скажешь, Степачева— обратился он к Светлане.— Нам ведь все известно. Передавала сведения партизанам о гарнизоне в Ракушинах?

Настя перевела слова Вельнера с немецкого на русский. Как не хотела бы она быть переводчицей в эти минуты.

— Нет,— коротко ответила узница и метнула недобрый взгляд на Настю.

В этот момент Настя дала знак глазами, как бы сказала: «Не бойся, я своя, потерпи, дорогая, поможем тебе». И Светлана уловила этот скрытый знак и, видимо, поняла, в чем дело, мелькнула догадка, что тут что-то невероятное: не может Усачева продаться оккупантам. Не может. Тогда что же? Что?

Цепкие глаза фашистов видели все или почти все, и уши Вельнера улавливали до мельчайшей точности все оттенки голосов, но этого потайного знака, когда встретились подруги глазами, они не заметили и не разгадали.

— Подруга? — спросил у Светланы Вельнер.— Вот она умней, чем ты. Не хочет понапрасну умереть. Понимаешь, не хочет...

— Продалась, паскуда,— прошипела Светлана с ненавистью, посмотрев на

Настю.— Змея шипучая! Придет время — за все ответишь! За все!..

У Насти зашлось сердце, но Вельнер потребовал срочного перевода. И Настя перевела. А сама сказал в ответ:

— Каждый жизнь по-своему устраивает. Кому хочется умирать ради кого-то? Жизнь — дороже всего.

— Жизнь, жизнь,— словно бы передразнивала Светлана Настю.— Подлая твоя жизнь... Страшная...

Больно было слушать такие слова, можно сказать, убийственные, словно смертный приговор. В первое мгновение Настя даже растерялась, чуть не заплакала от стыда и позора, но приказала себе: терпи. Она видела, как ухмылялся Брунс: он понимал русский язык лучше, чем Вельнер. Отдышавшись, поняла, что все идет правильно,— она будто бы возвысилась в глазах немцев. Пускай и на самом деле думают, что она подлая тварь.

— Гадина! Продалась...

Слова Светланы на этот раз не показались так страшными, как минуту назад. Она приняла все как должное. Все хорошо, все правильно.

И вдруг случилось то, чего не ожидала Настя. Брунс молниеносно подскочил к Светлане и ударил ее по лицу, неистово заорав:

— Не смейт оскорбляйт фрау Усашоф! Не смейт! Русский швайн!

Повторным ударом он повалил ее на пол. Настя чуть не вскрикнула, ей показалось, что не Светланку, а ее начали избивать. «Только бы устоять,— подумала она, — только бы сдержаться».

А между тем к жертве подскочил и Вельнер. Вдвоем они пинали носками беспомощное и слабенькое тело Светланки. Настя чуть не крикнула: «Что вы делаете, изверги! Душегубы!» И это тягостное состояние беспомощности так больно ударило по сердцу, что она чуть не упала, лицо ее, видимо, исказилось от ужаса, стало страшным, но хорошо, что в этот момент не видели ее враги. Они не смотрели на нее и так старательно зани­мались своим отвратительным делом, что не замечали ничего. Через каких-нибудь минуты две Светлана была изувечена до бесчувствия, и палачи, изрядно устав, как по команде перестали избивать жертву. Девушка лежала на полу в полусознании, беспомощно гладила голо­ву правой рукой. Кровь лилась из виска тонкой струйкой, стекала на пол. Унтер Граубе пытался поднять Светлану, но она не могла подняться, ноги подкашива­лись, и девушка снова безжизненно падала.

— Увести! — гаркнул Вельнер. Он тяжело дышал, точно загнанная лошадь, сел за стол и дрожащими ру­ками начал судорожно перебирать бумаги.

В комнату торопливо вбежали конвоиры и, подхва­тив Светланку, уволокли ее.

Брунс тоже не мог отдышаться, лицо его было бледным, он заметил на рукаве своего мундира пятна кро­ви, достал носовой платок и начал оттирать эти пятна, брезгливо скривив лицо. С минуту в комнате стояла неловкая тишина: истязатели приходили в себя, прихо­рашивали мундиры, восстанавливали силы. Ведь бывает так, что за целый день не раз приходится и кулаки поднимать, и ногами лягаться. Ничего не поделаешь: русск­ие несговорчивы, упрямы и никого не желают выдавать. Бывают случаи, что и умирают тут же от пыток, не проронив ни единого слова.

— На сегодня хватит,— наконец сказал Вельнер.— А эта птичка так и не раскололась. Усачева, ты хорошо знаешь ее. Что она собой представляет?

— Обыкновенная девушка, каких много. Я редко с ней общалась.

— Комсомолка?

— Кажется, да.

— Фанатическая преданность своей идее. Сколько бьемся, а результатов никаких.

— Может быть, она ни в чем не виновата? — сказа­ла Настя и посмотрела внимательно на Брунса.— Может, зря пытаете?

— У нас ничего зря не бывает,— недовольно пробурчал Вельнер.— В районе действуют заговорщики, связанные с партизанами. А мы до сих пор ничего не можем раскрыть.

— Неужели эти заговорщики для вас так опасны? — уже оправившись от потрясения, спросила Настя.

— Они здесь повсюду! — заорал Вельнер.— Убива­ют людей, взрывают склады с боеприпасами, устраивают диверсии на дорогах. Действуют согласованно и дерзко. Вон даже самого вахтмайстера отправили на тот свет. Теперь что — за нами очередь?

— Мы обезвредим диверсионную деятельность в тылах немецкой армии,— спокойно произнес Брунс. Он все еще оттирал пятна крови с лацкана своего мунди­ра.— Уничтожим партизан, подпольщиков чего бы это нам ни стоило.

— С каждым днем они все больше и больше наглеют! — все еще кипятился Вельнер.— Не исключена возможность, что и на этот дрянной городишко сделают налет.

— Ну, этого мы не допустим,— отпарировал Брунс.— Придут подкрепления из Пскова, и предпримем карательную операцию... — Дальше он говорить не стал, словно запнулся на полуслове.

Настю отпустили. Когда вышла на улицу, будто бы вырвалась из ада кромешного. Все существо ее протестовало, она удивлялась, как могла все это перенести. Ведь могла сорваться: всему есть предел. И вот теперь надо все обдумать, все взвесить, как помочь Светлане, что предпринять, чтобы вырвать ее из рук мучителей.

Дома не знала, куда себя деть. Переживала. Страдала. Поняла, что не может работать переводчицей, видеть почти ежедневно, как издеваются над людьми, как истязают, как мучают,— такое выдержать нет никаких сил. И пошла к дяде Васе. Встретив его, горько заплакала:

— Не могу я так, не могу!

— Что с тобой, Настенька, что?

— Не могу глядеть, как калечат людей. Сил моих больше нет! — И она рассказала все, что видела, как терзалась в муках.

Дядя Вася слушал внимательно, не перебивая, не­торопливо свернул самокрутку, долго высекал кресалом искру. Наконец прикурил, глубоко затянулся дымом, закашлялся. Настя ждала, что он скажет. А он все молчал и молчал, видимо, трудно ему было принять решение. Да, было действительно тяжело, Настя могла надломиться — ведь не автомат же она, человек. Но выдер­жала испытание на прочность, и очень даже неплохо. Дядя Вася смотрел на нее с надеждой, подбадривал н лядом, а потом сказал:

— Да, Настенька, лично я решить ничего не могу. Не в моей власти. Тебя направил сюда подпольный райком. Райком направил... — Он помолчал и добавил: — А насчет эмоций, всяких там переживаний, то все мы человеки. У всех нервы. Кругом враги. Везде опасно — и на фронте, и в нашем Острогожске идет война, и мы с тобой вроде бы тоже фронтовики, на линии огня. И погибнуть каждый из нас может в любую минуту. Привыкать надо. Держать нервы в узде. Не расслабляться. Времечко-то, сама знаешь, какое! Кто перехитрил — тот и выиграл. В этом вся истина на сегодняшний день. Поняла?

— Поняла, дядя Вася,— ответила Настя. — Я все понимаю. И что опасно — знаю. Но как пытают своих — не могу глядеть, сердце кровью обливается. Уж лучше бы я на месте Светланки была там, в застенках. Изби­тая, оплеванная... Сапогами истоптанная. Тяжело мне, ой как тяжело!

Она уронила голову и снова заплакала. Дядя Вася сидел и молчал. Что он мог сказать в эти минуты? Ни­чего он не мог сказать. Понимал, что тяжело, очень тяжело там, на допросах, что может она и сорваться, не выдержать и... пропала. «Все может быть, всему есть предел,— думал он,— и человек есть человек, со всеми своими слабостями, но что поделаешь — война».

— Не убивайся, родная,— проговорил, наконец, дядя Вася. — Успокойся и рассуди все трезвым умом. Взвесим все «за» и «против». Может, и на самом деле осво­бодить тебя от этой работы? Сообщу в штаб, объясню, что не можешь...

Она подняла голову, и лицо дяди Васи расплылось перед ней, точно в тумане, и стыдно было глядеть ему в глаза, стыдно оттого, что распустила нюни, спасовала. А как же они там, узники фашистских застенков? Что, им легче, что ль?

— Простите меня, дядя Вася,— проговорила она ти­хо. — Струхнула немного. Просто нервы не выдержали. Глупая я, неразумная... Слезы распустила...

— Слезы — это ничего. Поплакала малость — и успокоилась. Что же будем делать? Докладывать в штаб?

— Нет, не надо. Ведь и на самом деле — им там хуже, заключенным-то, во сто крат хуже. Смертушка висит над каждой головой. И спасать их надо. Спасать. А ведь кто будет спасать?

— Вот ты и будешь, Настя. На тебя вся надежда. Твоя работа очень важна для нас. Очень важна.

— Я понимаю. Так что прошу прощения. Буду держаться пока.

— Ну что ж. На том и порешим. Исполняй свой долг. Перед Родиной исполняй. А теперь иди домой.

Она вышла и почувствовала облегчение, появились ясность мысли, уверенность в себе. Поговорила с хоро­шим человеком, и вроде бы страхи исчезли, улетучились, как дым. Ведь она на свободе, вот идет уверенной походкой и не боится фашистов. В любой момент может подойти к солдату или офицеру, завести непринужден­ный разговор на немецком языке. Среди них она почти как своя, пока ей доверяют, даже полицай Синюшихин побаивается ее. Она шла и улыбалась солнцу, которое светило в этот день особенно ярко, словно бы подбад­ривало ее: «Иди, Настя, иди твердым шагом. Впереди ждет тебя удача. Ты смелая, ты сильная — иди!»

**Глава десятая**

Все чаще и чаще стали приглашать Настю в жан­дармерию. Тут были в основном все одни и те же лица: вахтмайстер Вельнер, гориллоподобный Граубе, иногда бывал Брунс, примелькались лица других жандармов. Чаще менялись узники: одни погибали под плетью ис­тязателя, некоторых переводили в другие тюрьмы и ла­геря и редко кого выпускали на волю. Палачи, словно по заранее составленному сценарию, ежедневно и еже­часно вызывали на допросы арестованных, избивали до полусмерти, пытались неустойчивых склонить к предательству посулами и лестью.

Настя сильно переживала, когда фашисты издева­лись над людьми, но старалась быть невозмутимой и спокойной и все же жестоко страдала. Она была впечатлительной и ранимой, иногда, придя домой, прямо в одежде бросалась на кровать и горько плакала. А ночью не могла уснуть, во сне видела все те же картины глумления над людьми, точно наяву, вздрагивала и просыпалась и нередко до самого рассвета не могла уснуть. И так изо дня в день, из ночи в ночь. Она почувствовала, что в ней что-то надломилось. Предчувствие обреченности настолько угнетало ее, что она боялась лишиться разума, потерять память или просто умереть.

И только тогда приходило облегчение, когда в очередную экспедицию брал ее Брунс. Перемена места и остановки уравновешивала в какой-то степени нервное напряжение. Брунс в дороге постоянно шутил, расска­зывал пошленькие анекдоты, иногда она смеялась, иногда впадала в грусть. Хотелось побывать дома у матери. Настя не отвечала на вопросы Брунса, а он все приставал и приставал со своими пошлостями, она мрачнела.

В городе она ходила с Брунсом в офицерское кабаре и там внимательно приглядывалась ко всему, глаза ее привыкли подмечать все, а уши улавливали каждую фразу, произнесенную на немецком языке. И все, о чем болтали подвыпившие офицеры, запоминала. Господа офицеры иногда изрядно напивались, выбалтывали цен­ные сведения о передвижении боевых частей в районе Острогожска и в других местах. Настя все это цепко удерживала в памяти и на другой день передавала по назначению. И что немаловажно — свои познания в не­мецком языке она совершенствовала постоянно и с неизменным успехом, немцам это нравилось, многие при­нимали ее за чистокровную немку.

Она почти вжилась в эту для нее враждебную сре­ду. Вела себя непринужденно, будто бы и на самом деле была немкой с берегов Рейна. Иногда она так удачно разыгрывала свою роль, что самой нравилось, как ловко дурачит всех, смеется над немцами.

Брунс к ней заходил с подвыпившими приятелями. Офицеры приносили вино, закуски, устраивали вечеринки. Однажды они пришли ночью, Настя наскоро накрыла на стол, выпила вместе с ними и болтала по-немецки без умолку, шутила, разыгрывала комедию, словно артистка. Брунс, захмелевший уже, обнял ее за талию. Она, вырвавшись из его объятий, закружилась возле стола, точно в вихре, начала ругать Брунса по-русски. Он, почти ничего не понимая, гонялся за ней, не мог поймать.

— Оборотень несчастный! — кричала она.— Паршивец! Прибью. Укокошу дурака!

В конце концов он, видимо, понял, что она ругает его самыми отвратительными ругательствами, и кричал в ответ по-немецки что-то свое непотребное. Наконец, набегавшись, она столкнулась с ним лицом к лицу, он схватил ее за плечи, пытался поцеловать, она резким рывком отбросила его на кровать. Приподнявшись на локтях, он смотрел на нее и хохотал, и она хохотала точно в припадке, а потом кинулась на диван и заплакала. Немцы с минуту гоготали, потом приумолкли, смотрели на Брунса, на Настю, наконец поняли, что шалости привели к слезам. В комнате стояла тишина, неприятная такая тишина, лишь Настя еле слышно всхлипывала, уткнувшись головой в подушку. В эту горькую минуту она вспомнила Федора, вспомнила мать и маленького Федю. И зачем играет перед фаши­стами фальшивую роль? Роль продажной женщины, роль изменницы, роль падшей. Ведь они, немцы, видимо, так и думают о ней, так оценивают все ее поступки. Эх, была не была! Может, плюнуть этому красавцу Брунсу в рожу — и делу конец? Как надоело разыгры­вать всю эту комедию, забавлять полупьяных болванов! И вдруг она услышала вкрадчивый голос Брунса:

— Настя, что случилось? Несчастье какое? Зачем плачешь? Может, обидел тебя, Настя?

Она, смахнув слезинку, посмотрела на Брунса. Он тоже смотрел, ждал ответа. Потом тихо проговорила:

— Боюсь я, очень боюсь...

— Кого боишься, Настя? — опять спросил Брунс.— Нас боишься?

Она ответила:

— Нет, нет, вас я не боюсь. Мне нечего бояться вас.

— А кого боишься? Ну, кого? — Он смотрел на нее вопрошающе, словно бы

жалел.

— Что со мной будет? Вот чего боюсь... Если Красная Армия придет в Острогожск? Муж вернется... Вдруг он живой? Спросит: как жила, чем занималась? Что отвечу? Что? Куда денусь?

Брунс смотрел на нее и молчал. И на самом деле, что он мог сказать? Какие слова? И сам не знал.

— Ну, что будет со мной? — снова спросила она.— Повесят на первой перекладине?

Никто ей не отвечал. Словно бы онемели все. Да и на самом деле — как сложится судьба этой молодой русской бабы? Может, и на самом деле красные вздернут ее, прикончат в один прекрасный день.

— Что же вы молчите? Языки пооткусили? — Последнюю фразу она сказала

по-русски и сразу же перевела ее на немецкий в более смягченной форме: — Языки у вас онемели?

— Они сюда не придут,— сказал Брунс. — Положение у вермахта на Северо-Западе крепкое. Ленинград подыхает от голода. Новгород разрушен и в руках у нас. А до Пскова и вообще красным ой как далеко!

— А если придут? — спросила Настя. Она испуганно посмотрела на Брунса. — Я боюсь, Курт!

Лицо ее приняло такое выражение, что даже Брунс оторопело выпучил глаза. Офицеры переглядывались между собой и молчали: ведь она высказала те мысли, те опасения, которые приходили в головы и к ним еже­дневно и ежечасно.

— Не придут они, Настя,— сказал Брунс. — А если такое случится, то не оставим тебя. Своих людей мы берем под защиту.

Она улыбнулась, а сама думала совсем о другом. О чем она думала, им не суждено было знать. В душе своей она была рада, что фашисты поверили ей, а ведь сказала им правду, горькую правду предстоящего воз­мездия. Она была уверена в том, что это возмездие не за горами. Оно уже началось где-то там, на Курской дуге и в других местах.

Еще раз она посмотрела на Брунса преданными гла­зами, будто бы в благодарность за великодушие, тихо, очень тихо сказала:

— Спасибо, дорогой мой Курт. Я так и знала — ты меня не оставишь...

Вечеринка была испорчена,— она поняла это, когда немцы под тем или иным предлогом стали расходиться по домам. Остался один Брунс. Он сидел потупив голову, о чем-то сосредоточенно думал. Потом вдруг начал быстро ходить по комнате, приговаривая:

— Настя, дорогая моя Настя! Я люблю тебя, Настя! Просто жить без тебя не могу...

Она не отвечала ему, сама не знала, что ему ска­зать, сознавая фальшивость его любовных признаний. Он опустился на колени и начал умоляюще просить:

— Полюби меня, Настя. Спаси своей любовью от гибели! Я так полюбил тебя, что не знаю, куда себя деть. Если ты не ответишь на мою любовь, я застрелюсь.

«Ну и стреляйся»,— хотела сказать, но сдержалась, сказала совсем другое:

— Ладно, Курт, не убивайтесь. Возможно, я полюблю вас, но только не сейчас: ведь я замужняя. Ох, если была бы свободной!

— Но мужа, может, и нет в живых. Где он, муж? Ну, где? Там, у красных?

— Возможно, там...

— И будешь ждать его? Думаешь, он простит тебя? Нет, нет, с ним у тебя все покончено! Решительно все!

— Но я немножко обожду, Курт. Я должна немножко обождать...

— Чего ждать? Кого?

— Ведь я замужняя, Курт. Поймите меня — замужняя! А вокруг столько хорошеньких девочек. Каждая вас полюбит. Вы ведь такой красивый, такой элегантный! А кто я? Баба.

Он ушел от нее раздосадованный, даже не попрощался. Теперь она все больше и больше боялась Брунса. Он снова приходил, приставал со своей фальшивой любовью. Она как могла отбивалась, но с каждым новым его приходом домогательства были все настойчи­вей и наглей. И она решилась на крайнее. Решилась убить его. Убить и ночью скрыться из города. Только таким путем она могла избавиться от него.

Все обдумала до мельчайших подробностей, представляла себе, как он придет к ней, как сядет на стул, как будет приставать со своей «любовью» и как она его прикончит в удобный момент, прикончит одним махом насмерть. Она уже положила в угол топор, прикрыв его тряпицей. Все было подготовлено, и она его ждала. Ждала три дня, и только на четвертый день вечером раздался стук в дверь калитки, настойчивый и нетерпе­ливый. Сердце екнуло, и она почувствовала, что настал тот миг, когда она должна решиться. Открыла дверь. На пороге, к удивлению, появился полицай Гаврила Синюшихин. Он уставился на нее, похабно этак спросил:

— Не ждала, землячка?

— А чего мне ждать тебя? — сказала она. — Что ты, кум или брат?

— Ну, не кум и не брат, а все же не чужой. Зем­ляки, чай. Как поживаешь? Пришел спроведать.

— Живу — не тужу, как видишь.

— То-то — не тужу, дружков привожу,— намекнул он и осклабился так, что страшно было глядеть на не­го.— Устроилась, гляжу, не худо. Кавалеры, видать, ча­стенько наведываются.

— Бывают и кавалеры. Их вон сколько — пруд пруди. На что они мне, эти кавалеры?

— Не притворяйся монахиней. Я ведь все знаю. С Брунсом небось крутишь?

— А что, он плохой, что ль?

— Человек видный, не спорю, но ведь чужой. Погостил — и уехал. Укатил в неведомые края. Ведь так может получиться?

— Ну и пускай уезжает. Уедет и приедет. Никуда не денется.

— Ты лучше со мной дружбу веди. Оно верней дело-то будет. Парень я свой. Оформим все как следует, по закону...

— Это с тобой-то, с таким чумазым?

— А что, я хуже этого лейтенантика немецкого? Я же русский.

— Нет, уж лучше с немцем в постель лягу, чем с таким паршивцем, как ты.

— Ну, ты брось! Сама продажная. — Лицо его пе­рекосилось злобой. — По одной, чай, веревочке ступаем... А веревочка-то висит над чем? А? Чуть что — и сорвет­ся. А куда? В трам-тарары...

Ячто! За мной грехи небольшие. Над людьми не недолго ждать.

Она уже не боялась его, как прежде, и отвечала смело, можно сказать, лупила больно, с издевкой. Он хрипел от этих ударов, чуть не захлебывался злостью, а она все жгла и жгла словами, точно раскаленными углями:

— Такого холуя, поди, не сыщешь. Вон как стара­ешься. Петля давно по тебе соскучилась.

— А по тебе — нет?! — шипел он.

— Я что! За мной грехи небольшие. Над людьми не измывалась. А твоя черная душонка вся кровью запач­кана. Сколько людей погубил!

— Погубил, согласен. Понадобиться — и тебя ух­лопаю.

— До меня — руки коротки. Протянешь — отрубят.

— Не таких, как ты, скручивал. Думаешь, по-немец­ки выучилась, так они за тебя заступятся?

— А и заступятся. Только пальцем тронь!

— На Брунса надеешься? Небось спишь с ним?

— А хоть бы и сплю. Не с таким, как ты, плюгавый полицай!

— У, стерва!— заскрипел зубами Синюшихин.— До­врусь до шкуры твоей. И Брунс не спасет... Так все обстряпаю, что в петле болтаться обязательно будешь.

— Вперед тебя повесят, предатель паршивый! И прошу очистить помещение, чтоб не смердило в комнате. Давай проваливай!

— Ну, помни! — поднял он кулак. — Я по тебе поминки устрою.

Он гулко хлопнул дверью и скатился по лестнице почти кубарем, обкатывая на

ступеньках бока. Она слышала, как кряхтел и охал он,— наверное, ушибся

изрядно,— отходя от дома, смачно ругался.

— Слава тебе, господи,— проговорила вслух На­стя.— Унесло негодяя. Теперь, поди, не заявится.— А сама подумала: «А может, зря нагрубила? С таким, как Синюшихин, надо быть осторожней. Уж очень коварен и мстителен. А вдруг беду принесет? Куда от этой беды денешься? Может только Брунс спасти от расправы. Только он. Но ведь я решила убить его, этого Брунса. Твердо решилась и жду, когда придет. А придет ли? Тут надо посоветоваться с дядей Васей. Обязательно к нему надо пойти, все ему рассказать. Один ум хорошо, а два — лучше». Так она и решила.

А дни шли своим чередом. Разные слухи носились над Острогожском, и Настя прислушивалась ко всему, делала выводы, нужную информацию отправляла по назначению. Аресты и пытки не прекращались, и однажды она узнала, что сидит в городской тюрьме Ольга Сер­геевна Бавыкина.

Вельнер уже дважды вызывал ее на допрос. Настя была сильно обеспокоена. В родной деревне она не бы­ла уже давно, и что там случилось, какие произошли события, толком ничего не знала.

И еще насторожило одно обстоятельство: у Вельнера появилась другая переводчица, а ее, Настю, перевели работать на биржу труда. В командировки по району перестал брать и Брунс. Она почувствовала, что за ней следят, насторожилась и ждала самого худшего. А вдруг схватят? Кто-то предал? Начнут пытать. Раскроют тайну подпольной организации.

Ночью пошла к дяде Васе. У нее был еще пропуск, и она свободно ходила по городу. Дядя Вася принял в боковой комнатушке, внимательно выслушал, подумал, затягиваясь самокруткой, спокойным голосом сказал:

— Насчет Брунса — это чепуха. Выкинь все это из головы. Если б ты убила его, погубила бы мать и еще кой-кого. Да, вероятно, он к тебе уже не пойдет. В городе и районе идут аресты.

— А как Ольга Сергеевна? Подпольный колхоз?

— Оподпольном колхозе они только догадываются. А Ольгу Сергеевну арестовали за хлеб. Хлеб отправили партизанам, а сама не успела скрыться.

— Убить могут?

— Конечно могут. Сожгли Максимова — ведь тоже за хлеб.

— Что же делать? Надо как-то спасать Ольгу Сергеевну. Что-то придумать. И мне не доверяют. Может, уйти из города?

— Нет, обождем немножко. На бирже свой человек тоже нужен. Там списки подготовлены на людей, которых решили угнать в Германию, в рабство. Сумей эти списки раздобыть.

— Очень трудно, но попробую.

— Со мной встречаться будешь теперь в условлен­ном месте. У меня нельзя.

Она поняла, что бежать из города вот так, ни с то­го ни с сего нет смысла: фашисты сразу догадаются, что тут что-то неладно, и начнут пристальней приглядываться к людям из Большого Городца. А еще хуже — мать и маленького Федю могут схватить как заложни­ка. Нужно было обождать, присмотреться, а побег к партизанам — это крайняя мера. Для этого побега будет дан сигнал.

На бирже труда Сперужский обычно мало с ней раз­говаривал, а всем отделом тут заведовал обер-лейтенант Швебс. Уже пожилой, не в меру полный, он как бы с гордостью носил свое покатое брюхо: дескать, смотрите, какое тут, в России, я сделал приобретение. Он любил поесть, и Настя приносила ему в кабинет бутерброды. Опрокидывая стопку, он громко и смачно чавкал, от удовольствия закрывал свинячьи глазки, по­сапывал и слегка похрюкивал. Иногда, наевшись до отвала, испускал дурной воздух, не стесняясь посто­ронних.

— Ты немка? — спрашивал Швебс Настю, неестественно громко чавкая и

посвистывая ноздрями, будто спе­циально приделанными к его лицу свистульками.

— Русская,— отвечала она. — Муж из города Валдая, из купеческой семьи Усачевых. В революцию у них завод отобрали.

— А не врешь? — спрашивал он. — Завод? Колокола отливал? И большой завод?

— Нет, так себе. Небольшой заводишко. Колоколь­чики на нем изготовляли, те, что коровушкам на шею вешают.

— На шею, для чего? — опять спрашивал он, по-совьи уставясь на Настю.

И она объясняла для чего. Он внимательно слушал, мясистые щеки слегка вздрагивали, глазки мигали, плешь поблескивала. Он не мог взять в толк, для чего коровам вешают колокола на шею.

— Дзинь, дзинь,— бурчал он баском и слегка похохатывал.

А то начинал разговор о кулинарии. В этом здорово разбирался, вспоминал, где и в каких ресторанах обедал, где и какое пиво пил. Когда говорил на эту тему, то смачно причмокивал пухленькими губками и издавал языком незатейливый лягушачий клекот. Настя едва сдерживала себя от улыбки и думала, как ограничен

нравственный интеллект этого всеядного животного.

Иногда он был чересчур добр, потчевал Настю кушаньем, хвалил ее красоту и задумчиво говорил:

— О, если б я был молод, фрейлейн Настя. Как бы я мог полюбить тебя. Как бы ты была счастлива! У ме­ня в Гамбурге гастрономический магазин и ресторан, где набор различных вин со всей Европы.

Как он умилялся своим богатством! И вот, вместо того чтобы жить в свое удовольствие в городе Гамбур­ге, ему, уже немолодому человеку, приходится влачить свою жалкую жизнь здесь, где отсутствуют комфорт, хо­рошая кухня, приятное общество, а процветают казно­крадство интендантов, сивушный шнапс, где каждый день могут тебя укокошить партизаны,— нет, ему осто­чертела такая жизнь. Уж скорей бы кончалась эта рас­проклятая война. Скорей бы... Он ждет этого заветного дня и не может дождаться.

Настя, выслушивая пространные разглагольствования фашиста, приходила к мысли, что она тут ничего не может раздобыть: документы хранились в сейфе под семью замками. Оставалось одно — подружиться с ма­шинисткой Валей Пахомовой. Ведь она печатает на русском языке все те списки людей, которые были обре­чены на угон в немецкое рабство. И Настя стала частенько бывать в комнатке у Вали, и в один прекрасный момент предложила ей свою помощь. Валя, поколебавшись, согласилась.

Однажды, когда Настя печатала какой-то циркуляр, в комнатку заглянул Сперужский. Он постоял возле нее, затем спросил:

— Кто тебя посадил за машинку?

— Решила помочь Вале. Она ушла по делам.

Он подозрительно посмотрел на нее и вышел. А когда пришла Валя, Настя

спросила:

— Ты печатала списки тех, кого в Германию от­правляют?

— Да, отпечатаны. А что?

— Я хотела узнать, нет ли в тех списках моей двою­родной сестры Надежды. Не можешь ли показать мне эти списки?

— Они в сейфе у Швебса. Да, вот один черновой экземпляр в столе. — И она достала несколько листков, подала их Насте.

Быстро пробежав глазами по строчкам, Настя ска­зала:

— Слава богу, нет сестры моей в списках.

— Так она же в тюрьме! Из тюрем заключенных в Германию, как правило, не

отправляют.

— А я думала, отправляют.

Валя снова положила списки в стол. А когда ушла, Настя их взяла и припрятала. Вечером эти списки были уже у дяди Васи, а на другой день как ни в чем не бывало снова лежали на своем месте.

Прошла неделя. Настя отправилась на явочную квар­тиру и заметила, что за ней идет человек. Она сверну­ла в боковую улочку, человек тоже свернул туда, она пошла к площади, и человек пошел следом за ней. Она поняла: за ней следят. Сердце заколотилось. А куда идти? Домой? Решила зайти к Клавке Сергачевой. Клавка жила недалеко от площади в деревянном до­мике. Вышла отворить дверь не сама Клавка, а мать ее, толстая женщина лет пятидесяти, с выпуклыми рачьими глазами.

— Дома нет,— ответила мать Клавки.— Гуляет в клубе офицерском. Она у меня гуленая...

Настя вышла на улицу, осмотрелась и увидела опять своего преследователя. Он стоял у доски объявлений, читал какое-то фашистское распоряжение. Настя неторопливо пошла к своему дому и, уже свернув в палисадник, остановилась, оглянулась. Шпик тоже остановился метрах в пятидесяти, потом пошел дальше по улице, оглянулся и посмотрел на нее. Теперь она поняла, что не сегодня, так завтра за ней придут. Дома наскоро поела холодной картошки и задумалась. Волнение постепенно улеглось, и она пришла, как ей показалось, к единственно правильному выводу: надо бежать, сегодня же ночью. Не исключено, что и в ночное время за ее домом ведется наблюдение. Тогда как? Не успеешь выйти за ворота, как тебя тут же и сцапают. Нет, надо выходить через заднюю калитку, пробираться огородами на одну из глухих улочек и под покровом темноты выйти за черту города. А там недалеко и лес.

Лесными тропами она доберется до Большого Городца, свяжется с нужными людьми, которые направят ее к партизанам. Только так — иного выхода не было. К матери заходить нельзя: возможно, и за родительским домом ведется наблюдение.

Итак, бежать... В городе она сделала все, что могла, и оставаться здесь было крайне опасно. Видимо, кто-то выдал ее, очевидно, предатель оказался в Боль­шом Городце: ведь Ольга Сергеевна посажена. По всей вероятности, и других членов подпольного колхоза арестовали. А как мать? Как маленький Федор? За себя Настя не боялась, она беспокоилась о матери и ребенке.

Наварила картошки, чтобы взять с собой в дорогу. Была еще буханочка хлеба да плитка шоколада, принесенная Брунсом. Вот он узнает, что она так ловко смылась! То-то будет ему взбучка от начальства! Настя, думая об этом, заулыбалась. Она уйдет сегодня ночью, фашисты всполошатся. Брунс придет в ярость, но будет уже поздно.

Она поспешно уложила в котомку запас провизии и бельишко, осторожно вышла из дома, остановилась и прислушалась. Кругом стояла тишина, мертвая и тем­ная. Настя, осторожно ступая, пошла на зады к ого­роду. Оглянулась еще раз — и ужаснулась: из-за угла появился человек. Он шел прямо к ней, она попятилась, чуть не вскрикнула и почувствовала, как дрогнуло и опустилось сердце. «Пропала, не успела...— мелькнуло в голове.— Как же так, господи?» А человек подходил все ближе и ближе и уже в десяти шагах сказал по-немецки:

— Стой!

Она все еще не разглядела, кто это такой, потом поняла, что перед ней фашист с автоматом в руках. «Пропала, пропала!» Спиной упала на изгородь. Человек стоял совсем рядом, она чувствовала, как он дышит, учащенно, с надрывом, словно только что гнался за добычей. И вдруг она узнала его. Это был Граубе. Не успела опомниться, как за его спиной появились другие жандармы.

«Пропала... Боже мой, не уйти, не уйти... Теперь заточение, пытки, а возможно, и смерть...» Все это пронеслось острой болью, а в горле застрял удушливый комок, и она ничего не могла сказать. Да и что скажешь в такую минуту, когда за тобой пришли?..

Потом жандармы рылись в сундуках, обшарили комод, заглянули в подвал. Поняла: ничего не нашли. Затем Граубе сказал: «Хватит». И ее повели.

Через полчаса она была в тюрьме.

**Глава одиннадцатая**

В камере было темно и пахло нечистотами. Настя лежала на тюфяке и размышляла, что, возможно, это конец, неминуемая гибель, если они, фашисты, узнали, что она советская разведчица. По-видимому, кто-то вы­дал ее, кто-то предал. Но кто? Она перебирала в памя­ти людей, с которыми была так или иначе связана, но так и не могла определить, кто же предатель. Умирать не хотелось, но если она умрет, то умрет не напрасно, умрет с чувством выполненного долга перед товарища­ми, перед собственной совестью. Боялась одного — му­чительных пыток, а от них теперь никуда не денешься. Это она знала. Надо готовить себя к любому ис­ходу.

Настя закрывала глаза, и назойливые видения мая­чили перед ней. То она видела перед собой искаженное от ярости лицо Вельнера, то недоуменный взгляд Брун­са, то дубинку палача Граубе. Она знала, что все они мастера своего дела, палачи первого класса, безжа­лостные и жестокие. Лучше бы умереть вот сейчас, зас­нуть и не проснуться, распростившись навсегда с этим мрачным и жестоким миром. А как же мать? Если узнает, что Настя в тюрьме, что ее пытают, что вот-вот она должна умереть... Как будет страдать старенькая и одинокая мать! Как она будет жить? Так хотелось хоть одним глазком взглянуть на родную матушку и сказать ей последнее «прости».

Вспомнила мужа Федора, и маленького Федю, и многих других, которых она так любила. И к сердцу подкрадывалась жалость,— не себя она жалела, нет, об этом она не думала, она жалела мать, вспоминала подруг Светланку и Ольгу Сергеевну. Филимонова вспо­минала. Узнает, что провалилась, и тоже будет переживать: ведь как он надеялся на нее, как рассчитывал… И вот финал — она в заточении.

Уснуть не могла до самого утра. Только перед рассветом приклонила голову к грязному тюфяку, вздремнула, а когда очнулась, слабые солнечные лучики уже прокалывались сквозь мутные стекла. Солнце, господи, солнце! Значит, жизнь торжествует несмотря ни на что. Пускай где-то там полыхает война, умирают в муках люди, страдают и радуются, но солнце все так же, по-прежнему светит, и животворный отблеск его лучей зовет к свету, к жизни!

Она приподнялась и осмотрелась вокруг: комнатка была маленькой, обшарпанные стены и черный от копоти потолок. Окно, словно приплюснутое, почти под самым потолком, в него была вделана решетка, камен­ный скошенный подоконник, так что в окно при жела­нии, подтянувшись за решетку, можно посмотреть. Кой­ка, на которой она лежала, была изогнутой, на ней войлочный тюфяк, у стены — крохотный столик, намерт­во привинченный ржавыми гайками, и дверь узкая, оби­тая почерневшей жестью. Воздух спертый, удушливо пахло цвелью, плесенью, подвальной сыростью. «Сколь­ко здесь побывало узников, ожидая в томительном безмолвии своего конца,— подумала Настя.— Сколько пролито безутешных слез, сколько горьких дум переду­мано!»

И вот не сегодня, так завтра позовут и ее на до­прос. Тот же Ганс Вельнер будет топтать ее ногами, как топтал и шпынял Светлану. Жива ли она, Светла­на? Если жива, то в этой же тюрьме, может быть, в соседней камере. И Настя, прильнув к стене, начала сту­чать костяшками кулака. Постучала — прислушалась. Стена молчала, как немая, и почему-то грустно стало от этой тоскливой и гнетущей тишины. Она постучала еще раз — стена не ответила.

Затем подошла к окну, подтянулась руками за ре­шетку, стала глядеть на волю — и первым делом уви­дала шагающие ботинки. Ботинки были огромны и тупорылы, с толстой подошвой. Вот они остановились у самого окна, точно бы замерли, закрыли собой все про­странство, и Настя отпрянула от окна. Руки сами со­бой отцепились от решетки, и она чуть не упала, ноги спружинили, перевела дыхание и села на койку.

«Замуровали в клетку,— подумала она,— попробуй вырвись из неволи. Но все же как-то надо наладить связь с внешним миром. Как-то надо... Но как? Городские подпольщики думают обо мне.— Она в этом была уверена. И казнила сама себя: — Ушла бы вовремя в лес, к партизанам... Но чего-то ждала. И вот дождалась…»

Опять подошла к окну, подтянулась. Часовой куда-то шел. Над крышей соседнего дома золотилось солнце. Оно играло лучами и словно бы улыбалось, манило к себе.

Но вот у окна снова появились тупорылые ботинки, заслонили солнышко, будто бы раздробили на мелкие части. Настя отпрянула от окна и стала прислушиваться к звукам. Шарканье ботинок часового, шум поезда... «Наверное, везут к фронту подкрепление, танки или снаряды,— подумала она.— Мчится эшелон навстречу своей погибели. Может получиться так, что пустят под откос партизаны. Идет война на фронтах, на лесных дорогах, даже в этом небольшом городе, в этой тюрьме...»

Подумала о своей судьбе и застонала тихонько и протяжно. Казалось, что кто-то вцепился в горло костлявой пятерней. «Хоть поскорей бы вызвали на допрос. Может, и прояснилось бы что, может, и выкрутилась бы, может, и неведомо гестаповцам, что Настя Усачева разведчица. Может, отправят в Германию на каторгу. Только бы не смерть...»

Так она сидела и ждала. Первый день в одиночной камере показался ей необычайно тягостным.

На допрос вызвали в десятом часу следующего дня. Дверь отворилась, проскрипев ржаво петлями, и в сопровождении конвоиров она направилась в кабинет Ганса Вельнера. Шагала почти спокойно, только сердце чуть покалывало, отстукивая секунды: раз, два, три... И вот кабинет вахтмайстера. Все тут знакомо: и стол, и стены, и стулья, и люди в этой комнате были те же. Вельнер сидел в своем кресле откинувшись, с любопытством смотрел на нее, как будто бы видел впервые. Она тоже глядела прямо ему в глаза, и на лице Вельнера заметила удивление. Да, он, видимо, не ожидал, что бывшая переводчица оказалась подпольщицей, разведчицей. А возможно, Вельнер и не знает ничего, одни только пред­положения и догадки.

В глазах у Вельнера заиграли недобрые огоньки, и он, листая бумаги, пренебрежительным тоном спросил:

— Кто соучастники?

— Какие? Я не понимаю, о чем вы говорите, гос­подин вахтмайстер...

— Ах, ты еще не понимаешь, Усачева! — Он поднялся со стула и подошел к ней: — Я заставлю припомнить буквально все! Заставлю!..

Настя молчала. А он продолжал на нее кричать, но затем, словно спохватившись, спросил уже спокойней:

— Ты была связана с партизанами?

— Нет, не была.

— Признайся чистосердечно, назови явки, соучаст­ников, и мы тебя освободим. Власти вермахта бывают милосердны, если преступник чистосердечно признается в содеянном.

— Мне не в чем признаваться, господин вахтмайстер. Я в городе была на виду, была вашей сотрудницей…

— Знаем, что была. Потому, наверно, и поступила к нам на работу, чтоб выудить секреты и передать их бандитам.

— Ничего я не передавала.

— Ну, брось нам зубы заговаривать. Мы все знаем.

— А раз знаете, зачем спрашиваете?

— С кем была связана? С кем? Кому передала списки, составленные на людей, добровольно изъявивших желание поехать в Германию?

— Ни о каких списках я ничего не знаю.

— Введите свидетеля!— гаркнул Вельнер.

В комнату вошла Валя Пахомова. Робко села на предложенный стул.

— Свидетель Пахомова, вы знакомы с этой молодой особой? — спросил Вельнер.

— Да, я знаю ее.

— Просила она просмотреть списки на тех людей, которые изъявили желание поехать в Германию?

— Да, спрашивала.

— И вы предоставили ей эти списки?

— Да.

— Усачева, зачем понадобились тебе эти списки?

— Я хотела узнать, занесена ли в эти списки моя кузина Надежда Поликарпова.

— Только по этой причине?

— Да. Я и Пахомовой сказала об этом.

— Пахомова, вы подтверждаете это?

— Подтверждаю. Она именно так и сказала, что хочет посмотреть, нет ли в списках Поликарповой.

— И вы оставили эти списки у нее?

— Да, они остались у нее. Она помогала мне печатать на машинке.

— Вот как? — Вельнер начал бегать по кабинету.— Значит, она перепечатала эти списки и похитила? С какой целью, Усачева?

— Я не перепечатывала и не похищала.

— Врешь! Мы все знаем. Ты шпионка, Усачева. Пробралась в учреждения немецкого рейха и выуживала сведения с целью передачи их большевистскому под­олью, партизанам. Пахомова может быть свободной.

— Я ничего не знаю,— сказала Настя и задала вопрос вахтмайстеру: — Чем вы можете подтвердить мое участие в подпольной организации? Чем?

— Ах, она еще у меня спрашивает! — взревел Вельнер — Мы все знаем! Нити зловещего заговора в наших руках! И мы распутаем всю эту дьявольскую сеть! Рас­путаем, черт побери! И накажем бандитов!

Он выплевывал фразы, точно громовержец, всезнающий и всевидящий, а по существу мало что знающий. Настя поняла это сразу и поэтому вела себя спокойно. «Ничего ты не знаешь, жандармская морда, и от меня ничего не добьешься». А он все орал, шея его покрас­нела, неестественно вздулась от напряжения, глаза сверкали злобой.

— Я ничего не знаю,— спокойно проговорила На­стя. — Решительно ничего.

Она ждала, что вот сейчас начнут избивать, пове­дут на пытку, но Вельнер медлил. Он внезапно успо­коился, будто его окатили холодной водой, подошел к Насте совсем близко и стал смотреть ей в глаза.

— Усачева,— сказал он уже спокойно,— все будет в твоих интересах. Ты знаешь хорошо немецкий язык — работай с нами. Признайся чистосердечно, и мы тебя простим. Будешь на воле счастлива и свободна.

— Ладно, я подумаю,— ответила она,— только я не имею никаких связей с партизанами. Никаких...

— Даем тебе на размышление ровно сутки. Одни сутки. Эти сутки определят твою судьбу...

Конвоиры отвели ее в камеру. Она слышала, как звякнул замок, как прогрохотали шаги тюремщиков, потом все стихло. Она сидела на тюфяке, поджав под себя ноги, и думала, думала. Мысли роились беспорядочно и хаотично. То она вспоминала детство, то школу, то знакомство с Федором. Все всплывало в памяти так ярко и отчетливо, казалось, все это произошло совсем недавно. Жизнь была коротка и вот теперь могла оборваться в любую минуту, не сама собой, а по чужой дьявольской воле, оборваться насильственно и нелепо. Она знала: фашисты беспощадны. Об этом она постоянно думала, и все же как ни опасно было ее положение, почти безвыходным было, Настя еще держалась за тонкую ниточку, цеплялась за нее, надеясь удержаться. Она поняла, что не надо ни в чем сознаваться, решительно ни в чем. Ведь фашисты почти ничего не знают о ее связях с подпольем, только догадываются, а фактов, доказательств у них нет. Вельнер подозревает лишь в похищении списков. Даже о подпольном колхозе в Большом Городце, членом правления которого была Настя, они ничего не узнали, хотя и арестовали Ольгу Сергеевну.

Что с ней? Где она? Возможно, в этих застенках? Как хотела бы Настя посоветоваться с подругой, хотя бы посмотреть на нее, одним своим видом приободрить. Но тюремные стены не раздвинешь. Вот она, стена, а кто там за ней? Какой узник? Или нет никого? Настя постучала костяшками пальцев в одну, потом в другую стену. Прислушалась. Через минуту с правой стороны она услышала еле уловимый ответный стук. Значит, там кто-то есть. Но кто? Настя постучала еще. Опять кто-то ответил дробным и частым стуком. Потом стена замерла. Настя сжалась в комочек, притаилась, закры­ла глаза, и все же на душе полегчало.

В ту ночь она уснула: давала о себе знать страшная нервная напряженность предыдущей ночи. Спала без сновидений и проснулась с восходом солнца, перед гла­зами снова играли на черной тюремной стене солнеч­ные зайчики, играли и бегали, словно бы улыбались, подбадривали: не бойся, они ничего не знают и никогда ничего не узнают. Держись!

Она подошла к окну, там опять расхаживал часовой, шаги его были ленивыми и тяжелыми. Постоял на­против окна, Настя снова разглядывала его ботинки, тупорылые и с толстыми подошвами. Постоял и снова пошел. Настя смотрела в потолок: там была малень­кая электрическая лампочка, она слепо горела, еле освещая полутемную камеру, потом помигала немножко и погасла. Вот и жизнь человеческая — сверкнет огонь­ком и погаснет, может быть, навсегда.

**Глава двенадцатая**

Настя ждала вызова на допрос весь следующий день, но ее так и не вызвали. Она уже обдумала все варианты ответов на вопросы жандармов до мельчайших деталей, однако могло быть непредвиденное: кто-либо из подпольщиков не выдержал пыток — и тогда все пропало. О том, что Настя подпольщица, знал очень узкий круг людей, а что разведчица — знали только Степан Павлович Филимонов и дядя Вася. Возможно, знал кто-то еще в партизанском штабе, но это уже было там, за чертой, куда карающей руке фашистов было не дотянуться. Все это в какой-то степени успокаивало ее.

И еще была ночь, бессонная и длинная,— Настя не знала, почему не вызывают. Ищут новые улики? Что там думают о ней — Вельнер, Брунс, а может, кто приехал из Пскова? Может, вынудили пытками кого-то в чем-то сознаться и распутывают клубок? Она закрыла глаза, пыталась уснуть — и не могла. Боялась оче­редного допроса. Очень боялась. И только под утро провалилась в глубокий сон. Сколько она спала? Час-полтора, наверное, не больше, а проснулась от звяканья ключей,поняла — открывают камеру.

Открыл дверь пожилой немец с длинным лицом, точно у лошади, и маленькими глазками. Он сказал: «Пора вставать» — и поставил на столик завтрак. Это была миска с бурдой из брюквы и гнилой капусты. Она торопливо поела и снова улеглась. Думала и ждала.

На допрос вызвали только вечером следующего дня. Вельнер сидел в кресле и небрежно курил, пуская в по­толок дымовые колечки. У окна, скрестив руки на гру­ди, стоял Брунс. Оглядевшись, Настя спокойным голо­сом сказала:

— Я к вашим услугам, господа!

Эти слова она произнесла по-русски, и на лице Вельнера мелькнуло подобие улыбки. Он, очевидно, понял и ответил ей тоже по-русски, растягивая непривычные для него слова:

— Здра-вст-вуйте, Усачева. Как ваше здоровье? — спросил он и посмотрел на Брунса. Тот стоял словно истукан, не шелохнувшись, молчал.

Томительное молчание продолжалось с минуту. Настя насторожилась. С чего они начнут? И чем все это кончится?

Затем вахтмайстер вкрадчивым голосом, почти про­сяще проговорил:

— Я думаю, ты будешь благоразумна, Усачева. Можешь спасти себе жизнь, свободу, вернешь себе счастье… Так будешь благоразумной?

— Буду благоразумна. Что я, враг себе? — ответила и спохватилась: зачем так сказала? Словно пообещала выдать какую-то тайну. Обнадежила палачей.

— Вот и хорошо,— обрадовался Вельнер. — Я слушаю тебя.

Он даже подался к ней всем своим корпусом и, навострив уши, приготовился внимательно слушать. Но она молчала и не знала, что и как сказать: каждое слово нужно было обдумать. А те слова, которые ходили к ней ночью и были такими складными и убедительными, вдруг вылетели из головы, и она растерялась.

— Я жду честного ответа,— сказал Вельнер.— Только честность может спасти тебя, Усачева.

«Честный ответ...» — пронеслось у нее в голове. Ну что ж, она скажет то, о чем думает...

— Буду говорить только правду и честно,— начал она, тихо и прямо смотря в глаза Вельнера. — Буду го­ворить только правду.

— Мы ждем,— сказал Вельнер и забарабанил пальцами по столу.

— Правда моя такая,— продолжала Настя.— Я русская, хотя и говорю по-немецки. Русская я, вы понимае­те, русская! Из этого вывод: я люблю свою Родину, но в подпольной организации не состою, никаких связей с партизанами не имела.

Она заметила, как лицо жандарма слегка побелело — признак гневного взрыва, однако Вельнер сдержался и спокойно произнес:

— Не играй с огнем, Усачева: ты сказала не всю правду. Ведь так я думаю?

— Вы можете думать, господин вахтмайстер, как вам угодно. Это дело ваше. Говорю вам честно и от­кровенно: я ни в чем не виновата.

— Полно, Усачева. Уж не такие мы глупцы, чтобы поверить басням насчет невиновности. Только чистосердечное признание может спасти тебе жизнь. Пожалей себя, ты так красива, так молода, у тебя целая жизнь впереди...

И вдруг лицо Вельнера мигом переменилось. Настя сразу заметила эту перемену — лицо его стало непроницаемым. Он грубо спросил:

— Ну, так с кем имела связь?

У Насти екнуло сердце, замерло и, как ей показалось, остановилось. Она поняла, что любезности кончились, что Вельнер может перейти к методам насильственных действий. Она смотрела на палача открыто, недоумевала, о чем он ее спрашивает.

— Я спрашиваю — с кем?

— Ни с кем,— ответила она.— Делайте со мной, что хотите, но клеветать на себя не могу. Не могу! Не могу! — выкрикнула она и закрыла глаза ладонью.— Почему вы не верите мне? Почему?

— Потому, что имеем веские основания не верить. Партизаны всегда осведомлены обо всем, что у нас происходит. Кто им эти сведения передает? Ну, скажи, Усачева, кто?

— Не знаю кто. Откуда я могу знать? И почему на подозрении оказалась я? Прошу доказать мою вину фактами. Докажите виновность!

Вельнер встал из-за стола и начал ходить по каби­нету, бросая колючие взгляды то на Настю, то на Брун­са. Брунс стоял и молчал, склонив голову, о чем-то размышлял. А Вельнер нервничал, снова сел и, посмотрев на Настю, продолжал:

— Самое веское доказательство — ты, Усачева, вы­крала списки тех людей, которых должны отправить в Германию.

— Какие списки? — спросила она, как будто не зная, о чем он ее спрашивает.

— И ты не знаешь об этих списках? Люди разбе­жались, и мы не можем их найти.

«Вот и хорошо, что не можете»,— подумала она и ответила Вельнеру:

— Вы сами себе противоречите, господин вахтмайстер. Говорите, что люди добровольно изъявили жела­ние поехать в Германию, и вдруг — разбежались... Это­го не могло случиться... Не могло!

— Молчать! — заорал Вельнер.— Ты еще смеешь мне дерзить, дрянная девка! Я заставлю тебя отвечать как положено! Заставлю! — И он, размахивая руками, подбежал мелкими шажками к ней.

Брунс стоял в стороне и хладнокровно наблюдал за этой сценой.

— Мы уничтожим тебя, Усачева, в два счета! Растопчем! — орал Вельнер, но почему-то не ударил, хотя она и приготовилась к удару.— В последний раз предупреждаю... Ну, говори!..

— Ничего не могу сказать, господин вахтмайстер,— твердила одно и то же Настя.— Служила верой и правдой немецкому рейху. Честно несла службу. Вы сами знаете, что пригласил на работу меня господин Брунс. Он и сам подтвердит. Правильно я говорю, господин Брунс?

— Да, я предложил Усачевой стать переводчицей. Я надеялся, что она будет честно служить немецкой нации, притом она владеет немецким. А это кое-что да значит.

— Да, кое-что значит! Она специально обучалась немецкому языку с целью засылки вот сюда, к нам! — запальчиво проговорил Вельнер.— А мы рты разинули... И ты, Брунс, в первую очередь способствовал это­му. Ты, и только ты!

— Я предложил, как и всякий мог на моем месте предложить. Не мог же я читать мысли другого чело­века...

— Заварил кашу, а теперь расхлебывай,— пренебре­жительно буркнул вахтмайстер.— А я по долгу своей службы, Брунс, обязан доложить обо всем этом выше­стоящей инстанции, там разберутся и, пожалуй, привлекут тебя, Брунс, к ответу.

— Ну, не пугай меня, Вельнер, не пугай. Может, и не шпионка она, может, мы ошибаемся. Вместе с тобой ошибаемся, Ганс. И брось, пожалуйста, горячиться.

— Я никогда не ошибался и, работая только в интересах Германской империи, должен постоянно и бес­пощадно бороться с врагами родины и их пособника­ми. Должен изобличать партизанских лазутчиков и шпионов.

Настя слушала высокопарные тирады фашиста и по­нимала, что не все гладко у немцев не только на фрон­тах, но и в Острогожске. Можно сказать, земля горит под ногами, потому и суетятся, нервничают, срываю злобу на безвинных людях. Убивают, томят в застен­ках, отправляют в рабство. Вельнер мог погубить и Настю в любую минуту, просто приказать, чтобы ее по­весили. Она понимала, что матерый фашист ненавидит ее и каким-то внутренним чувством определил точно и бесповоротно, что она враг, а раз враг, то врага унич­тожают. Она немела от недоброго предчувствия. Могут быть два исхода: или она погибнет, или все еще будет жить — жить в неволе, за решеткой, в концлагерях, где та же медленная смерть.

И на этот раз бить ее не стали. Вельнер предложил еще подумать. И вот она снова в камере, одна, со своими горькими раздумьями. Одна — и как это страшно! Хоть бы с кем посоветоваться, как отвечать на вопросы палачам... Хотя бы повидаться с дядей Васей: что бы он посоветовал? Что бы сказал? А возможно, и он в этих же застенках и тоже размышляет, как быть и что предпринять. Какова-то судьба Ольги Сергеевны, жива ли? Господи, какой кошмар! Уж скорей бы все это кончилось! Эти бессонные ночи. Мама, родная мамочка! Где ты? Что думаешь обо мне? И знаешь ли, где я? Она так хотела повидаться с матерью, поговорить хоть минутки две-три и проститься, может быть, навсегда. Да, навсегда...

На следующий день к ней в камеру пришел Брунс, Надзиратель открыл ему дверь, и Брунс остановился у порога. Она приподняла голову, ждала, что он скажет. Потом дверь снова заскрипела: надзиратель внес табурет и поставил его в некотором отдалении от Настиной койки. Брунс сел, закинув ногу на ногу. «Что его при­несло сюда? — подумала Настя.— Начнет, поди, угова­ривать: дескать, признайся, раскаяние принесет свобо­ду». Но разве может она открыть фашистам правду? Нет, нет, она будет таить эту святую правду до самого конца. Ничего она им не скажет, в том числе и Брунсу. Она смотрела на него и ждала. От Брунса пахло жасминовым одеколоном, и эти запахи очень остро вос­принимались в затхлой и вонючей камере.

— Я пришел сюда,— наконец начал Брунс,— чтобы облегчить твое положение, Усачева. А положение твое серьезное. Вельнер подозревает тебя в шпионаже в пользу партизан. Если факты подтвердятся, тебя ждет неминуемая смерть.

«Значит, только подозревают.— Эта мысль обожгла. Сердце забилось сильно и тревожно.— Только подозре­вают. Значит, улик у них пока никаких нет». Она смот­рела на Брунса, словно на избавителя, который принес ей такую обнадеживающую весточку. Значит, есть на­дежда и надо держаться, во что бы то ни стало дер­жаться и свою причастность к партизанам отрицать.

— Я не боюсь смерти,— ответила Настя.— Что моя смерть? Избавление от мучительных пыток... Нет, Брунс, я не боюсь умереть.— Так она говорила ему, а на са­мом деле боялась умереть. Она хотела жить, очень хотела вырваться из этой тюрьмы.— Убьете меня, убьете еще несколько человек. Убьете сотни, тысячи... И от этого ничего уже не изменится. Решительно ничего!..

— Как это понять? — спросил Брунс.— Какой смысл в этих словах?

— Смысл простой.— Она посмотрела ему в глаза и добавила: — Ужели, Брунс, вы не разгадали значения этих слов?

— Прошу пояснений.

— Истина теперь очевидна,— спокойно продолжала она,— И она заключается вот в чем: Германия проиграла войну. Неужели не понимаете этого вы, Брунс?

Она говорила медленно и внятно. Сказала и спохватилась, что так сказала. Даже испугалась. Но сказала-то правду. И может быть, этой невинной правдой погубила себя. Ужель погубила?

— Ведь это правда, Брунс? — спросила она у фашиста, ибо хотела знать, что он скажет в ответ. Ведь должен же он что-то сказать.

И он сказал:

— Ты ошибаешься, Усачева. Вермахт силен, как ни­когда. В руках Германии почти вся Европа, обширные территории вашей страны. И временное поражение не­мецкой армии еще ни о чем не говорит. Мы сильны, Усачева, очень сильны!

— Германия проиграла битву под Сталинградом. Теперь — под Курском и в других местах.

— Да, да, проиграла! — начал сердиться он,— Но это временные поражения. Вот-вот наступит перелом в войне, и мы опять начнем наступать.

— Нет, этого уже никогда не будет,— убежденно проговорила Настя.— Вы обречены, Брунс. Понимаете? Обречены!

Она ликовала от сознания, что сказала правду в лицо врагу и этой своей правдой одержала маленькую победу. Это была ее личная победа над врагом, и она гордилась собой в эти минуты.

— Вы обречены,— сказала она еще раз твердо и гордо приподняла голову, смотрела на Брунса открыто, с вызовом.

— И ты способствовала этому. Значит, Вельнер прав?

— Нет, я не шпионка! — громко сказала она,— И не лазутчица. Я просто патриотка своей страны. Рядовая патриотка, каких миллионы. Я просто люблю свою Родину. Вот и все, господин Брунс.

— А почему пошла к нам переводчицей? С какой целью?

— Цель одна. Только одна.

— Ив чем заключалась эта цель?

— Надо было жить...

— Только это? Или с целью борьбы?

— В какой-то степени,— согласилась она.— Я и сейчас веду борьбу. Вот разговариваю с вами — и это тоже одно из проявлений борьбы. Весь народ поднялся на борьбу. И разве могла я остаться в стороне, отойти от народа? Или пойти против него? Стать изменницей?

— Ах, вот как! Ты большевичка, Усачева! Враг немецкой нации. А раз враг — должна умереть. Я мог спасти тебе жизнь. Но теперь не могу. Не могу. Ты должна понять. Немецкая армия принесла бы тебе бес­печную жизнь в цивилизованном обществе. Ах, Настя, Настя! Ведь ты почти немка. В Германии никто бы не подумал, что ты русская. Тебя ожидало счастье, если бы было все иначе.

Настя засмеялась в ответ. Было чудовищно слы­шать: фашизм принес бы ей счастье. Нет, такого сча­стья она не желает. Видеть, как убивают ни в чем не повинных людей, ее соотечественников, когда человека низводят до положения безропотного животного, когда оскверняют твою землю, топчут кованым каблуком все честное и святое, и быть счастливой?.. Настя глядела широко раскрытыми глазами на врага, смотрела смело, можно сказать, дерзко, и он заметил в этом отчаянном блеске ее глаз не обреченность, а торжество радости, и он не мог понять, чему она радуется.

— Ты умрешь, несчастная! — произнес он злобно и поднялся, откинув ногой в сторону табурет.— И уже ни­что тебя не спасет. Никто!

— Умрешь и ты, Брунс,— ответила она смело, голо­сом победителя.— Умрешь! И я вижу, как ты боишься смерти.

Впоследнее мгновение она поняла, что не нужно бы­ло говорить этих слов, слишком опасных для нее. Ведь все же была надежда, совсем маленькая надежда ос­таться целой, хотя и в неволе, но все же живой. Теперь этот маленький шанс был почти уничтожен, она сама порвала ту единственную нить, которая еще могла при­нести спасение.

Брунс стоял и смотрел на нее с презрительным превосходством человека, облеченного властью над другим человеком, кожа на гладко выбритых скулах слегка рябила от волнения, и губы вздрагивали и сжима­лись от ярости, он чуть покусывал эти тонкие бескров­ные губы.

— Я хотел спасти тебя,— произнес он внятно и ти­хо, почти спокойно,— но теперь уже этого сделать почти невозможно. О, я не завидую тебе!

— Пытать будут? — спросила она.

— Да, мы умеем это делать,— и он усмехнулся. В этой язвительном ухмылке она заметила нечто злобное, звериное и отвратительное.

— Вы умеете,— повторила она его слова.— Я понимаю — умеете. Умеешь и ты, Брунс. Все вы умеете убивать, но возмездие неотвратимо. Берегитесь, Брунс!

Она заметила, как он вздрогнул. Брунс торопливо вышел. Гулко хлопнула дверь, прогремели ключи тюремщика, а она сидела на койке и глядела на дверь. И вдруг почувствовала за спиною холодок смерти, внезап­но нахлынула жалость к себе. Она уткнулась лицом в подушку и безутешно заплакала.

На другой день ее снова привели на допрос. Вельнер метнул на нее злобный взгляд, и она поняла, что действительно будут пытать.

— С кем связана? Кому передавала данные? — начал сыпать вопросы фашист.

— Ничего не знаю,— отвечала она тихо.

— На этот раз все же развяжешь свой поганый язык! — заорал он хриплым голосом,— Заговоришь меня, большевистская лазутчица!

Он подошел к ней и, отфыркиваясь слюной, прохрипел:

— Ну, говори! С кем встречалась? Где?

— Никаких у меня явок не было.

— Ах, не было! — Он ударил ее ладонью по лицу. Она не почувствовала сильной боли — просто загорелась щека, он ударил еще сильней, и она чуть не упала.— Я заставлю все сказать! Решительно все!

Она не отвечала. Вельнер задыхался, голова его тряслась, как у сумасшедшего.

— Мерзкая тварь! — заорал он еще громче.— Граубе, сюда!

Сподручный верзила Граубе схватил Настю за ши­ворот и повалил на пол. Она почувствовала тупую боль в боках. Они пинали ее носками, и с каждым ударом что-то булькало и отрывалось у нее внутри. «Только бы не закричать,— пронеслось в голове,— только бы продержаться». Она сжимала зубы, удары сыпались один за другим, казалось, что тело разламывается на части. Потом поняла — бить перестали, но сознание чуть было не покинуло ее. Настя провела рукой по во­лосам и почувствовала на пальцах что-то липкое и скользкое, поднесла ладонь к глазам и увидела темно-алую кровь.

— Ну, теперь будешь говорить? — уже более спокойно спросил Вельнер.— С кем связана?

Она замотала головой и ничего не сказала, лежала на полу и не могла подняться.

— Увести,— услышала хриплый голос Вельнера. Он стоял тут же, рядом, широко расставив ноги,— перед ее глазами блестели голенища хромовых сапог. Фашист круто повернулся, отошел к столу.

В следующее мгновение ее подхватили и потащили. Шум торопливых шагов, щелчок замка, скрежет открываемой двери — все звуки и движения причиняли мучительную боль. Конвоиры бросили ее на пол возле кровати. Подняться и лечь на койку она уже не могла. Так и лежала, не шелохнувшись, до самого вечера и очнулась, когда тюремщик принес баланду и поставил мис­ку на столик.

— Кто вы такой? — спросила Настя.

— Не узнала?

Она вгляделась внимательней и признала, что это он, немец, надзиратель. Всегда бессловесный, словно от рождения немой, он приходил в одно и то же время, приносил миску с бурдой, ставил на столик и молча уходил. А сегодня вот заговорил — то ли из жалости, то ли из любопытства. Она не поверила, что он

жалеет ее, не могла поверить. А он стоял и смотрел на нее.

— Это вы? — спросила Настя.— Как вас звать?

— Арно Кнооп,— ответил он. — Мне не положено разговаривать с вами, но мне жаль вас, и я спросил.

«Жалко, пожалел надзиратель, этот пожилой немец, — пронеслось в голове.— Значит, в нем человече­ское сострадание не угасло, хотя и стережет узников».

— Вы не виноваты, Арно,— сказала она.— За вами нет никакой вины. Это они там проутюжили меня.

Он тихо сказал:

— Они нехорошие люди, очень нехорошие. Потерпите немного. Может, все обойдется. Может, смерть и минует вас.

— Спасибо, Арно. Большое спасибо.

Он еще постоял с минуту, потом вышел.

Поговорила с человеком, с этим пожилым тюремщиком, и боль, казалось, отступила. Ясность мысли возвратилась. Она начала размышлять: кто же он, немец Арно Кнооп? Фашист? Кажется, нет. Он просто человек, и душа у этого немца, видать, добрая. Не по своей воле он поставлен здесь, и, может быть, тяжко и больно ему нести службу в тюрьме. Может, мучает совесть, да некуда деться.

Вот ушел он, этот немец по имени Арно, и она опять осталась наедине с собой, со своими мыслями, со своей бедой, со своей болью. «Да, это конец,— думала она,— еще два-три таких допроса, и они доконают, добьют до полусмерти, изувечат, а потом прикончат. Пощады не будет. И все же надо молчать. Молчать и ничего не го­ворить, держаться из последних сил...»

Так она решила, поднялась на колени и села. Ощу­пала голову, плечи, бока, ноги — все болело нудной и тягучей болью. «Почему так устроен мир? — думала она.— Почему люди становятся непримиримыми врагами? Убивают друг друга. И все ради корысти, ради господства одних людей над другими. Ведь человек рожден для дружбы, любви и счастья...»

Она долго не могла уснуть. Закрывала глаза, и в полусне виделось пожарище там, в родной деревне. Горит сарай, в огонь бросают Максимова. Плачут женщины, старики, дети...

Настя открывает глаза, сердце замирает то ли от страха, то ли еще от чего... Перед глазами опять обшарпанные стены одиночки, черный от копоти потолок и маленькое зарешеченное оконце, сквозь мутные стекла которого еле пробиваются лучи. Значит, где-то там, на воле, солнце начинает свое восхождение, обрызгивая ис­коверканную землю снопами жизни и надежды. С огромным усилием воли поднялась она, подошла к оконцу — глаза ослепило золото лучей. Не хотелось погибать в этой сырой и полутемной камере, так не хоте­лось! Побывать бы в просторах полей и лугов, в лес­ных рощах, поговорить бы с добрыми людьми.

Через два дня ее опять вызвали на допрос. Вельнер задавал одни и те же вопросы, она отвечала однослож­но: «Нет, нет, ничего не знаю». Упорство узницы настолько взбесило фашиста, что он опять пустил в ход кулаки. Настя лежала на полу, глядела на палача ненавидящими глазами. Он снова начал кричать:

— Русская тварь! На огне спалить надо!.. На медленном огне, чтобы развязался поганый язык! Не понимаю я этих русских! Не понимаю!..

Настю обливали холодной водой. Очнувшись, шептала одно и то же: «Ничего не знаю. Решительно ничего». Тело ее, покрытое синяками, нудно гудело, будто отваливалось от костей, и казалось совершенно чужим. Она глядела на Вельнера, на главного своего мучителя, с таким презрением и ненавистью, что он, заметив это, отшатнулся, подошел к окну и что-то бормотал невнятно и бессвязно. Она не могла понять, о чем он говорил.

— Признавайся, паршивая девка, где прятали ору­дие и взрывчатку?

Она молчала, а он стоял, слегка наклонившись. Все было противно в нем: и черный мундир с блестящим металлическим знаком на груди, где изображены череп и скрещенные кости, и особенно ненавистна повязка на рукаве со свастикой — символом варварства и насилия.

Она упорно молчала. Ее опять били до полусмерти. Затем отлеживалась в одиночке. Вызывали снова. Снова пытали. Но так ничего она и не сказала, словно бы замерла.

И вдруг перестали вызывать на допросы. Она лежа­ла на тюфяке в ожидании развязки. Время шло, тягу­чее, томительное, почти мертвое. Она все еще была жива, с безразличием съедала брюквенную бурду и кусо­чекхлеба и снова ложилась, ждала конца.

Она не замечала тюремщика Арно, точно он не су­ществовал. Приходил, уходил, приносил еду. Однажды все же глаза их встретились, и Настя приподнялась и спросила:

— Значит, скоро?

— О чем вы спрашиваете? — спросил немец.

— Они должны меня расстрелять или повесить, но почему-то медлят. Может, Арно, вы знаете почему? Я вижу по глазам, что вы уже знаете.

— Нет, я ничего не знаю,— сказал он спокойно.— Возможно, вас переведут в другую камеру, в общую.

— Нет, они должны меня уничтожить. Об этом мне говорил Вельнер. Он слов на ветер не бросает.

— Вельнера перевели в другой город.

— Перевели? — Всем своим больным телом она по­далась вперед.— Когда это случилось?

— Дней десять назад. Он в чем-то провинился.

Настя вздохнула с облегчением:

— Спасибо, Арно. Может быть, счастье улыбнется и мне.

Он кивнул головой.

**Глава тринадцатая**

О Насте словно бы забыли, не вызывали, а затем перевели в общую камеру. Оказавшись в столь необычном положении, она стала присматриваться: стены черные, местами потрескалась штукатурка, окно было маленьким, тусклым и в дальние углы не доходили снопики света. Кто там был, Настя не могла разглядеть сразу. Сидела, прислушивалась. Из дальнего угла пропищал слабый голос:

— Что ль, новенькая? Чья будешь-то?

Настя пристальней стала всматриваться и заметила в отдалении на полу

сидящую женщину. Молода она была или стара — не могла определить: мешала

полутьма.

— Я из одиночки,— ответила она и подвинулась на голос, туда, в дальний угол.

— Из одиночки? — спросила женщина.— А за что посадили?

— Не знаю за что. Допрашивали. Избивали. А те­перь вот к вам.

Она заметила, что женщина внимательно пригляды­вается к ней. В глазах блеснул недобрый огонек.

— Это не ты у них переводчицей работала? — Воп­рос был поставлен ребром, очень неприятный вопрос, и Настя не знала, как на него ответить. Промолчать и ни­чего не сказать в ответ она тоже не могла. И она ска­зала:

— Вот работала на них, а все равно посадили…

— Не угодила, видать?

— А разве угодишь этим иродам? Дорожка скольз­кая — и не знаешь, где споткнешься.

— А меня засадили ни за что ни про что. Облава была. Сгребали людей — всех под одну гребенку. Ну, и меня вместе со всеми.

Только теперь, в сутемени приоглядевшись, Настя заметила, что женщина была пожилой — лицо морщи­нистое и на висках седина.

— У меня дети взрослые,— начала пояснять женщи­на,— два сына и две дочки. Отбились от дому. Один сын кадровую служил перед войной. Не знаю, жив ли... А тот, что помоложе, в леса утек. Знать, к партизанам. И дочка туда подалась. Муж Иван — тоже. А я вот одна мыкаюсь. Схватили супостаты. За детей, видать, и отсидка. Вызывали, спрашивали, где да кто. А я от­коль знаю? Что, я за ними поводырем хожу, за детьми-то?

Настя только сейчас вспомнила, что эту женщину вызывал на допрос Вельнер. Кажется, избивали ее раза два, но так ничего и не добились.

— Звать меня Матреной. Из Свелюжи я, Свидеркина. Может, слышала?

— Свелюжа далеко от нас. Я там никого не знаю.

— А сама-то отколь?

— Из Большого Городца.

— Ан вон ты откудошная. Еще одна городецкая с нами отсиживает. Светланкой звать...

У Насти замерло сердце: «Значит, Светлана Степачева жива! Где же она? Где?»

— Да, знаю такую,— как можно спокойней ответила она.— А куда она подевалась, эта Светлана?

— Куда, куда... Знамо куда. На работу их гоняют кажинный-то день. То на лесопилку, то еще куда.

Вечером женщины вернулись в камеру. Среди них была и Светлана. Боже мой, как изменилась ее подруга. Личико похудело и осунулось, одежонка поизноси­лась, а в глазах — тоска. Настя бросилась на шею Светлане и заплакала. Сквозь пальтишко прощупыва­лись худенькое тело, подруга еле стояла на ногах, и в объятиях Насти плечи ее дрожали словно в лихо­радке.

— Значит, жива,— шептала Настя,— уж и не дума­ла тебя встретить. Совсем не думала.

Светланка не могла и слова вымолвить, она гладила Настины плечи в знак благодарности и тихонько всхли­пывала.

Ночью лежали на тюфяке, точно дети малые, впол­голоса разговаривали о наболевшем. Соблюдали осторожность— могли выдать провокаторы: нередко их под­саживали тюремщики в ту или другую камеру. Настя шепотом спрашивала у Светланки:

— А что с Ольгой Сергеевной?

— Расстреляли ее. Дней десять назад. Тут же, на тюремном дворе.

Настя, убитая горем, долго молчала. Ольга Сергеев­на, сердечная женщина,

подруга. Сколько добра при­несла людям! Сколько спасла односельчан от верной гибели, от голода и других лихолетних напастей! И вот погибла... Не убереглась. Пожертвовала собой ради об­щего дела.

— Она все на себя взяла, потому и погибла,— еле слышно проговорила Светлана.— А хлеб партизанам отправила. И колхоз наш, наверное, еще жив, хотя деревню разорили. Несколько домов сгорело.

— А как мать моя? Жива? — спросила Настя.

— Вот уж не знаю. Должно быть, жива. Мальчонка у ней беспризорный пасется. Неизвестно, откуда взялся.

«Может быть, жива,— подумала Настя,— а мальчонка — это Федюшка. Повидаться бы с ними, сказать ласковые слова, может быть, последние...» Подумала так и спросила:

— Откуда ты все это знаешь?

— Секрет,— шепнула Светланка,— у нас телеграф работает. И не чей-нибудь, а наш, надежный...

— Что же это за телеграф такой?

— На лесопилке человек свой есть. Через него и узнаем всё, что надо.

На другой день на работу погнали вместе с другими и Настю. Вели под конвоем через весь город. До лесопильного завода было неблизко — почти час ходьбы. Заводишко небольшой, и оккупанты наладили там распиловку досок, пилили также березовые да осиновые кругляки — заготавливали дрова для печного отопления помещений, занимаемых немецкими службами. Отопительный сезон еще не наступил, но дровишки заготовлялись загодя. А нужны ли будут фашистам эти дро­вишки, никто толком не знал. Не исключена была воз­можность, что немцам дрова не потребуются. Работали заключенные ни шатко ни валко, но надсмотрщики заставляли шевелиться. Пилили дрова двуручками. Муж­чины, кто посильней, кололи чурбаки колунами.

Настя была слаба, и тело постоянно ныло от тяжелой работы. Чувствовалось недоедание. Подружки, как могли, оберегали ее, чаще давали отдыхать. Когда складывала поленницы, сгибаться и разгибаться все еще было тяжело: спина болела и ноги в коленных суставах подкашивались. Только одно было хорошо — она дышала полной грудью, прохладный свежий воздух придавал сил, и казалось ей, будто пьет она холодную газировку с клюквенным сиропом, жадно пьет и не может напиться вдосталь.

Тут, на лесопилке, было легче, чем в тюрьме. Охрану несли пожилые солдаты, и если работа мало-мальски двигалась — они не понукали, просто следили, чтоб дело шло.

Настя приглядывалась ко всему. Под крышей работала пилорама, из-под круглого диска пилы вееромпались опилки. У пилорамы суетились двое. Один— уже пожилой, в синем поношенном пиджачке и в таких же брюках, заправленных в кожаные сапоги, на голове у него была кепка-восьмиклинка с помятым козырьком. Козырек этот, словно защитные очки сталевара, прикрывал глаза старика. То и дело он покрикивал на сподручного — парня лет восемнадцати, белобрысого и будто бы сонного: работал малец вразвалку, неторопко.

Иногда Светланка пилила дрова с женщиной лет тридцати, лицо у этой женщины было точно бы в трауре: на голове — черный платок и глаза красные, обрамленные темными ресницами. Казалось, что она кого-то недавно потеряла — то ли ребенка, то ли мужа. Жен­щина размеренно тянула и отпускала ручку пилы, время от времени тяжело вздыхала.

Вечером, когда их пригнали в тюрьму, Настя как бы невзначай спросила у Светланы:

— С кем ты связана? Мне нужно записку послать на волю.

Светлана прикоснулась губами к уху подруги и еле слышно прошептала:

— Кому хочешь послать?

— Матери, чтоб не беспокоилась. Да и с подполь­ной организацией надо контакт наладить.

— Это уже сделано. Так что не беспокойся. Будем готовить побег.

— А как убежишь? Кругом крепкая охрана. На ле­сопилке зорко смотрят за нами.

— Потерпи немного. Что-нибудь придумаем.

Через несколько дней арестованных отправили в концлагерь. Это неподалеку от села Любони, кило­метрах в двадцати от райцентра. Лагерь человек на сто. На опушке леса — два продолговатых барака с плоски­ми крышами. В бараках тесно и душно, людей понапи­хали, что селедок в бочку. Спали на двухъярусных на­рах, прижавшись плотно друг к другу. С рассветом за­ключенных гнали под усиленным конвоем на работу — в лес. Мужчины занимались повалкой леса, а женщины кряжевали хлысты и обрубали сучья. Работа тяжелая, порой непосильная при постоянном недоедании. Надсмотрщики поторапливали, а кто вконец изнемогал и пытался присесть на пенек, того подгоняли прикладом, а если не мог подняться — убивали. Нужно было хотя и медленно, но пошевеливаться, делать вид, что стараешься.

Светлана и Настя спали в бараке на втором ярусе возле стенки. Утром, часов в шесть, всех поднимали и гнали на работу. На делянке, где велась заготовка леса и

строевой древесины, работало человек двадцать пять. Все вокруг просматривалось настолько тщательно, что каждый работающий был на виду. У конвойных на привязи были дюжие овчарки. В любую минуту их могли пустить в погоню.

И все же Настя стала присматриваться к местности и прикидывала, где было бы удобней скрыться от охранника. Заключенные рассказывали, что две недели назад двое пильщиков пытались убежать, но были вскоре пойманы и в тот же день повешены. Побеги предпринимались и раньше, но только одному узнику удалось запутать следы и затеряться в лесной чащобе. Вышел ли он к своим — никто не знал. И как следствие, после этого случая охранять заключенных стали строже.

И все же Настя решила бежать. Каким образом это лучше предпринять, она ежедневно советовалась со Светланой. Пыталась завести разговор на немецком языке с конвойными, но те, перекинувшись одной-двумя фразами, умолкали. Светлана предлагала закидать Настю сучьями. Сучья они ежедневно обрубали и скла­дывали в кучи. Это был наиболее удобный и простой план, но Настя не соглашалась: бежать — так вместе, вдвоем. И все же в конце концов решено было сделать так, как предложила Светлана. Настя найдет путь к партизанам, а те выручат и остальных.

— А может, тебе устроить побег? — предлагала На­стя Светлане.

— Нет-нет,— возражала подруга,— ты старше меня и лучше это сделаешь. И тем более, ты нужней у своих. А я потом как-нибудь вырвусь на волю. Обязательно вырвусь.

И вот настал день, когда Настя должна была бе­жать. Стояла пасмурная погода. Женщины обкамливали верхушки деревьев, складывали еловые сучья в ку­чи, и уже когда начали сгущаться вечерние сумерки, подруги стали прикидывать, как лучше все устроить. Перед концом работы часовой, что стоял невдалеке, посматривал в сторону, где работали Настя и Светлана. Они уже приготовили еловые ветки. Наконец часовой отвернулся и пошел к своему товарищу — видимо, что-торешил сказать ему. В это мгновение Настя легла, и по­други торопливо стали забрасывать ее ветками. Она почувствовала, как еловые иголки колюче впиваются в щеки, шею, забираются в нос. Она вдыхала острый за­пах хвои и старалась как можно реже дышать, замерла. До слуха доносились реплики женщин, отрывистые и еле разборчивые, и тут она уловила в голосе Светланы тревожные нотки. Светлана поторапливала подруг:

— Скорей, скорей, пока не увидали...

Потом все утихло, раздалась команда «Строиться!» и наступила решающая минута: вдруг стражники начнут пересчитывать заключенных — тогда Насте каюк. Но конвойные, к счастью, торопились, и узников погнали к дороге. Доносились отрывистые команды, лай собак — эти звуки раздавались все дальше и дальше. И наконец она поняла, что настал момент — она должна бежать. Осторожно высунула голову из-под еловой кучи, убедившись, что колонна удалилась сравнительно далеко, она поднялась, стряхнула колючки и в одно мгновение исчезла в лесу.

Настя не знала точно, в какую сторону бежать, по­шла наугад, к закату солнца. Однако в лесу было темно, и она поняла, что немудрено закружиться. Только бы дальше, дальше от этого страшного места! Ведь каж­дая минута дорога: могут хватиться, и тогда начнется погоня. На плацу, возле барака, обязательно начнут пересчитывать узников — что тогда?

Она шла довольно быстро, торопилась. Под ногами похрустывал сушняк. Через полчаса вышла на берег небольшой речушки; немного успокоившись, присела на корягу, зачерпнула в ладони воды, выпила несколько глотков. Вода холодная, почти обжигающая. Потом сполоснула разгоревшееся от быстрой ходьбы лицо, провела мокрыми ладонями по шее: под воротом все еще гнездились еловые иголки, покалывали тело.

Все ночные звуки настолько были легкими, еле уло­вимыми, что Настя постепенно пришла в себя, успокои­лась. И все же прислушивалась, не лают ли вдали со­баки. Но лишь чуть слышно шумел лес. Она видела небо, усеянное звездами, оно было темное и бездонное, над рекой стояли деревья, сливаясь в темноте в сплош­ную стену, и река, почти черная, искрилась серебряными полосками в отсвете ярких звезд. Настя чувствовала, что противоположный берег совсем недалеко, рядом, и надо бы перебраться на другую сторону — там было безопасней, но боялась на это решиться — не знала, какая в реке глубина.

Ночь довольно прохладная, как всегда бывает в начале октября. Легкий ветерок срывал с деревьев листья. Она не видела, а лишь улавливала слухом, как они падают на темную гладь реки и плывут, покачиваясь, точно маленькие кораблики. Поймала один липкий и влажный листик, поднесла к губам и почувствовала еле уловимый запах березы.

Так сидела час, другой, третий. Время тянулось утомительно долго, а рассвет все еще не наступал. Куда пойдешь в такую темень? Не ровен час, нарвешься на фашистскую засаду, уж лучше сидеть на берегу до утра. Хоть бы немного уснуть, набраться сил и с рассветом более уверенно двинуться в путь. Но куда она пойдет? В город? Нельзя. Могут опознать, посадят в одиночку, и уже не вырвешься наверняка. В Большой Городец, к матери? Там тоже могут схватить, а заодно и мать пострадает. И все же она решила пробираться к родной деревне. Дорога не ближняя — километров со­рок. Это два дня пути, не меньше. Придет ночью, а там — в Рысьи Выселки: Маша Блинова подскажет до­рогу к партизанам.

Как только начало светать, она поднялась и пошла берегом вниз по течению. Пройдя километра два, вышла на луговую полянку. На полянке стожок. Значит, здесь кто-то косил сено, недалеко должно быть и жилье. От полянки берегом шла проселочная дорога, колея еле заметна: по этой дороге, видимо, ездили редко, на ней топорщилась пожухлая метелка, пробивалась и другая увядающая травка.

Настя шла не по самой дороге, а несколько в сто­роне от нее, прижималась к мелколесью. Воздух был свеж и прозрачен, пахло настоем преющих листьев, хвои и остывающей земли. Это был воздух середины осени, пить его было сладко, он подбадривал и подго­нял: торопись, иди, человек, быстрей, впереди тебя ждет удача. И Настя шла, хватаясь за кусты, лицо щекотали паутинки, она смахивала эти крохотные, невесомые ни­точки, но они снова обволакивали лицо и шею, дыша­лось легко, лесной воздух прибавлял сил, но одно угнетало: хотелось есть. Чтобы утолить голод, она ела брус­нику; ягоды хотя и редко, но встречались на мшистых кочках, они были уже перезрелые, поклеванные птицами. «Хоть бы кусочек хлеба да пару картофелин», — мечтала она о немногом. Но где этот хлеб? В деревнях появляться остерегалась: нарвешься на полицаев — и, считай, все пропало. Она должна была выйти к своим, найти своих...

**Глава четырнадцатая**

И вторую ночь Настя провела в лесу. Было холодно, но все же она уснула ненадолго, силы вернулись к ней, и она пошла. Голод терзал ее, но она отгоняла мысли о еде, лихорадочно думала о другом. Беспокоило, пра­вильно ли идет: деревни попадались незнакомые, а расспросить кого-либо она не решалась, хотя и видела не раз людей издали.

После полудня она вышла из леса и увидела оди­нокий домик. Остановилась и стала наблюдать. Дом оказался жилым, возле него кудахтали куры, лаяла со­бака. Наконец на крылечке появилась женщина, спу­стилась по ступенькам и стала глядеть в ту сторону, где стояла Настя, махнула рукой — дескать, не бойся, подойди.И Настя подошла.

— Кто такая? Откуда? — спросила женщина. Она была еще не стара, лет за сорок, в глазах — любопыт­ство.

— Из лагеря сбежала я,— призналась Настя. — Из того, что у села Любони.

— Это такую-то даль по лесам моталась! Проголо­далась небось?— Женщина с участием смотрела на нее.

Насте показалось, что она должна помочь, должна показать дорогу, накормить.

— Вторые сутки во рту, кроме ягод, ничего не бы­ло. Совсем из сил выбилась...

— А куда путь держишь?

— В Большой Городец. Там родственники у меня.— Она хотела сказать, что там ее мать, но решила не го­ворить об этом из предосторожности.

— Ой, Городец отсель далеконько. Верст пятнадцать тебе шагать. А на дорожку кой-что дам. Подкрепись малость.

Женщина вынесла несколько вареных картофелин и ломоть хлеба. Настя жадно начала есть...

— Ты здесь не задерживайся,— предупредила хо­зяйка,— хошь и не кажинный день, все же к нам немцы заглядывают, иногда полицаи. На подозрении наш дом. Все думают, что мы тут партизан укрываем.

— А бывают партизаны?

Женщина подозрительно метнула взгляд на Настю и ответила неопределенно:

— Партизаны в лесу. А лес большой. Где они — ищи-свищи. А ты давай, с богом, иди от греха по­дальше.

— Спасибо и на этом,— сказала Настя и пошла в сторону леса.

Поев немножко, она быстрей зашагала вдоль дороги. Через полчаса вышла к большаку, из-за кустов стала наблюдать. Дорога была оживленной: по ней шли машины, грузовые и легковые,— на фронт отправлялось подкрепление. Пробежали мотоциклы с колясками, потом прошла санитарная машина. «Нет, надо подальше держаться от этих мест»,— решила Настя и снова зашла в лес. В лесу было спокойней, вроде бы он прочно защищал человека от постороннего глаза.

Настя незаметно для себя заблудилась: солнце скрылось за тучами — и она потеряла ориентир. Потом вышла на просеку и пошла по ней, думая, что эта просека куда-нибудь выведет. Просека привела на другую просеку, поперечную первоначальной. Настя пошла, свернув налево. Потом просека вывела на тропку, и она пошла по этой тропинке, петляющей в густом берез­нячке.

Не прошла и с полкилометра, как из кустарников выскочил белобрысый парень с автоматом в руках, перегородил дорогу.

— Кто такая? — пробасил парень. — Куда идешь?

Она сразу поняла, что это партизанский патруль. С радостью ответила:

— Своя я, своя!

— Это еще посмотрим, своя ли, чужая,— огрызнулся парень и начальственным голосом приказал: — А ну, давай иди... Проведу тебя куда следует, а там разберутся...

Настя с готовностью подчинилась приказу и покорно пошла. Партизан шагал сзади, и слышно было, как ды­шал ей в затылок, ствол его автомата касался ее спины, и все же она была счастлива, что наконец-то ее сопровождает не немецкий патруль, а паренек из пар­тизанского отряда. Так шли они с полчаса, потом Настя оглянулась, спросила:

— Далеко еще?

— Не разговаривать! — рявкнул парень и для уст­рашения щелкнул затвором.

За поворотом встретился второй патруль, партизаны обменялись паролями. С тропинки свернули на другую, еле заметную тропку. Деревья стояли сплошняком, Настя была впереди и не знала, куда идти. Парень подсказывал:

— Направо. Налево. Чуть правей.

Она шла в предвкушении, что вот сейчас объяснится с партизанским начальством, а парень получит взбучку за грубость: ведь нельзя же так помыкать человеком, кричать, словно на врага.

Наконец они пришли. Возле деревьев были понастроены землянки, в одну из них и повел Настю патрульный. В землянке было просторно, за столом сидели  
люди в гражданской одежде и о чем-то оживленно разговаривали. Когда патрульный привел Настю, все сразу повернули головы в ее сторону. Пожилой мужчина, сурово оглядев Настю, строго спросил часового:

— Где взял?

Парень ответил и пояснил, что прикидывается «своей».

— Проверим. Отведи ее в особый, к Гурьянову. Он разберется.

Через пару минут она была уже у Гурьянова. Особист был молод, черняв, невысок ростом. Он раскуривал цигарку и что-то оживленно говорил пожилому партизану, затем, посмотрев на Настю, сказал:

— Ты обожди, Прохорыч. Потом все обмозгуем. Сейчас займусь этой девицей.

Мужчина ушел. Гурьянов предложил Насте сесть. Самокрутку погасил и, не глядя на гостью, как бы мимоходом спросил:

— Фамилия?

— Усачева Анастасия.

— Значит, бежали?

— Из лагеря сбежала, из того, что возле деревни Любони.

— А каким образом удалось сбежать?

— Вы что, не верите?

— Нет, почему же. Возможно, было и так. А до этого лагеря где были?

— В тюрьме сидела.

— В какой?

— Известно в какой, в Острогожской.

— За что туда попали?

— Как за что? Работала разведчицей. А у немцев — переводчицей.

— Ну, бросьте, Усачева, сочинять. Вы знаете немецкий язык?

— Если б не знала, не работала бы переводчицей. Меня сам секретарь подпольного райкома Филимонов к ним работать заслал.

— Неужели? — спросил особист таким тоном, что она поняла: он ей не верит. И вдруг стало обидно, горло перехватили спазмы, и она чуть не заплакала.

— Не верите?

— У нас такая работа — приходится во всем сомневаться. — Он помолчал и добавил: — Мне хочется тебе поверить, Усачева, но не имею на то права. Не имею. Надо проверить. А пока проверяем, посиди под арестом.

Она оказалась в небольшой землянке, где стояли самодельный топчан, небольшой столик, чурбан вместо табуретки. У самого потолка светилось небольшое оконце. Здесь она и должна была ждать, пока там, наверху, выясняют, кто она.

Ждала день, другой, третий, а результатов никаких. И лишь через неделю позвал Гурьянов и, предложив сесть, сказал:

— Личность твоя установлена, Усачева. Возвращать­ся тебе в Острогожск и в Большой Городец нельзя. Бу­дешь пока здесь, в партизанском отряде.

— А оружие когда получу? — спросила она.

— Для чего оно тебе?

— Как для чего? — вскипятилась она. — Воевать бу­ду. Фашистов бить. Я на них ой как зла!

— Не горячись, Усачева, не горячись,— начал успо­каивать Гурьянов. — Ты ведь разведчица, знаешь немец­кий. И оружие твое — разведка. Когда надо — пошлем туда, к ним... А сейчас пока поживи здесь, в лагере. Официально оформим переводчицей при штабе.

— Когда же пошлете туда?

— Придет время — пошлем. Потерпи немного.

Что ж, ждать так ждать. Она готова пойти куда угод­но, выполнит любое задание. Только в город Остро­гожск уже нельзя. Там знают ее. Покажись на улице — моментально сцапают.

В партизанском лагере все шло своим чередом. Лю­ди уходили на задания, некоторые не возвращались, приносили раненых товарищей, их лечили в санитарной части, а тяжелых переправляли через линию фронта. Где-то недалеко, в зоне, освобожденной партизанами, был небольшой аэродромчик, и там приземлялись са­молеты Красной Армии. Доставлялись с Большой земли боеприпасы, продовольствие, медикаменты, прилетали и люди. Вот бы с ними поговорить, хотя бы посмотре­ть на них!

И вскоре эта возможность предоставилась. В партизанскую бригаду прибыл представитель Северо-Западного фронта в звании майора и в первый же день по прибытии пригласил на беседу Настю.

— Вот что, Усачева,— сразу начал он,— у тебя уже есть опыт разведчицы, и на курсы усовершенствования мы не будем тебя посылать в советский тыл. Время не ждет. Надо готовиться. Действовать будешь не одна: в помощь дадим радистку и еще одного сопровождающего. Человека надежного. Он — немец.

— Немец? — спросила Настя.

— Да, немец.

— С немцем не пойду.

— Он надежный немец. Антифашист. Перешел до­бровольно на сторону Красной Армии. Завтра с ним знакомлю. А для тебя надо придумать версию. Будешь там действовать под именем немки. Фамилия твоя — Мюллер, имя — Анна. Отец — Мюллер Карл Адольфович, по происхождению немец, из-под Новгоро­да, по профессии инженер, репрессирован в тридцать седьмом году, за что — не знаешь, судьба его те­бе неизвестна. Мать тоже немка. Все это запомни и продумай. Так что ты с этого момента не русская, а немка.

Он долго инструктировал Настю, и она уже пред­ставляла, как будет работать там, в логове врага. Опыт на этот счет у нее уже имелся.

На другой день майор познакомил Настю с немцем Паулем Ноглером. Это был молодой человек высокого роста, белолицый, голубоглазый, рыжеватые волосы слегка кудрявились. Немец улыбнулся, показав белые зубы, и Настя в ответ улыбнулась. Он подал руку, от­рекомендовался:

— Пауль.

Она назвала себя:

— Анна Мюллер. По-русски — Настя.

— Понимаю,— улыбнулся он. — Будем вместе рабо­тать.

— Будем, Пауль,— сказала она по-немецки.

— Очень хорошо,— ответил он по-русски, а по-не­мецки добавил: — На меня можешь положиться, Настя. Будешь невестой. Я — твой жених. Идет, хорошо?

Настя засмеялась в ответ так весело и непринужденно, что майор тоже заулыбался. Он понимал по-немецки и предложил:

— Пускай будет так. Жених и невеста. Документы оформим честь по чести, комар носа не подточит. До­полнительные инструкции получите в ближайшие дни.

В этот же день познакомилась Настя и с будущей радисткой Паней Кудряшовой. Кудряшова — небольшого росточка толстушка, с розовым румянцем, на подбо­родке ямочка, и на щеках, когда улыбалась, тоже про­ступали маленькие ямочки. Паня оказалась веселой, общительной; она уже не раз забрасывалась за линию фронта и чуть было не попала в лапы к фашистам, но смекалка помогла ей вырваться из беды.

— И этого немчика-красавца посылают с нами? — спросила она у Насти. — А не перекинется к своим? Как в народе говорят: сколько волка ни корми, он все в лес смотрит.

— Ему сам майор доверяет,— ответила Настя. — Да и немцы — не все враги. Есть антифашисты, коммунисты. Мы же не против немцев, а против фашизма. И среди немцев есть люди, которые ненавидят фашизм.

— Это, конечно, верно,— согласилась Паня,— но осторожность надо проявлять. Всякое бывает... А впро­чем, поживем — увидим.

— Ты, Панечка, по-немецки знаешь? — спросила Настя.

— Кой-что понимаю, но говорю плохо. Все же наш русский язык куда лучше. Как ты думаешь?

— Я тоже люблю свой родной язык, очень люблю. Однако и немецкий, если разобраться, тоже неплохой. Даже Ленин разговаривал на немецком. Так что советую тебе его изучить.

— А к чему? Ты хорошо разговариваешь, а Пауль еще лучше. Вдвоем вы как-нибудь столкуетесь, а я, ес­ли что, буду молчать.

Партизаны взрывали рельсы и мосты, уничтожали гарнизоны фашистов, склады с боеприпасами и горючим. Жизнь крутилась и вертелась со всеми своими опасностями, радостями и печалями, и Настя постепен­но входила в круговорот этой необычной и кипучей жизни, и в ней с каждым днем загоралась жажда нем**ед**ленного действия. Она хотела пойти на любое боевое задание, хотела встретиться с врагом лицом к лицу с оружием в руках. Но ее почему-то не брали на боевые задания, а причины она не знала, и однажды, не вытерпев, обратилась непосредственно к своему командиру партизанской бригады. Она ни разу с ним не разговаривала и робела к нему подойти. Он посмотрел на нее, определяя, кто такая, подошел поближе, спросил:

— Из какого полка?

Она смутилась и не знала, как ответить: не была причислена ни к полку, ни к роте, просто находилась в распоряжении Гурьянова. Она ответила, кто и откуда, и,

осмелев, начала упрашивать командира, чтобы ее отправили с группой бойцов на задание.

— А стрелять умеешь?

— Не только стрелять, но и перевязывать раны, вы­носить с поля боя раненых,— ответила Настя.

— Ну ладно, посмотрим. Возможно, и пошлем. Про­верим в деле.

На другой день ее вызвал Гурьянов, сказал:

— Вот что, Усачева. Говорил я с комбригом, и ре­шили с ним, что тебя ни в какие рейды посылать нельзя. Запрещено свыше. Ты нужна для других целей. Надо готовиться к своему рейду. Майор что тебе говорил?

— Говорил. Все помню. А когда пошлете?

— Потерпи немного. Может быть, отправим вдвоем, с Кудряшовой.

— Так значит, Пауль не пойдет с нами?

— Возможно, и не пойдет. Он, между прочим, тоже просит, чтобы проверили в бою.

— Ах, вот что! Ну что ж, пускай покажет себя. Я лично ему доверяю.

— Да, он надежный человек,— сказал Гурьянов и весело посмотрел на Настю. — С ним работать, может быть, придется. Понимаешь, где?

— Понимаю,— ответила она. — Но когда пойдем и куда?

— Обожди. Потерпи. Все прояснится через недельку-другую.

На этом разговор и закончился. И Настя стала ждать.

А через два дня Пауль ушел с отрядом подрывников. Возглавил группу Константин Капустин, самый отчаянный партизанский командир и разведчик. На его счету было немало успешных вылазок — и почти всегда с малыми потерями.

Боевая группа Константина возвратилась с задания на другой день. Из двенадцати человек шестеро были убиты и двое ранены. Боевое задание не было выполнено. Сам Капустин не вернулся.

**Глава пятнадцатая**

Поползли слухи, что в партизанский лагерь засланы вражеские лазутчики, виновные в гибели подрывников. Настя заметила, что и на нее стали посматривать с подозрением. Майор улетел на Большую землю, Гурьянов не вызывал. И Паня Кудряшова стала более сдержан­ной, малоразговорчивой. Загрустил и Пауль: он был явно подавлен неудачей боевой группы Капустина. Дескать, вот появился немец, отправили на боевое задание — опытные партизаны не вернулись, а он жив, целехонек.

Настороженность в какой-то мере оправдывалась. Особый отдел и лично Гурьянов уже обезвредили не одного вражеского лазутчика,— время от времени их засылали к партизанам с различными заданиями. Поэтому все вновь прибывшие в расположение партизанского соединения тщательно проверялись.

Однажды Настя, выйдя из землянки, присела на пенек и задумалась. Совсем недалеко от нее разговарива­ли молодые парни. Они о чем-то спорили, и Настя при­слушалась. Густой басок недовольно бурчал:

— И зачем приголубили немца Ноглера? Ходит везде, приглядывается. Может, шпион к нам заслан. Как думаешь, Иван?

— Гурьянов проверит,— ответил другой партизан.— До всего докопается. Говорят,

антифашист. А кто документы у него проверял? Кто докажет, что он враг Гитлеру? Никто. В душу к нему не заглянешь. Повысмотрит, обнюхает, что да где, и сбежит восвояси. А нас каратели и накроют.

— Простофили, и только. Немец — он и есть немец. Как ни корми — в свою сторону смотрит. А еще появилась расфуфыря, эта Усачева. Говорят, у немцев служила переводчицей. Небось тоже заслана. Шпионит.

— Надо командиру обо всем доложить, чтоб принимали меры.

— Командир — он что? Тут Гурьянов должен в оба глаза смотреть. Доверяет всяким пришлым, а людей колошматят.

Горько было слушать эти слова. Значит, не доверяют, подозревают в чем-то. Что ж, она пойдет к Гурьянову и заявит: «Раз нет доверия — проверьте в бою». И если надо, она докажет на деле. Вот бы Филимонов был рядом, тогда бы все встало на свои места. Уж он-то знает ее, Настю. По его непосредственному заданию работала в Острогожске. Но где он, Филимонов? В бригаде, говорят, и не бывал.

А дни за днями шли. Однажды она разговорилась по душам с Паулем. Говорили долго,

весь вечер. Оказалось, что Пауль хорошо знает русскую литературу. Читал он и Льва Толстого, и Достоевского, и даже Горького. Эти писатели запрещены в Германии, но его

родной дядя, преподаватель в средней школе, имел большую библиотеку, и Пауль брал у него книги. Кроме того, у его отца, коммуниста, были Маркс, Энгельс и Ленин. Пауль познакомился и с этой литературой. Правда, в компартию он не вступил. Перед войной Германская компартия была в глубоком подполье, но Пауль, учась еще в школе, слышал о вожде немецкого ра­бочего класса Эрнсте Тельмане, который томился в фашистских застенках. Отец Пауля тоже был арестован и сидел в концлагере.

— Когда я попал на Восточный фронт,— сказал Па­уль,— то сразу решил перейти на сторону Красной Ар­мии, бороться с фашизмом.

— Теперь тебе предоставлена эта возможность, Па­уль.— Настя смотрела ему в глаза и думала: «А суме­ешь ли ты поднять на своих руку возмездия?» И отве­тила сама себе: «Если ненавидишь фашизм, значит, су­меешь».

— Не верят мне. Сомневаются,— отвечал Пауль.— Пошел вот на боевое задание — и неудача. Словно бы виноват. Возьмут ли еще?

— Пойдем вместе,— отвечала Настя. — Я добьюсь, чтобы взяли и тебя и меня на самое опасное задание. Согласен?

— Хоть завтра готов пойти,— соглашался Пауль,— Надоело без дела сидеть. Вроде бы нахлебник, бездель­ник какой. Не могу так, не привык.

Они встречались почти каждый день. Переговорили о многом. Настя все больше и больше проникалась ува­жением к Ноглеру и, слушая его, понимала, что не все немцы поддались дурману фашистского околпачивания. Убедившись в искренности Пауля, Настя готова была пойти с ним хоть куда. А Гурьянов их так и не вызывал, словно позабыл, что существуют разведчики Усачева и Ноглер. Решила, наконец, сама пойти к особисту и высказать все, что думает, напрямки.

Гурьянов усадил ее на лавку, начал сам разговор:

— Понимаю, понимаю, надоело сидеть в бездействии. Но потерпите немножко. Получим инструкции сверху и отправим вашу группу на задание.

— Разговоры идут тут всякие,— начала Настя,— не доверяют Ноглеру. Возможно, и ко мне нет доверия. Прошу внести ясность.

— Зачем так ставить вопрос? — Гурьянов смотрел на нее проницательным взглядом, лицо его было каменным, невозмутимым. — А проверяем всех. Без этого нельзя. Не исключена возможность, что к нам могут заслать вражеских агентов. Да и засылали не раз...

— Но ведь я-то не агент. Меня-то проверили!.. Я готова хоть сейчас на самое опасное задание пойти. Хоть с Ноглером, хоть еще с кем...

— Не кипятитесь, Усачева,— начал успокаивать ее Гурьянов. — И Пауль побывает в

деле не раз. Я верю в него. А что там разговорчики всякие — не обращайте внимания.

— Как же так, не обращать, когда я сама слышала. — И она рассказала ему о том, как у землянки отзывались партизаны о ней и о Ноглере.

— Поговорят и бросят, сказано еще не нами: нечего попусту в плешь колотить,— начал отшучиваться особист. — У ребят нервы не железные. Теряют людей. Потому и подозрительность.

— Но ведь мы тоже люди,— не сдавалась Настя. — Я предлагаю сделать налет на лагерь, что возле деревни Любони. Там советские люди томятся. И подружка моя Светлана Степачева там. Перебить охрану и спасти людей. Ждут нас — не дождутся.

— Об этом подумаем,— пообещал Гурьянов,— но сейчас дела есть поважней. Наша задача — деморализовать тылы противника, вести рельсовую войну, а значит, как можно эффективней помогать фронтам. Вот скоро лед тронется и на Ленинградском, и на Волховском...

— Скорей бы,— сказала Настя. — Народ истомился ожиданием. Бьем фашистов и все никак добить не можем.

— Всему свой срок. Так что потерпите немного, дорогая Настя. Настанет и ваш звездный час.

— Скорей бы,— вздыхала она,— пока сижу за чу­жой спиной. Совесть заела. Покоя нет.

Она почти ежедневно видела, как партизаны уходили на задания. Воевали, били фашистов. А она? Что она? Ест партизанский хлеб и никакой пользы не приносит. Комом в горле застревал этот трудный хлеб. Было стыдно и горько.

Однажды рано утром Настю разбудила Паша Кудряшова. Она дрожащим голосом сообщила, что партизаны захватили в плен немецкого офицера, кажется, эсэсовца, трех солдат и полицая.

— Гурьянов их допрашивает. Может, твои знак**ом**цы попались? Сходила бы, узнала.

У Насти разгорелось любопытство, и она пошла. На улице было свежо и прохладно. Недавно выпал легкий снежок, но партизаны уже понатоптали дорожки. Одна их них вела к землянке Гурьянова. Остановилась у двери, прислушалась. Войти не решалась. Как она могла войти, когда ее не звали? От нетерпения разволнова­лась: хоть приоткрыть бы дверь и посмотреть, что там за «гости».

Из землянки вышел связной Вася Решетов, моло­денький парнишка с веселыми глазами. Он куда-то то­ропился. Настя схватила его за рукав, повернула ли­цом к себе:

— Васек, кого там приволокли?

— Секрет,— ответил Вася, — Улов — дай боже. Дав­но такого не было.

— Может, мои знакомцы?

— Возможно.

— Иди, Васенька, доложи и вернись, скажи, что я здесь.

— А может, без тебя разберутся?

— Чует сердце, что знаю я этих немцев и полицая. Хоть одним бы глазком взглянуть.

— Ну, ладно, доложу. Обожди чуток,— и он скрылся за дверью.

«Пригласят или нет? Возможно, там Синюшихин, волчья морда. За ним давно партизаны охотятся, да ловок, бестия, из каких только сетей не вырывался!»

Дверь открылась, появился Вася и коротко сказал:

— Иди.

Она переступила порог, обжигаемая любопытством. Вошла — и все сразу повернулись к ней. В первую оче­редь она посмотрела на Гурьянова. Он был весел. Рядом на скамейке сидел начальник штаба Говорухин, еще кто-то. И вот она увидела (подумать только!) самого Брунса. Вот уж не ожидала с ним повстречаться в такой обстановке! Брунс стоял и смотрел на нее с любопытством, глаза его округлились и почти не мига­ли. Кроме Брунса тут был Гаврила Синюшихин. Он тоже смотрел на Настю своим единственным глазом, полуоткрыв рот, и что-то хотел сказать, но молчал, ждал своего часа.

— Узнаете? — спросил Гурьянов у Насти.

— Узнаю,— ответила она. — И господина Брунса знаю, и Синюшихина. Они мне давно знакомы. Рада повстречаться. Ну, как самочувствие, господин Брунс?

Лицо фашиста исказилось злобой. О, как ненавидел сейчас он эту русскую — как ловко обвела она его вокруг пальца! — и сожалел, что не уничтожил в свое время. А возможность такая была. Значит, и на самом деле Усачева шпионка. Вельнер, видимо, был прав.

— И вы здесь? — спросил он. — Партизанка...

— Да, здесь, господин Брунс. А где же мне еще быть?

— Я понимаю,— промямлил он еле слышно. — Так и должно быть. Так, так...

— Да, господин Брунс, именно так. Ваша песенка спета.

— Но ведь я вам спас жизнь, Усачева. Только я...

— Спасибо, Брунс. Но я, к сожалению, в данный момент не могу вам помочь. Не могу.

— Я понимаю,— сказал он тихо и уронил голову.

Держался он с достоинством, не просил пощады, ибо знал, что пощады не будет. Когда его допрашивал Гурьянов, он все еще бормотал о непобедимости фаши­стского рейха, о возмездии, но разглагольствования его казались настолько смехотворными и нереальными, что все улыбались, кроме самого Брунса и Синюшихина.

Если Брунс и внешне выглядел подтянуто, и форма на нем сидела все так же подобранно ловко, только китель был несколько помят, то на Синюшихина просто неприятно было глядеть. Ворот расстегнут, полупальто, которое было на нем, вымазано грязью, и вся одежда помята, точно его только что вываляли в луже и не ус­пели переодеть. Руки предательски тряслись, и голова слегка подергивалась. Он не хотел умирать и просил, чтоб его пощадили.

— Я никого не убивал и совсем не виновен. Совер­шенно, поверьте мне... — Голос у него изменился, он словно бы захлебывался словами. — Поверьте, я не ви­новат...

Но ему никто не хотел верить. Все знали о его зло­деяниях, на его совести были десятки замученных людей. Синюшихин уже несколько месяцев назад был приговорен партизанами к смертной казни, и вот только теперь приговор должны были привести в исполнение.

— Как же ты до такой жизни дошел, Синюшихин? — спрашивал у него Гурьянов. — Стал изменником Родины, опасным преступником. Видимо, решил, что Советской власти каюк? Так, что ли? Решил — и просчитался!

— Завербовали. Силком заманили в тенета. Я ни чем не виноват.

— А вот Усачеву тоже хотели заманить, а она не поддалась на приманку.

— Она с этим, с Брунсом, якшалась. Не верьте ей…

«Господи, что он сказал?! — пронеслось в голове у Насти.— Какой негодяй! Мерзавец! Клевещет так подло, так вероломно! Не ожидала такой клеветы даже от Синюшихина. Как он посмел? Как язык у него поворачивается?»

Настолько она была потрясена, что не могла вымол­вить и слова, и поняла, что все смотрят на нее и ждут, что она скажет. А она не могла ничего сказать, не мо­гла вот так сразу отвести от себя эту чудовищную на­праслину. А Синюшихин между тем продолжал:

— И я с ней спал не одну ночь. За буханку хлеба продалась. Она продажная...

Как ненавидела она в этот момент негодяя! Обре­ченный на смерть, он пытается запачкать и ее грязью позора. Нет, этого не будет, она сумеет себя защитить. Сумеет... И, сдерживая гнев, стараясь быть как можно спокойней, сказала:

— Все вы знаете, что Синюшихин — убийца, измен­ник. Да, он действительно приставал ко мне, но разве могла я с ним лечь в постель, товарищи? Разве могла? И как у него язык поворачивается говорить такое!

— А с Брунсом? — выдавил ядовито Синюшихин.

— Так же и с Брунсом,— ответила она. — Но Брунс куда благородней, чем ты, шелудивый оборотень. Он клеветать не стал.

— Он вреть,— сказал по-русски Брунс. — Клеветя, клеветя.

— Вот видите, товарищи, даже Брунс не поверил полицаю. Так что я чиста перед всеми, перед совестью своей.

Синюшихину не поверили, и все же обида давила горло. Ведь надо же, хотел облить грязью, обесчестить. И зачем она пришла сюда? Зачем? Любопытство? Да, она хотела посмотреть на пленников. Хотела. А получи­лось так, что Синюшихин попытался опозорить, грязно запачкать.

Целый день не могла успокоиться. Ходила по лесной тропинке с Паулем, разговаривала с ним, а думала совсем о другом. Ведь как может опуститься человек: стал изменником, обагрил свои руки невинной кровью, да еще на краю своей погибели оклеветал подленько другого.

Пауль заметил, что Настя расстроена, задумчива, отвечала невпопад.

В лесу прохладно и сыро, пахло мокрым снегом. На елках ледяной бисер. Тряхни веточку — и дождик окропит тебя, словно бы прикоснется ласковой рукой. В этом царстве тишины и покоя Насте стало легче думать, нервы успокоились, и она сказала Паулю:

— Прошу тебя, Пауль, почитай стихи Гейне. У него есть хорошие строки.

Он тихим голосом стал декламировать:

Буди барабаном уснувших,

Тревогу без устали бей:

Вперед и вперед подвигайся —

В том тайна премудрости всей.

— Хорошо, Пауль, очень хорошо! — сказала Настя. — Какие слова: «Буди барабаном уснувших»! Словно бы для нас написал Генрих Гейне. И сколько бы ни прошло лет, а стихи поэта будут пробуждать к борьбе и добру.

— Да, именно так,— согласился Пауль. — Настоящая поэзия не умирает. Даже в такие горькие дни она помогает нам. А почему ты грустишь, Настя? — неожиданно спросил он.

— Я была там, в землянке,— ответила она,— видела твоего соотечественника Брунса. Он офицер, фашист, эсэсовец... Его допрашивали.

— И что он сказал на этом допросе?

— Все еще верит в победу немецкого вермахта, но держится достойно, не просит пощады.

— Да, я понимаю,— ответил Пауль. — Понимаю таких людей. Их не исправишь. Они до конца останутся злодеями и погибнут со своим фюрером.

— Там схвачен еще один негодяй. — Настя помедлила и продолжала: — Он русский. Предал свой народ в трудный час, перешел на сторону фашистов, убивал людей, может, детей убивал. Я ненавижу этого человека. Он пытался оклеветать и меня, но просчитался. Ему не поверили. Потому и грустно мне в эти минуты.

— Не принимай все близко к сердцу,— успокаивал ее Пауль. — Клеветник будет наказан. Получит свое. А у нас с тобой впереди дела. Только держат почему-то долго, не посылают никуда. Почему?

— Видимо, срок не пришел. Я готова в любую минуту,— ответила Настя. — Готова пойти с тобой, Пауль, с Пашей Кудряшовой, пойти на любое задание. И не боюсь смерти. Ты веришь мне?

— Верю,— ответил он. — И навсегда.

Она посмотрела на него внимательно, подумала и добавила:

— Мы пойдем, Пауль. Обязательно своей дорогой пойдем. С открытым сердцем. И докажем каждому, что верны своему идеалу до конца.

Словно бы клятву дали они друг другу, и с этого момента Настя поняла, что судьба ее, очень нелегкая, будет неразрывно связана с немцем Паулем Ноглером.

**Глава шестнадцатая**

Через три дня, в субботний полдень, Настю Усачеву вызвал начальник особого отдела Гурьянов. Вошла в землянку, остановилась у порога, точно слепая. В землянке сквозь маленькое оконце еле пробивался слабый лучик света, и Настя в первые секунды не могла ничего рассмотреть в непривычной обстановке — в помещении было полутемно. И только через минуту она разглядела Гурьянова, очертания его фигуры теперь проступали ярко и отчетливо: лицо, руки, спокойно лежа­щие на столе, и весь он показался необычайно спокойным и обыкновенным.

— Садитесь, Усачева,— пригласил он, и Настя села на лавку в предчувствии чего-то необычного.

Что скажет Гурьянов, зачем вызвал? Наверное, пришел тот звездный час и для нее, для Пауля Ноглера, для Паши Кудряшовой.

— Я вот по какому делу,— начал Гурьянов не торо­пясь, спокойным голосом. — Сегодня ночью сбежал из-под стражи и неведомо где скрывается полицай Синюшихин.

— Сбежал? Почему сбежал? — Настя привстала со скамейки. Она была ошарашена этой новостью.

— Часовой проворонил... Задремал на посту. А Синюшихин выломал крышу и... был таков.

— Что же делать теперь?! — Настя была подавлена — Что делать?

Она ненавидела Синюшихина. И вот на тебе — сбежал… Настя ждала, что скажет Гурьянов, а он молчал, спокойно курил, однако она заметила, что рука его ле­жала на столе неспокойно — слегка вздрагивала, и дымок от цигарки волнисто покачивался и таял в полусумракепотолка. Настя поняла, что и начальник особого отдела волнуется и, возможно, не знает, что делать и как ей ответить. Наконец он сказал:

— Синюшихина расстрелять должны были утром, на рассвете...

— Сегодня?

— Да, сегодня.

— И что же теперь?

— Приговор надо привести в исполнение, хотя и с опозданием, но надо непременно. И ты должна нам помочь, Настя, должна. Ты ведь опытная разведчица. Пошлем тебя с надежным человеком, чтобы выследить негодяя. Найти и... — Он не договорил, смотрел и ждал, что она скажет.

— А кто этот человек, с которым я должна пойти? — спросила она. — Не Пауль Ноглер?

— Нет-нет, не он, совсем другой человек.

— А кто же?

— Афиноген Чакак. Знаком он тебе?

— Немного знаю. Это кучерявый такой? Чуваш?

— Вот с ним и пойдешь. Сегодня же. Пойдете сначала в Нечаевку. Может, он, Синюшихин, прячется у матери. Чакак проинструктирован и знает, что делать.

Афиноген Чакак встретил ее у выхода из землянки. Он стоял перед Настей точно изваяние, настоящий витязь из сказки, кряжистый, ладный, глядел на нее озорно и весело. Из-под шапки-кубанки выбивались густые каштановые кудри, лицо скуластое, доброе, располагающее. «Такой не подведет,— подумала Настя,— видно сразу — смелый и решительный». Чакак протянул широкую ладонь, и пожатие руки было таким крепким, что она чуть не вскрикнула.

— Будем знакомы,— сказал он немножко картавым гортанным голосом. — Хотя уж знакомы мал-мальски. Афиногеном меня звать. А фамилия — Чакак.

— Настя,— ответила она, — Значит, в путь-дорожку дальнюю?

— Да, пойдем, Настя, выполнять задание. Поведешь, куда надо, а я уж там сработаю как положено. Со мной не бойся, я удачливый.

Настя посмотрела на Афиногена и снова подумала: «Да, с таким отчаянным парнем не

страшно пойти хоть куда, такой и в огне не сгорит, и в воде не утонет». Чакак известен был в партизанской бригаде как неустрашимый разведчик и подрывник, человек хладнокровный, отчаянный и, что самое главное, надежный. Бывали случаи — раненых выносил на спине из самых опасных мест, спасал в любых условиях.

В тот же день Чакак и Настя вышли из партизанского лагеря, шли по проселочной дороге и молчали. Настя горела нетерпением: хотелось спросить, как Афиноген попал к партизанам, какие пути привели его в эти края. Хотела расспросить и не решалась, но Чакак сам начал рассказывать о себе. Говорил он тихо, взмахивая правой рукой, и русские слова в его горле словно бы булькали и переливались.

— Из Чувашии я родом-то. Есть такое село под названием Юнга, недалеко от Волги. Большая деревня. Домов пятьсот. Вот там и родился, там и рос.

— А как сюда попал, в партизаны?

— Известное дело как. Призвали в армию перед самой войной. Служил в Прибалтике. В начале войны оказался в окружении, в тылу у немцев. Вот и попал партизаны. Лесные стежки-дорожки привели. А ты, Настя, как?

— Я здешняя. Из Большого Городца я.

— Бывал в Городце,— сказал Чакак. — Это колхоз там у вас подпольный, и председателя, что хлеб припрятал, фашисты сожгли.

— Откуда ты все это знаешь?

— Бывал, вот и знаю. Ночевал в Городце. Раза два или три, когда в разведку ходил...

— У кого ж ночевал? Не у матушки ли моей?

— А как величают мамашу?

— Екатерина Спиридоновна.

— Был раз и у ней. Картошкой разваристой угощала. Добрая у тебя мать.

— Так у матери, значит? Когда?

— Месяца два назад. Еще теплынь была, август отцветал.

— Значит, у матушки? Господи! Жива, значит. Давно я ее не видала.

— Пройдем в Городец. Нагрянем нежданно-негаданно, на блины. Спроведаем мамашу. Разузнаем, что там и как. Синюшихин-то из какой деревни? Уж не из вашей ли?

— Нет, из соседней, из Нечаевки. Туда и направил нас Гурьянов.

— Погостим мал-мальски у матери. Отогреемся. А потом и в Нечаевку. Ты думаешь, там он, полицай-то?

— Возможно, и там. А может, в какой другой деревне или в самом райцентре, докладывает начальству, как к партизанам попал. А сейчас в Городец пойдем. Может,  
там что разузнаем.

Настя очень хотела навестить мать и маленького Федю, побывать в Большом Городце. Ведь так долго она не виделась с матерью. Времечко-то страшное. Фашисты да синюшихины, разные там христопродавцы по деревням рыскают, злобствуют. И сама она побывала в лапах гестапо. Чудом спаслась, точно в сорочке родилась.

Шли они до Большого Городца почти сутки. Настя хорошо знала дорогу, пробирались по окрайкам опушек от деревни к деревне. В Городец пришли когда уже стемнело, в деревенских окнах кой-где мерцали тусклые огоньки. Значит, жила деревня, и это обрадовало Настю. Она заметила огонек в окнах своего дома и с облегчением вздохнула: огонек мерцает — значит, и мать жива, ждет небось дочь-затеряху, не дождется.

Спиридоновна так разволновалась, увидев на пороге непредвиденных пришельцев, что не могла вымолвить и слова. Ведь надо же, дочь Настенька, словно с неба свалилась, воскресла из мертвых. Вот стоит перед матерью живая и невредимая, и не одна, а с парнем.

— Настя, Настенька! — наконец, придя в себя, закричала Спиридоновна.— Уж ждала-то я тебя так долго-долго. И ждать-то устала. И всего-то надумалась.

Чакак стоял и смотрел, как Настя обнимает старенькую мать, стоял, будто бы чужой в

этом доме, совеем посторонний, лишний здесь человек. Он хотел было повернуться и

выйти, но что-то удерживало его, и он ждал.

Настя спросила у матери:

— А Феденька где?

— Спит в боковушке. Пускай спит, не буди.

Настя разговаривала с матерью отрывисто и сбивчиво, волнение в эти минуты переполняло ее — она была несказанно рада, что встретились. Потом вдруг спохватилась, подбежала к Афиногену, повела его в передний угол, посадила на самое почетное место. Спиридоновна глядела на пришельца: кто он такой, откуда? Потом узнала, заулыбалась.

— Ты ночевал у меня — вот и вспомнила. Знакомый чуток. Бедовуху за собой не принесли? — спросила она у Насти.

— Не бойся, мама,— сказала Настя.— Афиноген свой человек. Партизан.

— Теперь времечко такое — каждого бойся.— Спиридоновна заохала: — О-хо-хоюшки! Без опаски в такое лихолетье и жить нельзя. Вон народу-то сколько сгубили, покалечили!

— Так то фашисты,— сказала Настя.— А мы еще живы и будем жить.

— Живи да оглядывайся.— Спиридоновна взяла в руки ухват, подошла к печке, начала доставать чугунок.— Знамо дело, что они бедовуху принесли, но ведь лучше подальше от них, от супостатов этих. Точно волки голодные рыскают по деревням, хватают людей. Лучше не трогать их. Глядишь — и сбережешь себя. Спасешься.

— Неверно ты говоришь, тетя Катя,— начал возра­жать Афиноген.— Не согласен я с тобой. Фашистов бить надо, чтоб скорей убрались восвояси. Разобьем, прого­ним, и жизнь опять пойдет как по маслу.

— Пойти она пойдет,— еще сердито перечила Спи­ридоновна,— для тех пойдет, кто живой останется. А ес­ли ктонедоживет? Как тут быть?

— На то она и война,— сказал Афиноген.— А раз война, все мы рискуем — и я, и Настя... Ради победы рискуем. А ради победы и умереть не страшно.

— Ишь прыткий какой! — вскипятилась тетя Катя.— Ты вот лучше за стол садись. Бери ложку да щи по­хлебай. Щи без мяса да без хлебушка. Уж не прогне­вайтесь, гости. Дорога-то была небось длинная. Прого­лодался, сынок?

— Что верно, то верно, мамаша,— согласился Ча­как.— Поесть не откажусь. А сухарики-то у нас свои есть. Ну-ка, Настя, выкладывай.

Настя достала из вещмешка сухари, положила на стол, селарядом с Афиногеном. Спиридоновна налила щей, и они ели с отменным аппетитом — и на самом деле проголодались изрядно. Когда поели, Настя спросила у Афиногена:

— Чакак — интересная фамилия. Чакак, ча-как... Чтозначит слово — Чакак?

— Чакак — это сорока по-чувашски. Значит, и фа­милия у меня простая — Сорокин. По-чувашски — Чакак, по-русски — Сорокин.

— Чак-чак, ча-как — интересно звучит. Это значит — сорока чекочет: ча-че, ча-че, ча-че...

Афиноген засмеялся:

— Настя, ты очень точно подметила. Моя фамилия действительно на сорочье чекотанье похожа. Таких схожестей много в нашем языке.

— Значит, язык чувашский — богатый по различ­им своим оттенкам и звукам,— сказала Настя.— Скажи-ка несколько фраз по-чувашски.

Афиногенначал говорить по-чувашски, а Настя и Спиридоновна слушали и ничего не понимали.

— Ну, поняли что-нибудь? — спросил Афиноген.— Я уже и сам стал забывать свой язык. Четыре года по-чувашски ни с кем не разговаривал. Только сам с собой, шепотом. Стихи чувашских поэтов про себя частенько повторяю, чтоб не забыть. Самый знаменитый у нас поэт — Константин Иванов. Написал поэму «Нарспи», когда ему еще и семнадцати не было.

— А что такое «Нарспи»?

— Девушку так звали. Сосватать ее решили за нелюбимого, а она любила другого. Хотите, прочитаю по-русски из этой поэмы?

— Интересно бы послушать,— сказала Настя.

Афиноген начал читать:

Месяц март уж на исходе,

Греет солнышко. Тепло...

Окружило половодье

Все чувашское село.

Почернели прежде взгорья,

После снег с полей сошел,

В зеленеющем уборе

Заиграл под солнцем дол.

Стихи, такие простые и безыскусные, западали вду­шу, волновали. Она начала расспрашивать, кто такой поэт Константин Иванов, когда жил.

— Умер до революции, двадцати пяти лет.

— О господи, как мало жил! Почти так же, как и Лермонтов. А сколько бы мог еще написать!

Чакак начал рассказывать Насте о своей матери.

— А жива мать-то? — спросила Спиридоновна.

— Нет, умерла,— ответил Чакак.— И отец рано умер. Грамотный был, а дедушка вот жив. И две сестры у меня — Роза и Валентина.

— Такие же, поди, как Нарспи?

— А вот уж не знаю, не мне судить, но хорошие и добрые.

На другой день Настя проснулась рано, наскоро умылась, привела себя в порядок и заглянула в боковушку, где спал маленький Федор. Он проснулся, как только вошла Настя, глазенки спросонья уставились с удивлением на нее. Настя заулыбалась, подбежала к кровати, спросила:

— Что, не узнал, Феденька? Это я, проведать тебя пришла...

Он смотрел на нее с удивлением и тихо, слабеньким голоском произнес:

— Мама...

— Узнал, родненький... Как живешь-то у бабушки?

— Хорошо

— Ну, вот и преотлично, мой мальчик.— Она села кровать, приподняла Федю на руки — он все еще был легкий, словно бы невесомый. Видать, харчишки у матери не ахти какие: картошка да капуста, не всегда с хлебом, но и то ладно. Жить можно. Вот окончится война — тогда все пойдет на поправку, всего будет вдосталь: булки, и конфеты появятся... А сейчас вот она, Настя, даже гостинчика не принесла. Неоткуда взять — ведь нет ничего, одна бедовуха да корочка хлеба.

В Нечаевку Настя и Афиноген отправились, когда уже на мокрую от дождя землю пала густая осенняя сумеречь. Настя шла впереди, а за ней — Чакак, шаги его — тихие и осторожные. Она слышала эти шаги, слышала, как он дышал ей в затылок, тяжело и с присвистом, потому что у него побаливало горло — пил хо­лодную воду и застудил. Когда подошли к деревне, уже стемнело. Остановились у крайней разворотни. Здесь как раз и жила Синюшихина — мать полицая. В окнах слабо мерцал огонек.

Настя подошла к окну и замерла от неожиданности: в доме за столом сидел Гаврила, сидел один. «Вот и хо­рошо,— подумала Настя,— если Синюшихин один, то и взять его будет легче, без посторонних глаз».

— Вроде один,— сказала, подойдя к Афиногену,— матери нет.

— Значит, попал в ловушку.— Настя заметила, как в темноте заблестели глаза у Афиногена. Он даже скрипнул зубами.— Чего ждать? Надо брать его теп­леньким...

Чакак подошел к двери и начал стучать. Громко крикнул:

— Открой!

— Кто там? — послышалось из-за двери.

— Свои!

— А кто свои? Кто такие?

— Из полицейской управы,— уточнил Чакак.— Срочно вызывают тебя, Гаврила. По важному делу.

— По какому такому важному? Больной я. Не могу явиться.

— Ну, открой! Объяснишь, что там и как.

Синюшихин не открывал, видимо, почувствовал что-то неладное, боялся.

— Не откроешь — хуже для тебя,— припугнул его Чакак.— Как дезертира расстреляют.

За дверью щелкнул крючок, и дверь распахнулась. Синюшихин попятился, глаза его округлились. Увидев Настю, он сразу понял, что это конец, что пришло возмездие. Стал умолять:

— Не виноват я. Пожалейте, христа ради. Не виноват. Простите!

Он упал на колени, спина его тряслась не то от рыданий, не то от страха. Настя с брезгливостью глядела на Синюшихина, приосмотрелась: в избе было полутемно, на столе чадила коптилка, в переднем углу почерневшие образа, большая печь, на шестке — закоптелые чугунки и кринки. Пахло кислыми щами, сивушный дурманом, затхлой овчиной. На столе — недопитая бутыль самогона, фарфоровая чашка, недоеденный огурец, ломоть черного хлеба. Дышать было тяжело. Едва привыкнув к спертому воздуху, она спросила:

— А мать где?

— Мамаша? Она к Цыганковым ушла,— ответил плаксиво полицай. — Сейчас вернется. А что со мной?

— Отведем куда следует,— ответил Афиноген. — Сбежал-то откуда?

— От партизан.

— Так вот к партизанам опять и отправим.

— Зачем? Я не хочу. Не хочу!

Синюшихин опять бросился в ноги Афиногену, затрясся в конвульсиях, зарыдал.

— Отпустите, ради бога! Простите! Настя, прости! — Он смотрел на Настю умоляюще, увидев пистолет в ее руке, сник.

— Вставай, пошли,— приказал ему Чакак. — Одевайся, нам ждать некогда.

— А куда пойдем-то? — снова спросил полицай и начал поспешно напяливать на плечи мундир.

Одевшись, он покорно вышел в сени. Оказавшись на улице, бросился бежать. Настя, вскинув пистолет, устремилась за беглецом. .

— Стой! Стой! — закричала она. — Стрелять буду! Остановись, гадюка!

Спина Синюшихина еле различалась в полутьме, он бежал и, словно бы ныряя,

спотыкался. Настя еле поспевала за ним и страшно боялась потерять его из виду. Потом выстрелила из пистолета. Попала в него или нет, она не знала, а сама споткнулась и распростерлась плашмя на сырой земле. И в этот момент мимо нее вихрем промчался Чакак. Он стрелял на ходу и кричал:

— Остановись, гад! Все равно не уйдешь! Не уйдешь, предатель!

Потом он, видимо, догнал Синюшихина, послышался еще выстрел — и все затихло, замерло, оцепенело.

Чакак вернулся, когда она уже поднялась, чувствуя острую боль в правой ноге: падая, ударилась о что-то твердое.

Чакак тяжело дышал и, поддерживая Настю за руку, спрашивал:

— Не сломала ногу?

— Нет, нет, только ушиблась. А он там как? Синюшихин?

— Именем закона и народа приговор приведен в исполнение. С негодяем покончено,— сказал он просто, так просто и обыденно, как будто бы ничего и не случилось.

Стояла мертвая тишина, черная и тягучая. Настя с облегчением вздохнула, словно сбросила тяжкий груз, но сердце стучало громко и тревожно, звало куда-то. Хотелось поскорей уйти от этой захолустной деревеньки Нечаевки, уйти к своим...

— Пойдем,— сказала она Афиногену и взяла его за руку.

Он покорно зашагал рядом. Над землей висела гу­стая и влажная темень, почти ничего не было видно, на­крапывал мелкий холодный дождь.

**Глава семнадцатая**

Наконец пришло предписание свыше отправить груп­пу Усачевой по определенному маршруту и с определен­ным заданием. Настя получила соответствующие инст­рукции, и разведчики двинулись в путь. Шли пешком до деревни Глебово, километров пятнадцать. Пауль нес радиостанцию, Настя и Паня шли следом, часто отды­хали, а когда пришли в деревню, там для них была уже подготовлена подвода. Радиостанцию уложили на сани, прикрыли сеном и в тот же день двинулись снова в путь.

Снежок выпал неделю назад, слегка подмораживало, лошадка бежала не очень ходко, а когда переходила на шаг, Настя соскакивала с дровней и шла позади пешком. Пауль тоже шел рядом, хлопал ладошкой Настю спине, подбадривал:

— Так-так, невеста, пойдем на самый край света. А там, глядишь, обвенчаемся. Муж и жена — согласна на это?

— Согласна,— отшучивалась Настя. — Как говорят: кто жить не умел, того помирать не выучишь.

— Смерть от нас в сторонку уйдет, и мы еще долго жить будем. Очень долго... Так что,

Настя, будь веселой. Впереди счастливая дорога, и длинная-предлинная.

— Ой ли, Пауль, твоими бы устами да мед пить. Дай бог нам удачи. А дорога все же разухабистая.

Путь и на самом деле предстоял опасный. Они понимали, что могут возникнуть рискованные ситуации: остановит патруль, начнется проверка документов. И что самое страшное — начнут обыскивать подводу. Ведь под сеном на санях — радиостанция. Обнаружат — что тогда? Провал.

И все же Настя надеялась, что этого не случится, — она и Пауль отлично говорят по-немецки, так что с любым патрулем можно свободно объясниться. Сама она теперь — Анна Мюллер, немка по происхождению. Пауль — жених. Куда едут? Известно куда — к родственникам в Латвию, там у Анны проживает тетя. Версия была продумана до мельчайших подробностей.

В первый день их останавливали только два раза, все сходило благополучно, Настя

отшучивалась, а Пауль серьезным тоном вставлял нужную реплику. Докумен­ты у них — носа не подточишь. Гурьянов постарался.

Ночевали в глухой деревушке и на другой день дол­жны были двинуться дальше. Подъехали к железнодо­рожному полотну — у шлагбаума скопилось подвод пять или шесть. Настя насторожилась: переднюю подводу обыскивали. Она еле слышно предупредила своих:

— Готовьте, друзья, оружие. Назад пути нет. — И, просунув руку в потайной карман, потрогала дуло пистолета.

Минуты тянулись томительно долго. Пауль, держа вожжи в правой руке, соскочил с телеги и пристально всматривался, что делается впереди. Там шла тщательная проверка первой подводы, другие ждали своей очереди.

Наконец очередь дошла и до них.

— Что везете? — спросил патрульный. Рядом с ним стоял немолодой лейтенант, наблюдал за проверкой

— Сами себя везем,— ответила Настя по-немецки, — да вот сено коню под хвост.

Часовой опешил, услышав немецкую речь. Он незнал, по всей видимости, что ответить, и ждал приказаний лейтенанта. Тот подошел к подводе и, пристально глядя на Настю, спросил в свою очередь:

— Кто такая? Почему хорошо говоришь по-немецки?

— Я немка, Анна Мюллер, а это мой жених — Пауль Ноглер.

— Что, он тоже немец? А не партизан, одетый в не­мецкую форму?

— Нет, я солдат немецкой армии,— ответил Пауль,— лежал в госпитале. Сейчас еду в Латвию с невестой Анной. Вот мои документы,— и он показал их лейтенанту.

Офицер вертел их в озябших руках так и этак и, вернув Паулю, потребовал документы Насти, а затем Кудряшовой. Опять долго просматривал и, убедившись, что документы не поддельные, вернул их законным вла­дельцам. Весело заулыбался, подошел к Паулю, хлоп­нул его ладонью по спине, сказал:

— Красива, солдат, невеста! Где такую прихватил?

— Это секрет, господин лейтенант,— сказал Пауль. — Боюсь потерять, если снова пошлют на фронт.

Лейтенант засмеялся и махнул рукой:

— Доброго пути. Валяй...

И они поехали. У Насти отлегло от сердца, будто бы она вырвалась на простор из дремучего леса, стало легко и радостно на душе. «Пронесло!.. — пело у нее в голове, звенело колокольчиком, переливалось малино­вым перезвоном... — Прекрасно! Теперь я немка, неве­ста солдата немецкого вермахта. Облапошили часовых так ловко и складно, что даже не верится. Поверили и отпустили...»

До Аксатихи добрались на третий день. Тут жила знакомая Пани подпольщица Дуся Скворцова. Приеха­ли поздно вечером. Паня постучала в окно Скворцовым. Дуся была дома. Все обошлось как нельзя лучше. Ра­ция была спрятана на чердаке. Настя и Пауль должны были передохнуть немного и двинуться в путь дальше, а Паня останется здесь, в Аксатихе, до тех пор, пока не поступит распоряжение сверху о передислокации узла связи.

Дуся Скворцова жила с матерью Прасковьей Ва­сильевной. Сыновья тети Паши воевали на фронтах. Муж ушел в партизаны. Хлебосольная хозяйка наварила картошки, достала из подызбицы огурцов, и пир получился на славу. Огурцы вкусненько похрустывали на зубах у Насти, картошка была горячей, она обжигалась, ела с таким аппетитом, точно прилетела с голодного острова. Понравилась картошка и Паулю, он ел и по­хваливал хозяйку, а когда закончили ужинать, все расселись по скамейкам и разговор пошел о всякой всячине. Пауль уже довольно сносно говорил по-русски, но с большим акцентом, иные слова получались не совсем удачно, и, коверкая их, он неуклюже шутил, потом правой рукой ловко откинул волосы на высокий лоб, подбежал к печке, достал уголь, подрисовал усы, выпучил глаза — и перевоплотился в Гитлера:

— Я, только я... Уничтожу всех, оставлю себя да в придачу Геббельса, Гиммлера и Геринга. Все мы на букву «Г». Останемся вчетвером и будем родоначальниками новой арийской расы. О нет! Пускай лучше Геббельс, Гиммлер и Геринг подохнут. Останусь только я — Адольф Гитлер. Я, Адам, и моя подруга Ева, а Геббельса — в пропасть. Заврался, бестия, что дальше ехать некуда. Вот так...

Слова Пауля переводила Настя, и все умирали со смеху, Паня чуть не упала со стула, смеялась и Прасковья Васильевна, крестясь и охая:

— Ох, батюшки, ну и Гитлер! Настоящий шут, да не простой, а гороховый...

А Пауль продолжал играть, и так ловко, так складно, что казалось, вот-вот бесноватый фюрер подохнет от злости.

— Сам бы Гитлер посмотрел, как его высмеивает солдат немецкого вермахта,— сказала Дуся Скворцова. — Вот потеха-то была бы!

— Я теперь не солдат вермахта,— сказал Пауль и сразу стал серьезным, стер усики, причесал волосы и стал уже не Гитлером, а Паулем Ноглером, симпатичным парнем. — Я антифашист и веду войну против фашистов за новую Германию. Я немец, но с Гитлером и его кликой у меня нет ничего общего, у нас совершенно разные пути.

Настя перевела эти слова на русский, и все сразу стали серьезными, смотрели на немца с уважением, особенно Прасковья Васильевна. «Ведь надо же, немец против немца пошел,— думала она. — Значит, и на самом деле скоро каюк этому сумасшедшему сумасброду, который обманул свой народ, развязал войну и сколько погубил людей». Она впервые видела такого немца, все смотрела на него влажными от слез глазами и теперь уже верила, что скоро конец этой проклятой войне, что скоро придет освобождение.

На другой день Настя с Паулем распрощались с гостеприимными хозяевами, вышли на большак и проголосовали первому грузовику, водитель-немец остановил машину, спросил:

— Куда?

Пауль сказал куда, и разведчики через полчаса были на месте. Пауль оставил Настю на опушке леса, а сам пошел незаметной тропкой к цели. Местоположение аэродрома было установлено, самолеты выявлены. Настя с Паулем помчались опять на попутке в Аксатиху. В тот же день по рации Паня передала в штаб Крас­ой Армии важное сообщение.

Аэродром бомбили на следующее утро. Настя с Паулем были неподалеку. Над лесом поднимались всполо­хи взрывов, земля гудела под ногами. Настя смотрела на это столпотворение, и ликующий восторг переполнял ее. Вот оно, возмездие! Вот оно! Получайте сполна!

Земля вздрагивала, с оголенных деревьев срыва­лись хлопья снега и беззвучно падали на холодную зем­лю. А когда прекратились взрывы, над лесом показа­лось солнце, и золото лучей рассыпалось веером по ство­лам берез и сосен, по макушкам кустарников. Живительными искрами звенел зимний день, и казалось, что война унеслась со всеми своими ужасами куда-то дале­ко, в безбрежную даль уже других полей и лесов.

— Тишина какая,— сказала Настя, подойдя к Пау­лю,— как будто бы и нет войны, прогромыхало там, за лесом, и исчезло где-то совсем далеко, словно этот про­клятый аэродром провалился сквозь землю.

— Аэродром разбит, но они его начнут восстанав­ливать. — Пауль был серьезен, говорил тихо, словно ни­чего не случилось.

— Но ведь мы же разбомбили их! Мы, мы! Что же ты не радуешься, Пауль? Надо плясать и кричать... Надо!

— Аэродром разбит,— проговорил он спокойно,— но это только начало. Мы с тобой, Настя, еще не все сде­лали. Далеко не все.

— Но начало-то хорошее, Пауль. — Она начала кру­титься, восклицая:— Молодцы мы!

Молодцы! Сюрприз Гитлеру преподнесли. Пускай подавится... Пускай сдохнет от злобы...

Пускай...

Потом они вели разведку уже каждый в отдельности. Пауль ушел к фронтовой полосе. Он собирал очень ценные сведения о расположении главных линий обороны, изучал огневые пункты передовых позиций. Все эти данные необходимы были советским фронтам. А Настя узнавала, где расположены аэродромы и какие бази­руются самолеты на них, где установлены зенитные батареи, раздобыла данные о гарнизонах, наблюдала за дорогами. Она видела, как движутся к фронтам танки, пехота, тяжелые пушки и гаубицы: острый глаз ее по**­д**мечал решительно все, она все запоминала, все откладывала в памяти. За месяц с небольшим группа Усачевой передала советскому командованию много ценных сведений. Настю и Пауля наградили орденами Красной Звезды, а Паню Кудряшову — медалью «За отвагу».

Приняв радиотелеграмму о награждении, Паня стала с нетерпением ждать Настю и Пауля: они были в «командировке». Такая радость! Работа получила высокую оценку.

Потом Паня приняла радиотелеграмму уже другого содержания: они должны были срочно перебазироваться в район Пскова — Насте и Паулю предложено было устроиться в самом городе, а Пане — недалеко от Пскова.

И снова надо было собираться в путь. Зима набира­ла силу — навалило снегу, потом ударили морозы, ядре­ные, иногда настолько крепкие, что в лесу раздавались трескучие гулы, словно одиночные выстрелы из орудий. Опять не без труда была найдена старенькая лошаденка, ее запрягли в сани, и разведчики двинулись в путь. А путь был нелегкий, очень опасный: ведь под сеном запрятан ящик с передатчиком. Но и на этот раз все обошлось: выручали Пауль и Настя, они умело объяс­нялись с немцами, которые попадались на пути.

Через три дня разведчики достигли своей цели и с облегчением вздохнули: Паня была устроена недалеко, в маленькой деревушке у надежных людей. Псков был уже прифронтовым городом. Здесь было людно, по улицам маршировали солдаты и проносились автомашиныи мотоциклы. Во всем чувствовалась нервозность: немцы куда-то спешили, суетились, будто кто-то их подгонял, и в этой суетливости чувствовалась обреченность. Всего несколько дней назад войска Ленинградского фронта окончательно прорвали блокаду и двинулись в наступление. Фашисты пытались скрыть эти провалы на фронтах от местного населения, но жители Пскова и деревень уже знали о победоносном наступлении войск.

Настя и Пауль устроились у надежных людей, документы у них были безупречными, главное — рацию укрыли как следует и Паня находилась в относительной безопасности. Настя решила устраиваться на работу, пошла на биржу труда и предложила там свои услуги, заявив, что хорошо знает немецкий язык. Пообещали устроить.

Пауля переодели в гражданскую форму, документы были припасены и на этот случай. Теперь он был уже не Пауль Ноглер, а Освальд Вебер — эстонец по нацио­нальности. С этими документами он довольно быстро устроился на железнодорожной станции. Работал слеса­рем, и от опытного глаза разведчика ничто не ускольза­ло. И что особенно важно — Пауль следил за движением поездов, куда и когда они отправлялись, что везли — все это фиксировал в памяти, а уже вечером подводи­лись итоги всем наблюдениям и разведывательные данные отправлялись по назначению.

Настя завела знакомства с немецкими офицерами, ходила в казино, принимала ухаживания, и ее уже зна­ли как русскую немку и везде принимали как свою. А жила она в деревянном домике у коренных пскови­чей,— хозяин Корней Ксенофонтович Поздняев, уже по­жилой и дородный, сапожничал на дому. К нему при­ходили заказчики, зачастую связные подполья, и Настя с Паулем передавали через них для Пани нужные све­дения, которые шли затем в эфир, туда, за линию фрон­та, к своим.

Жена Поздняева, Акулина Николаевна, хлопотала по хозяйству. Недели через две она так привыкла к но­вой квартирантке, что считала ее чуть ли не родствен­ницей.

— Так, говоришь, погиб муж-то? — спрашивала На­стю Акулина Николаевна. — Любила небось?

— Любила,— отвечала Настя. — Любил и он меня. Очень любил...

— Такую, как ты, всякий полюбит. Красавица ты, Настя. Пригожая, точно на иконе писаная. Вот сыновья мои — все холостяки, если вернутся — невестой будешь. Нам бы такую невестку... Но вернутся ли?

Акулина Николаевна грустила, иногда плакала: не знала, где сейчас сыновья и живы ли.

— У меня уже есть жених,— отвечала Настя. — И человек хороший, и со мной рядом ходит.

— Уж не немец ли этот? — с тревогой посмотрела Акулина Николаевна на Настю, словно бы испугалась этой своей догадки. — Ведь он же немец!

— И немцы всякие бывают,— ответила спокойно Настя. — А Пауль чем не жених?

— Так ты что, влюбилась в него?

— И сама не знаю. Нравится он мне.

— Эх, Настя, Настя! И к чему тебе этот немец? Хоть он и за нас теперь, отвернулся от Гитлера, но все же вроде бы не наш. Чужой он, Настя! Ох, чужой! За­кончится война, и уедет в свою Германию, у него небось невеста там. Ждет его. А ты что? Нужна ему, что будешь?

— Нужна, не нужна... А если у нас любовь? Если люблю я его, Акулина Николаевна? Люблю — и куда теперь денешься? Может, судьба это моя?

— Но ведь не русский он. Чужеземец. Увезет в разбитую Германию, а душа твоя по родине страдать будет. Измаешься, истоскуешься. Или он здесь будет жить, в России?

— Ничего я еще не знаю, Акулина Николаевна. Ничего-то, ничегошеньки. Война полыхает жарким, смертельным пламенем. А что с нами будет? Останемся ли живы?

— Вот то-то и оно, дорогая моя. Что с нами-то будет — одному богу известно. А может быть, и он, всезнающий и всевидящий, ничего не знает. Однако ты с этим немцем будь осторожней. Хоть и считают вас женихом и невестой, но ты, Настенька, в свою родную сторону гляди. Та сторона — чужая, а тут у нас — своя. И жених тебе отыщется в своей стороне. Обожди моих сынков. Может, живы останутся. Теперь уж недолго ждать. Новгород освободили, и Псков скоро советским будет. Тогда и мои сыны объявятся. Сердечко чует, что живы они.

А Ксенофонтыч вел разговоры с Настей другого порядка: секретничал с ней в боковушке, садился степен­но на лавочку, поглаживал бородку и, приподняв очки, внимательно смотрел Насте в глаза. Однажды он сказал:

— Ты вот что, дочка, запомни и передай туда, куда надо. У деревни Першово скопление немцев большое. Человек триста и танки — штук сорок. Куда они двинутся, пока неизвестно. И в городе объявилась новая часть. Тоже, видать, к фронту ее двинут. А фронт у них трещит по всем швам.

— А ведь скоро теперь, Ксенофонтыч, скоро освободят и Псков? — спросила Настя и, затаив дыхание, ждала ответа.

Ксенофонтыч молчал, размышлял о чем-то, томил Настю своим молчанием, шамкал

губами, смотрел на нее словно бы отчужденно. Затем свернул самокрутку, прикурил, затянувшись, долго кашлял и, погладив седую бородку, сказал:

— Скоро, скоро, Настя, но эта скорость будет длинная и жестокая. Томительная скорость. Не хочет отступать вражина. Огрызается. Зубы клыкастые, кусачие. Много еще погибнет людей, ой как много!

— Но теперь-то уж легче. Мы наступаем,— стала сражать старику Настя. — На нашу улицу пришел праздник. Ведь так, Ксенофонтыч?

—- Так-то оно так, но расслабляться рановато. Помогать надо фронту. Всем, чем можно. И здесь вот. Везде должны быть наши глаза, внимательные и всевидящие.

Он опять замолчал, и Настя подумала о Ксенофонтыче уже с такой любовью, с таким уважением, что не могла сдержать своего порыва, обняла старика, поцеловала в щеку:

— Спасибо тебе, Ксенофонтыч, огромное спасибо!

— За что спасибо-то? — спросил он, и снова лицо его посуровело.

— За все,— ответила Настя. — Если б не ты, Ксе­нофонтыч, пропали бы мы — и Пауль, и Паня, и я...

— Ну, и тебе спасибо, дорогуша. Спасибо на добром слове. Останемся живы — отметим победу. Обязательно, Настя, отметим. По чарочке выпьем. Уж так и быть. У меня бутылочка припрятана в подвале. Пускай лежит до победного дня.

Настя прочно вживалась в местную жизнь. Немецкие офицеры наперебой ухаживали за ней, приглашали на пирушки и весело болтали обо всем. Она узнавала все новые и новые данные о перебросках войск, помо­гли Ксенофонтыч, Пауль, и дело шло, как по конвейеру, без остановки. И только Акулина Николаевна чаще всех была встревоженной: она не участвовала в этой тайной работе, но сердцем своим чувствовала, что муж, Настя, Пауль и другие знакомые и незнакомые ей люди спаяны одной какой-то неведомой клятвой, соединены единой цепью и шагают над пропастью, а куда они идут — она только смутно догадывалась.

В минуты смятения и тревоги она с опаской смотрела на постояльцев и в душе таила одну только мысль — скорей бы снялись с квартиры: недалеко до беды. А с другой стороны, она и гордилась тем, что муж ее помогает фронту, помогает, может, сыновьям своим, которые где-то там, на фронтах, уже теснят ненавистного врага. И вдруг вот откроется дверь — на пороге появится старший Семен, затем Василий, а за ним и Алексей. Все живы, целехоньки, с наградами...

А приходили не сыновья, приходил Пауль, иногда встревоженный. На железной дороге действовала группа подпольщиков, он уже связался с некоторыми това­рищами, но гестапо не дремало. Велись аресты, попал под подозрение немецкой жандармерии и Пауль. Его вызывали в гестапо, спрашивали, откуда явился, проверяли документы, и он вот-вот ожидал ареста.

И чем ближе продвигалась Красная Армия к городу, тем большее беспокойство охватывало оккупантов. На улицах была суматоха: различные службы разбитых на фронтах частей заполняли город, вносили с собой неразбериху и панические настроения. А население ждало избавления от рабства, и жадно воспринималась каждая новая весть.

Настя была в приподнятом настроении. Наконец-то! В Большом Городце, видимо, уже по всем законам действует Советская власть. Вот бы туда улететь хотя бы на один денек, повидать мать, односельчан...

Однажды утром она шла на биржу труда, припечатывая подшитыми валенками рыхлый

снежок, выпавший ночью. На улице едва брезжил рассвет. Подойдя к бирже, она увидела группу немецких офицеров, они оживленно о чем-то разговаривали. И вдруг — о ужас! Среди них был обер-лейтенант Швебс, тот Швебс, который в Острогожске возглавлял биржу труда. Она увидела его одутловатое лицо, которое он неожиданно повернул в ее сторону, масленые глазки сузились — он о чем-то напряженно думал. Увидев Настю, Швебс несколько мгновений напрягал память, потом вспомнил, что это его бывшая сотрудница, та, что выкрала списки, и, что-то буркнув своим коллегам, решительно направился к Насте. Она хотела было бежать, но поняла, что это бессмысленно, и приготовилась разговаривать с офицером.

— Как вы сюда попали? — спросил он. — И что тут делаете?

Настя как можно спокойней ответила:

— Приехала к родственникам. На работу хочу устроиться...

— На работу? Вы же сидели в тюрьме?

— То была ошибка, обер-лейтенант. Меня выпустили. Вы сами знаете, как я безупречна.

— О, да-да,— пробормотал он, и по лицу его — она заметила — все же пробежала тень сомнения. Он, видимо, хотел что-то предпринять, но тут подошел другой офицер — ее знакомый, с которым два дня назад в кабаре она пила шампанское. Это был Вилли Краузе, капитан, лет тридцати, маленького роста, рыжий. Он приставал к Насте с любовью, угощал ее шоколадом и весело болтал всякие пошлости. Она просила его подыскать работу, и вот теперь, как нельзя кстати, такая встреча.

— Вы обещали, Вилли, устроить меня на работу,— проговорила она еле слышно. — Помните, позавчера обе­дали?

— Я найду вам работу, фрау. Вы же немка?

Она не знала, что ответить. По документам она была немка, а Швебс знал ее как русскую, но, возможно, забыл фамилию. И наконец она сказала:

— Предки мои немцы по линии матери. Жили тут, в России.

— Хорошо,— сказал он,— приходите завтра,— и на­звал адрес, куда надо прийти.

— Я тороплюсь. — Настя наблюдала за выражением лица Швебса. Тот хотел что-то

сказать, но медлил.

— Завтра, завтра приходите. Мне нужны такие ин­тересные женщины,— и Краузе заулыбался.

— Я приду в двенадцать ноль-ноль. — Она поверну­лась и пошла прочь.

В ногах была неестественная легкость. «Только бы скорей пронесло,— думала она,— только бы скорей уйти. Ведь Швебс, этот старый толстяк, может в любую ми­нуту спохватиться, может вернуть, передать гестапов­цам. И тогда провал, снова тюрьма, снова пытки — и гибель. Нет, скорей уйти, скорей». И она ускорила свои шаги, ей казалось, что она идет очень медленно, по-черепашьи, и только когда завернула за угол — огляну­лась: погони не было. Но сердце колотилось так, слов­но она пробежала бегом несколько километров, и не могла отдышаться.

Когда пришла, запыхавшись, к Поздняевым, Ксено­фонтыч был дома, чинил старые валенки, и, взглянув Настю, сразу понял, что стряслась беда. Настю колотил легкий озноб, и она не могла сказать ни слова.

— Что случилось? — спросил Ксенофонтыч. — На тебе лица нет. Что?

— Беда, дядя Корней,— еле выговорила она. — Могут арестовать в любую минуту. Должна уйти. А если придут за мной, скажите, что переменила квартиру.

— А что такое, что? — спрашивал Ксенофонтыч.

И она рассказала о своей неожиданной встрече со Швебсом.

— Да, надо уходить,— согласился он. — А куда?

— Пойду в деревню, к Пане. А там решим, что делать. Из центра подскажут.

И она ушла в тот же день.

У Пани прожила два дня. На третьи сутки была получена радиограмма: группа должна перебазироваться в Латвию, в район города Валмиера. Пауль тоже снялся с работы, и они втроем отправились в путь.

**Глава восемнадцатая**

Разведчики обычно шли ночью, в стороне от больших дорог. Паню оставили в лесном хуторе, а Пауль и Настя направились к железнодорожной станции. Там была явочная квартира, можно было остановиться и передохнуть. Недалеко от вокзала разведчиков остановил патруль. Ночь была светлой, морозной. Немецкий офицер долго рассматривал документы, затем с подозрением посмотрел на Пауля, спросил:

— Кто такой?

— Служил в охране,— ответил Ноглер,— потом забо­лел. Меня отпустили.

— Немец?

— Нет, по национальности эстонец, но знаю немец­кий язык.

— А она? — посмотрев на Настю, спросил патруль­ный. — Кто она?

— Анна Мюллер. Латышская немка. Моя невеста.

— Разве может на немке эстонец жениться? — спросил лейтенант. — Вы согласны, фрау?

— Да, я невеста,— подтвердила Настя. — Идем к родственникам в город Тарту.

— Ага, к родственникам. Интересно узнать — с ка­кой целью?

— Давно не виделись,— ответил Пауль. — Решили проведать.

— Так, так. Вас придется задержать. Куда вы идете и кто вы на самом деле — проверит гестапо.

Настя не на шутку перепугалась. Может быть, это конец? Тоскливо стало на душе, неспокойно, точно вот сейчас шла на эшафот. И ноги подкашивались, и сер­дце замирало в предчувствии чего-то страшного, неотвратимого.

Их заперли в пустом деревянном домишке. Ночь была длинной и тягостной. И надо же так нелепо провалиться! И зачем понесло их к вокзалу? Вообще-то надо было пойти, но в другое время, соблюдая осторожность. Настя заглянула в окошко — у крыльца стоял патруль. О побеге не стоило и помышлять. Попробуй вырвись на волю. Немцы подозрительны, в каждом видят шпиона, проверяют документы на каждом перекрестке.

— Пауль,— сказала Настя,— видимо, сели крепко, но ведь обыскивать при аресте почему-то не стали. Пистолеты в карманах. Давай их бросим в подвал, а сами будем отпираться. Ведь улик никаких нет. На лбу не написано, что мы разведчики.

— Это так,— согласился он. — Но, разумеется, нас будут пытать. Лучше умереть в открытом бою.

— Как — в открытом? — спросила Настя. — Ведь мы взаперти?

— Откроют дверь — и первого же, кто в ней появит­ся, ухлопаю. Будем отстреливаться до конца... Согласна?

— Я боюсь, Пауль...

— Чего боишься?

— Смерти боюсь.

— Понимаю,— ответил он. — Ты женщина. Чувство страха тебе трудней преодолеть.

— Очень трудно,— согласилась она. — Трудно пред­ставить себе, что завтра тебя не будет. Очень страшно...

Ей и на самом деле было очень боязно. Чувство стра­ха не могла преодолеть. Жалость к себе разрасталась с каждой минутой, она забилась в уголок, точно запу­ганный зверек, и горько плакала. Было жаль себя, жаль мать, которая, может быть, и не узнает, как она погибла.

К утру задремала и во сне увидела себя дома. Мать пекла блины, суетилась у печки, и вдруг загремел гром набатистыми раскатами. Она открыла глаза. На улице что-то взрывалось. Поняла — на станцию падают бом­бы. Пауль прильнул к окну, увидел, что часовой куда-то исчез. Земля дрожала от разрывов, казалось, вот-вот развалится домишко, в котором они сидели. Наступил момент, когда можно в суматохе исчезнуть, но дверь была заперта. Что делать? Попробовать выломать ее? А вдруг там, за дверью, другой часовой? Пауль снова подбежал к окну и резким ударом сапога выбил раму. В комнату хлынул морозный воздух.

— Бежим, Настя! — крикнул Пауль и, схватив ее за руку, вытолкнул в окно.

Через несколько секунд они были на улице. Разрывы бомб все еще сотрясали землю. Горели склады у железнодорожной станции. Из окон вылетали стекла и, дребезжа, сыпались в снег. По улице ошалело бегали фашисты — кто в исподнем, кто наскоро одевшись. Пауль держал за руку Настю, увлекая ее за собой.

— Бежим! Бежим! — шептал он ей.

Вдруг раздался такой оглушительный взрыв, казалось, что земля раскололась надвое. Она поняла — это взлетел на воздух склад с боеприпасами. Значит, свершилось!

— Скорей! Скорей! — торопил ее Пауль, и она бежала за ним, еле поспевая.

Перелезли через забор и очутились на пустыре. Теперь уже Настя держала Пауля за рукав и повела его, проваливаясь в глубоком снегу, повела к дальнему лесу. Лес виднелся километрах в трех, чернел еле заметной полосой, а перед лесом — белоснежное ровное поле. Шли в целик, иногда останавливались, чтобы передох­нуть, и Пауль, смахивая пот, пристально смотрел назад — боялся, нет ли погони. Но фашисты все еще не пришли в себя. Сабантуй для них был устроен самый настоящий.

Наконец дошли до кромки леса, а куда идти даль­ше — не знали. Надо было найти хутор, где они оставили Паню. Шли на восток вдоль опушки леса, пытаясь выбраться на какую-либо дорогу. Опасность была на каждом шагу, и Пауль уже сожалел, что надел гражданскую одежду. В форме немецкого солдата, а лучше офицера, было бы безопасней. Но где возьмешь военную форму? Надо бы пробираться через линию фронта: задание выполнено, в штаб отправлены очень важные донесения. Но жива ли Паня? Настя шла и все время думала о ней: только бы встретиться, только бы найти ее.

В конце концов они вышли на дорогу. Идти стало легче. Шли часа полтора и никого не

встретили на пути, словно бы оцепенела земля в холодном безмолвии. Казалось, что с этими последними взрывами закончилась страшная, жестокая война. За поворотом неожиданно для них появился хутор. Стоял одинокий дом с надворными постройками. Из трубы вился дымок. Все говорило о том, что в доме кто-то живет. А кто? Друзья или враги? Вот так сразу и не узнаешь, кто тебя встре­тит — друг или враг? А может, в этом небольшом домике обогреваются фашисты? Как узнать?

Пауль неотрывно глядел на усадьбу, ждал, может, кто выйдет из дома. Ждала и Настя. Она сказала ему:

— Пойду одна. Узнаю, кто там. Если что замечу,выскочу на улицу и крикну.

— А может быть, мне пойти? Я мужчина. Я обязан пойти на риск. Только я, Настя.

— Нет-нет! — начала возражать она. — Идти должна я. По-латышски немножко понимаю. Мне легче дого­вориться.

И она пошла. Возле дома постояла. Затем постучала в калитку. Долго не открывали. Наконец дверь открылась, и ее впустили. Минуты через две Настя вышла на крыльцо и помахала рукой. Значит, все в порядке, можно идти. И Пауль неторопливо, все еще опасаясь чего-то, пошел к дому.

— Ну, иди, иди,— услышал он. — Тут добрые люди. Иди...

Дома была хозяйка, и Настя разговаривала с ней на латышском языке. Хозяин, как выяснилось, уехал в город к брату по каким-то делам и скоро должен вер­нуться. Настя сказала хозяйке, что Пауль жених и что им нужно пробраться на хутор, где живет Вебер.

— Ах, Вебер, Вебер,— залепетала хозяйка. — Вебер недалеко. Всего километров пять... Можно пешком дой­ти, по этой же дороге, направо...

Хозяйка накормила их супом, дала по ломтику хле­ба в дорогу.

— Немцы когда были у вас? — спросила Настя.

— Иногда бывают,— ответила латышка. — Худые лю­ди они, очень худые...

Она сбивчиво, как могла, поведала страшную весть о гибели сына Антона, которого заподозрили фашисты в связях с партизанами и расстреляли. Случилось это недавно, всего месяц назад, а старший, Освальд, живет в Риге с женой и боится приехать к родителям. Ничего не поделаешь, страшно стало жить в этом мире. Того и гляди погубят и мужа, единственного кормильца. Вер­нется ли — одному богу ведомо.

— Вернется, вернется,— сказала Настя. — А как ве­личают тебя, добрая хозяюшка?

— Марта.

— Дорогая Марта, большое спасибо за угощение. А нам пора.

Марта вышла следом за ними, показала, в которую сторону идти.

— Вы тихонько так идите. Топ, топ,— сказала она по-русски и улыбнулась. — Доброго пути.

— Дойдем,— ответила Настя по-русски. — Только бы не нарваться снова на патруль. Разворошили муравейник, так что кусачие теперь фашисты. Подозрительны. Лучше на глаза не попадаться.

Настя не знала, поняла ее Марта или нет, но латышка в ответ кивала головой — значит, согласна и поняла.

По дороге идти было легче, чем в целик, и Настя спросила:

— Павлуша, скажи, когда война закончится?

— Скоро, скоро,— отвечал Пауль. — Теперь уже совсем скоро.

— Что будешь делать после войны?

— Поеду домой, в Германию. Работенка там ждет большая. Ведь столько дров наломали — расчищать бурелом придется долго. Так что дела меня ждут немалые.

— Женишься? — спросила она.

— Обязательно женюсь.

— Невеста небось ждет не дождется?

Он и сам не знал, есть ли у него там, в немецких краях, невеста. Возможно, и нет той невесты.

— Вот возьму, Настя, и женюсь на тебе,— сказал он неожиданно.

Настя поглядела на него: шутит он или всерьез так сказал? Кто она для него? Русская вдовушка. Жизни надломлена, и как она, эта жизнь, сложится дальше — и сама не знает.

— Зачем так сказал, Пауль? — спросила она. — За­чем? Не до шуток нам сейчас. Давно ли на волосок от смерти были? И будем ли живы?

— Будем, будем, Настя. Поедем в Германию стро­ить новую жизнь. Ты хорошо говоришь по-немецки, ты словно бы немка, нисколечко не похожа на русскую.

— Нет, я русская. Русская. И никуда я не поеду. Тут моя земля, моя Родина. Как у нас говорят: гдеродился, там и пригодился.

— Я люблю тебя, Настя,— сказал он тихо и посмотрел на нее такими глазами, что она испугалась. — Настенька, Настя...

Сердце у нее словно бы упало и застыло. Любила она его или нет — и сама еще не знала. Пауль нравился. И вот сказал такие слова, всего три слова, и она замерла. Что она скажет в ответ? До сих пор еще бы­ла полна Федором. Ведь он — муж, хотя и погибший, но все же законный муж, и Настино сердце принадлежало только ему — Федору.

— Люблю,— снова сказал Пауль, и снова обожгло это слово Настю.

Молчала, похолодев не то от мороза, не то еще от чего-то. Потом сказала:

— Не знаю, не знаю. Передо мной все еще Федор, муж. Я его любила, очень любила. А сейчас — не знаю. Если бы он был живой.

— Но ведь нет его, Настя, нет. А мы с тобой живы. Вот идем — жених и невеста. И принимают нас везде так.

— Не знаю,— повторила она. — Будем ли живы? И что впереди?

— Закончится война, и ты поедешь со мной в Гер­манию. В новую Германию. Будешь маленьких ребят учить русскому языку, в школе учить. Ведь будешь?

Она молчала. Что-то теплое, ласковое подкралось к се сердцу, подкралось и не отпускало. Она шла по зим­ней дороге с этим большим человеком, с немцем по национальности, и понимала, что связана с ним одной не­разрывной судьбой.

Дорога пошла под уклон, и мысли как-то спутались: все еще думала о Пауле, глядела на снег, и он, этот снег, казался ледяным и бесконечным.

— Ты что молчишь? — спросил Пауль. — О чем за­думалась?

— Думаю о жизни. Какая она будет у тебя и у меня?

— Счастливая. Мы идем к счастью, Настя.

— Дорога к счастью,— сказала она и опять замол­чала.

Да, она хотела быть счастливой. Очень хотела. Не только сама, но чтобы и все люди были счастливы, все без исключения: и Пауль Ноглер, и Паня Кудряшова, и чуваш Афиноген Чакак, чтобы все прошли свою до­рогу до конца, чтобы остались живы. Так думала она и вспомнила стихи, страстные и волнующие, стала чи­тать Паулю:

Я предан этой мысли! Жизни годы

Прошли недаром, ясен предо мной

Конечный вывод мудрости земной:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идет на бой!

Пауль шел рядом, такой близкий и свой, слушал вни­мательно, а когда она закончила чтение, тихо сказал:

— «Конечный вывод мудрости земной...» Какие мудрые строки! Какая благородная мысль!

— Очень точно выразил свои мысли великий Гёте,— поддержала Пауля Настя. — Его поэзия близка нам. Она как бы созвучна сегодняшнему времени, зовет на борьбу со злом и насилием. На борьбу за счастье.

— Единоборство зла и добра... И добро обязательно одержит верх. На земле воцарятся

мир и братство на­родов.

Пауль замолчал. Молчала и Настя. Они шли навстречу своей судьбе...

**Глава девятнадцатая**

Падал снег, сухой и колючий, почти невесомый, и Настя ловила ладонями снежинки и сама кружилась, точно школьница-первоклашка. Пауль смотрел на нее с недоумением и не понимал, почему она так ведет себя в этот полуденный час, на этой безлюдной дороге, смотрел на нее и не мог понять. А она смеялась, кричала, подставляя ладони к лицу Пауля, танцевала, закидывая голову, открывала рот, пытаясь поймать тихо падающие снежинки.

Он схватил ее за руку, строго спросил:

— Что с тобой, Настя? Словно с ума сошла...

— А что? — в свою очередь уставилась она на него. — Не нравится?

— Не к добру это, Настя!

— Нет, к добру,— ответила она. — Фашисты отступают — потому и радуюсь. А тебе что? Небось жале­ешь своих? Жалко, что бьют? Жалко?

Он смотрел на нее понуро и подумал: для чего зада­ла этот вопрос?

— Жалеешь? — снова спросила она. — Ведь свои…

Он не мог ничего в ответ сказать — и на самом деле раздваивался в своих чувствах. Да, да, он жалел со­отечественников, погибающих ежедневно сотнями и ты­сячами, и в то же время ненавидел фашизм, и самым большим желанием было для него — убедить немецких солдат, чтобы они прекратили убийства, чтобы добро­вольно переходили на сторону Красной Армии.

— Жалеешь? — опять бросила Настя и впилась в него глазами, словно бы выпытывая признание. — Ведь погибают! И главное, умирают, чтобы спасти своего бесноватого. Все еще верят сумасшедшему?

Пауль знал о том, что многие немцы все еще обмануты фашистской пропагандой, многие верят в Гитлера, очень многие, но есть и такие, которые прозрели и, видимо, понимают, что проливают кровь за неправое дело. Однако как им подсказать, этим обманутым, чтобы они прекратили войну, бросили оружие? Как? Маховик войны крутится, и ничем его не остановишь. Ничем... Только насилием, войной, кровопролитием.

— Все это очень сложно,— сказал он Насте. — Солдаты обмануты, потому и не сдаются.

— Обмануты?! Обмануты?! — Она смотрела на него с подозрением, будто бы недругом он был для нее. — Иди и скажи им, убеди, чтоб сдавались. Иди, иди... Хочешь, сама с тобой пойду, посмотрю, как у тебя это получится? Пойдем вместе, скажи обманутым, чтоб бросали автоматы и карабины.

— И пойду. Хоть сейчас пойду,— сказал он спокойно, просто, обыденно.

Настя не ожидала такого ответа.

— Пойдешь?

— Да, пойду. Я должен пойти,— сказал он твердо.— Если хочешь знать, у меня специальное задание — вести среди немецких солдат разъяснительную работу. Дол­жен убеждать, агитировать должен.

— От кого же такое задание? Уж не от штаба ли фронта?

— От Национального комитета «Свободная Герма­ния»,— ответил он сразу же. — Есть такой комитет. Я тебе говорил об этом. Комитет существует и действует, если хочешь знать, на всех фронтах. Вот листовки у меня с призывами к немецким солдатам. — Пауль достал из потайного кармана листовку и протянул ее На­сте:— На, прочитай.

Она взяла этот желтоватый листок и начала читать. Текст был на немецком языке, и она мысленно переводила для себя на русский. В листовке было написано:

«Национальный комитет „Свободная Германия” и союз немецких офицеров. Передай дальше! Распространи среди товарищей!

Товарищи! Мы вычеркиваем Гитлера! Того, который вверг нас в эту ужасную войну! Положим конец преступной войне! Каждый должен начать теперь действовать!

Пишите повсюду наши призывы и лозунги! Вы должны знать их».

Лозунги... Призывы... Значит, немцы призывают своих собратьев прекратить преступную войну... Призывают... Настя читала эти огненные строки и не верила своим глазам. Значит, правду говорит Пауль. Он член этой организации, может быть, член Национального комитета, который призывает к спасению немцев, к спасению их собственной страны. Она начала читать дальше:

«Национальный комитет призывает к спасению немецкой нации!

Ни единого выстрела больше для войны, ведущейся Гитлером!

Положить конец бессмысленной войне!

Долой Гитлера!

Свержение Гитлера — спасение для Германии!»

Настя повернула листовку на обратную сторону. Там тоже был текст. Она начала читать:

«Товарищи! Пишите наши призывы и лозунги на всех домах, стенах, заборах, воротах и дверях! На железнодорожных вагонах. На танках, боевых и транспортных машинах!

Пишите их на дорожных указателях и командирских флажках! На всех видах боевой

техники и вооружения!

Пишите наши лозунги на патронных и снарядных ящиках!

Пишите их в каждом письме домой!

Итак, действуйте!

Гитлер должен пасть, чтобы жила Германия!»

И в самом низу листовки Настя прочитала подпись: «Фронтовая организация Национального комитета „Сво­бодная Германия"».

— Да, теперь я поняла, какое сложное у тебя зада­ние,— сказала, подавая Паулю листовку. — Вокруг нас твои собратья, и может быть, они ждут нас? Ждут?

— Кто ждет, а кто и нет. Это опасная работа, На­стя.— Пауль запрятал листовку в карман, повернулся, прошел шагов пятнадцать, снова повернулся и, подойдя уже совсем близко, тихо проговорил:

— Я имею полномочия от Национального комитета вести пропаганду среди немецких солдат. Я должен открыть им глаза.

— Я тебе помогу, Пауль, помогу... Пойдем вместе. Пусть я буду немкой, опять невестой, Пауль!

— Но ведь это опасно, Настя! — предупредил он ее.— Ты не должна рисковать...

— А ты?

— Я — другое дело. Я — немец, и я обязан, как бы это опасно ни было. Но если ты желаешь со мной пойти, то пойдем. Я знаю, что сказать немецким солдатам. Я обязан...

— А я?

— Ты поддержишь меня. Я назову тебя, как ты и предлагаешь, невестой, немкой. И все пойдет своим че­редом.

— Ну, тогда пошли,— сказала она. — А куда пойдем?

— Туда, к фронту...

Через полчаса они столкнулись с группой немецких солдат. Их было человек десять. Немцы толкали машину, глубоко засевшую в снег. Правое заднее колесо буксовало. Пауль подбежал к машине и начал помогать. Настя стояла и наблюдала. Колесо уходило в снег все глубже и глубже, шофер выключил зажигание, и машина перестала вздрагивать, замерла. Солдаты сгрудились кучкой, сразу заметили незнакомого. Один из них*,* высокий и худощавый, спросил:

— Откуда, парень?

— Еду домой, в отпуск,— ответил Пауль. — Вот не­веста со мной. — Он махнул рукой в сторону Насти, потом позвал ее. Она подошла.

— Ничего красотка! — похвалил Настю долговязый солдат. — И где такую раздобыл?

— Тут недалеко. Нашел и везу в Германию.

— А что, в Германии невест мало? — спросил другой солдат, уже пожилой, спросил серьезно, но у того мо­лодого и долговязого засверкали искорки в глазах, а может быть, всколыхнулась зависть к этому одинокому немецкому солдату, которого отпустили домой на по­бывку.

— Хороша фрейлейн! Просто красавица! Русская или латышка?

— Немка,— ответил Пауль. — Тут, в Латвии, немцев много, почти в каждом городе проживают. Вот и нашел свою судьбу. Ну-ка, что-нибудь скажи им по-немецки, Анна.

— Да, я немка,— сказала Настя,— чистокровная нем­ка и жалею вас, солдаты.

— Жалеешь? — спросил пожилой.— Почему жалеешь?

— Война проиграна. Вот вы? Как вас звать?

— Вилли Биг,— ответил солдат.

— Дети есть там, в Германии?

— Есть.

— И сколько у вас, Вилли, детей?

— Четверо. Старший погиб на фронте. Две дочери и еще младший сынишка. Ему десять лет.

— Говоришь, старший погиб? Господи боже мой, погиб! А сколько же ему было лет?

— Восемнадцать.

— Всего восемнадцать? Почти ребенок. Как это не­лепо! Погибнуть восемнадцати лет, на чужой земле, ни за что ни про что. Как ты думаешь, Вилли?

Солдат переминался с ноги на ногу, виновато мигал потухшими глазами, хотел что-то сказать, но молчал.

— Что ж молчишь? — спросила Настя. — Ведь правду я говорю. Истинную правду.

— Но ведь война,— возразил солдат,— а раз война — значит, и людей она пожирает, не разбирается, кто такой.

— А кто затеял войну? — не унималась Настя. — Кто ее развязал?

— Известно кто — Гитлер,— ответил за старшего долговязый молодой солдат. — Он начал войну, а мы теперь отдувайся. Думали, победим Россию. Не получилось. Теперь отступаем.

— Вот в том-то и дело,— вмешался в разговор Пауль. — Гитлер развязал войну. А кому нужна эта воина? Кому? Простому рабочему, крестьянину? Им война не нужна. Она нужна богатеям: они наживаются на этой войне. Простой солдат погибает, а фабрикант готовит пушки и бомбы, прибыль загребает, золотой дождь на него сыплется. Разве это справедливо? Что скажешь на это, Вилли?

— Конечно несправедливо,— ответил солдат.— Надоела нам эта война. Но что поделаешь? Бросишь оружие — расстреляют, да еще родственников посадят в концлагерь.

— Не посадят,— сказал Пауль. — Надо только моз­гами пошевелить. Удобный момент выбрать.

— Какой же это момент? — спросил долговязый не­мец. — Что-то я не понимаю, куда ты клонишь, друг. Да и кто ты такой? Откуда явился?

— Пауль Ноглер я. Немецкий солдат. Бывший не­мецкий солдат.

— Почему бывший? У нас тут бывших нет. Все мы солдаты немецкого рейха, давали

присягу на верность родине,— сказал долговязый немец. — Так что присягу должны

соблюдать. Иначе каюк.

— Не расстреляют,— твердо сказал Пауль. — Надо сдаваться в плен. Война проиграна окончательно.

— А если русские прикончат, когда сдадимся? Так уж лучше воевать.

— Неправду ты говоришь, солдат. Я с той стороны.

— С какой это — с той?

— Я был у русских и скажу вам правду. Чтобы дер­жать вас в страхе, фашисты распространяют лживые утверждения о нечеловеческой жестокости русских солдат. Все это ложь. Гитлеровские бандиты утаили от вас правду. Говоря о жестокости русских, они хотят вызвать у вас сомнения и побудить весь немецкий народ к самоубийству.

— За нашей спиной стоят эсэсовцы. Они имеют приказ стрелять в каждого, кто откажется воевать,— стал возражать долговязый солдат. — Умирать нам не хочется.

— Как тебя звать? — спросил Пауль.

— А зачем тебе это?

— Просто хочу знать.

— Ну что ж, будем знакомы — я Курт Мюклих.

— Ты хочешь жить, Курт?

— Конечно. Кто ж не хочет? Всякий хочет жить.

— А если убьют тебя, мать будет плакать, отец?

— Отец погиб еще в сорок втором под Сталинградом.

— Вот видишь, у Вилли Бига сын лежит в сырой земле. У тебя — отец. Да и сам можешь погубить себя, как говорят русские, ни за понюшку табаку.

— А что же делать? — спросил солдат.

— Подумай, что делать. Выход один, если хочешь

— Какой же это выход? Может, подскажешь?

— Подскажу. Бросать надо оружие и сдаваться в плен.

— Страшно. Куда пойдешь?

— Я вам укажу путь,— сказал Пауль. — Путь этот самый верный и надежный. Вот листовки вам и пропу­ска. С этими пропусками вы можете переходить линию фронта и сдаваться в плен. Вас там ждут друзья и со­ратники, пленные немцы, солдаты и офицеры. Даже сам фельдмаршал Паулюс призывает вас сдаваться рус­ским. Я говорю с вами от имени фронтового комитета «Свободная Германия». Вот берите и читайте.

Пауль начал раздавать солдатам листовки. Некото­рые брали с опаской. Это заметила Настя и, чтобы не боялись солдаты, начала их подбадривать:

— Все будет хорошо. Не бойтесь. Мы свои, немцы. Вот видите, не боимся. Через линию фронта перешли. И вы перейдете так же. Только надо удобный момент выбрать. Подходящий, и — туда. Там жизнь. Там спа­сение.

— Она заметила, как заблестели глаза у Вилли Бига. Да, он хочет жить. Очень хочет! Ведь дома — дети, жена. А путь к ним, к родным, нелегкий, опасный — через огонь и смерть. И самый, может быть, верный путь тот, который подсказывают эти странные немцы, словно бы свалившиеся с Луны. И на самом деле правы они: ведь война проиграна. И зачем их послал Гитлер на эту войну? Для чего? Только для того, чтоб богатели толстосумы, а простые люди умирали на чужой земле. Нет, он, Вилли Биг, понемножку начинает раскрывать глаза и разбираться в событиях, что и как. Война ему не нужна, и умирать он не хочет. И надо как-то выпутываться из дьявольских сетей. А как? Возможно, вот этот немец, сдавшийся в плен русским, правильно говорит. Затем и пришел сюда, чтобы указать путь к спасению. Может быть, это самый верный и безопасный путь.

Так он думал, немецкий солдат Вилли Бит, уже не раз смотревший смерти в глаза и все же оставшийся живым. Он прошел по дорогам войны всем смертям назло, трижды был ранен, валялся в госпиталях, и снова его бросали на передовую, и снова он шел умирать. А для чего ему умирать? Погиб сын, погибли другие молодые парни. А во имя чего они сложили головы, ради каких целей? Чтобы убивать себе подобных, таких же молодых, начинающих только жить. Нет, нет! Он, Вилли Биг, уже по горло сыт этой всепожирающей бойней. Он не хочет больше воевать и подумает, как дальше поступить. Он обязательно подумает.

О чем думает Курт Мюклих, этот верзила? Какие у него мысли в голове? Настя смотрела на него и ви­дела, что он о чем-то задумался. Он тоже не хочет умирать. Ведь такой молодой! У него еще все впере­ди — целая жизнь! Какое он примет решение? И она спросила:

— Ну как, Курт, хочешь жить?

— Каждый человек хочет жить,— ответил он,— и я в том числе. Второй год на фронте.

— Второй, говоришь? И не погиб?

— Цел пока. Был ранен в руку. Недавно выписал­ся из госпиталя. Теперь опять на фронт.

— И не страшно тебе?

— Бывает и страшно.

— А если убьют?

— Нет, умирать не хочу.

— Так что же делать, солдат? Выход у тебя один — бросить оружие. Не воевать.

Солдаты загалдели, читая листовки. Одни были готовы сейчас же сложить оружие и сдаваться в плен. Они не хотели воевать. Другие проявляли нерешительность. Всем, как поняла Настя, надоела война, ненужная простому солдату.

— Вот сложим оружие, сдадимся — и что получит­ся?— кипятился низкорослый солдатик с черными усиками, этакий крепыш на твердых коротких ногах.— Что получится? Русские займут Германию, захватят наши земли, поработят...

— Все это бредни Гитлера,— вмешался в разговор Пауль. — Фашисты обманывали нас в начале войны, так они своей злобной пропагандой продолжают обманывать вас и сейчас. Наоборот, Германия будет свободной, свободной для всех людей, а фашистские палачи, разумеется, будут наказаны. Судить будут тех, кто развязал бессмысленную войну. А для вас, солдаты, путь открыт. И путь этот самый верный.

— Да что там, он правильно говорит! Бросаем оружие!

— Веди нас, солдат! Ты дорогу знаешь!

— А те, кто не хочет, пусть остаются...

— Мы согласны. Идем за тобой, Пауль! Мы верим тебе!

Солдаты возбужденно галдели, перебивая друг друга. Бросали к ногам Пауля карабины и автоматы. Настя поняла, что все они хотят жить, всем надоела война, все хотят вернуться домой, к матерям, детям, женам.

— Долой Гитлера! — кто-то крикнул громко и отчетливо.— Мы хотим мира и жить в мире со всеми народами!

Пауль поднял руку, громко крикнул:

— Товарищи, тише! Успокойтесь! Митинговать хватит. Решим так: сдаваться в плен будете с оружием, автомашину взорвем. Поведу вас к тому ближнему лесу, ночью перейдем фронт. Согласны?

— Веди, солдат! Согласны! Хватит, отвоевались!

Солдаты построились. Впереди шел Пауль. Колонну замыкала Настя. Она шла по проторенным следам и думала: «Навоевались, никто не остался, все пошли. Значит, плохи дела у Гитлера, когда солдаты по первому призыву стали бросать оружие. Вот так бы везде, побольше бы таких агитаторов, как Пауль. Славный парень! И, конечно, жаль ему немецких солдат, все еще обманутых. Теперь уж многие понимают, что война проиграна, что чем дольше она будет продолжаться, тем хуже для простого солдата, тем больше будет напрасных жертв. Давай, давай, Пауль, действуй! Я тебе помогу в этом благородном и святом деле. Мы с тобой на правильном пути».

Они шли к ближнему лесу. Снег был неглубок, так что идти было нетрудно. Морозец

слегка кусался, солдаты прикрывали уши ладонями, шли быстро, словно  
торопились домой на побывку, но каждый знал, что дорога к родному очагу еще бесконечно долга…

...Настя вспомнила утро сорок первого года. Было обычное утро — с серебристой печалью лугов и полей, с соловьиной трелью в прибрежных ивняковых зарослях, с задумчивым лесом, с яркой зарей в полнеба — все казалось мирным и незыблемым, но там, на западе, уже зарождалась и разрасталась война...

Вспомнила Федора, вспомнила тот день, когда прощалась. «Федя, Федя! Нет тебя в живых. Ужели нет? А может, живой?» — думала так, и становилось страшно: сердцем ее завладел другой человек. И как это ни странно, не русский, не советский, а пришедший оттуда, из того враждебного лагеря, и ставший ее товарищем и другом в опасной борьбе.

И разрасталось в ней беспокойное чувство к этому немцу. Когда оно дало свой первый толчок — она и сама уже не припомнит: то ли в тот день, когда впервые увидела Пауля, или на другой, или на третий... Это чувство росло изо дня в день, перерастало во что-то волнующее, радостное, возвышенное; она понимала, что это такое, хотела подавить это чувство — и не могла. «Ведь с той, другой стороны пришел и ворвался сюда словно хозяин, чужой, совсем чужой,— внушала она себе, — а возможно, и не чужой, такой же, как все люди, товарищ и друг». Она уже любила его и очень боялась этой любви.

Когда они все скопом подошли к лесу и остановились, чтобы передохнуть, Пауль отправился в сторону разведать местность — куда и как пойти. Немцы столпились в кучку и начали переговариваться.

— Ничего, ребята, не бойтесь. Кажется, свой парень,не подведет.

— А вдруг засекут, когда выйдем из леса?

— Не засекут, он знает дорогу. Ночью перейдем линию фронта и будем в безопасности.

— Там будет спасение. Там — жизнь!

— Скорей бы!

Солдаты были возбуждены: переход туда, на ту сто­рону, в неизвестность, и обнадеживал, и в то же время пугал, но они уже твердо решили пойти. Они поверили Паулю и пошли за ним. Назад пути для них уже небыло.

Курт Мюклих подошел к Насте, спросил:

— И на самом деле вы, фрау, немка?

— Да, я немка.

— Невеста этому солдату?

— Невеста.

Он улыбнулся — то ли поверил ей, то ли засомневался, хотел еще о чем-то спросить и не решался. Вероятно, позавидовал Паулю, что вот у солдата на войне и невеста вместе с ним, идет следом по опасным дорогам, и не боязно ему, этому солдату, среди своих и чужих. Настя улыбнулась в ответ Курту и сказала ему ободряюще:

— Ничего, солдат, скоро и ты будешь дома. Теперь недолго продлится война. А для тебя, считай, она уже закончилась. Вернешься домой и встретишь свою невесту.

— А у меня, может, нет ее.

— Нет — так будет. Обязательно будет, Курт.

Вэту же ночь Пауль вместе с пленными перешел через линию фронта. Настя не пошла.

Она ждала его в обусловленном заранее месте.

**Глава двадцатая**

Весь февраль и март Настя и Пауль вели пропаган­ду среди немецких солдат. Гестапо уже не раз засекало их, но они ускользали, точно привидения. Уходили из одного района, появлялись в другом. Пауль трижды переходил через фронт, переправлял на другую сторо­ну очередную партию немецких солдат.

Однажды — это было уже в конце марта, когда снег почти растаял,— они отправились в местечко Лиепна. В этом небольшом латышском городке дислоцировались прифронтовые части фашистов, и нужно было узнать, сколько этих войск и куда они направляются. В Лиепну перебазировалась неделю назад и радистка Кудряшова.

Подошли к городку ночью. На одной из улиц пат­руль задержал их и начал проверять документы. Долго светил фонариком, в чем-то сомневался, стал спрашивать, почему солдат идет в город ночью, и не один, а с женщиной. Подозрительно посматривал на Настю, спросил:

— Кто такая?

— Невеста,— как всегда, ответила она,— я немка, Анна Мюллер.

— Из Германии приехала? Из Германии невесты не приезжают.

— Нет, я здешняя. Немцы живут и в Латвии, даже в России их немало.

— А куда направились в такой поздний час? Пере­движение ночью запрещено.

— Иду к родственникам с женихом, с Паулем. Его отпустили в отпуск. Погостим у тети, а потом поедем в Германию. Там обвенчаемся, и Пауль снова поедет на фронт.

— Кто его отпустил? Уж не сам ли фюрер? — Солдат засмеялся, махнул рукой и отпустил разведчиков.

Они пошли дальше.

— Пронесло, кажется,— тихо сказала Настя по-русски.

Пауль не понял, и она не знала, как точно перевести на немецкий эти два слова, думала, прикидывала, наконец подобрала нужные слова:

— Просто повезло нам на этот раз, Пауль. Очень повезло...

— Мы еще не дошли до цели,— сказал он,— патру­ли на каждой улице, а улицы безлюдны. Замерли. Ка­жется, что городок вымер.

— Нет-нет, не мертвый город,— поправила его На­стя,— в каждом доме солдаты. Видишь, в окнах мерца­ют огни, а на улицах — автомашины, подальше — танки, а там — пушки стоят. А вон солдаты толпятся возле двухэтажного дома. Не свернуть ли нам влево?

— Давай повернем,— согласился Пауль.— По безлюдным, тихим улочкам идти безопасней.

Они свернули в боковую улицу, застроенную деревянными домиками. До цели было не так далеко, всего метров двести. Настя уже дважды ходила на связь к Пане Кудряшовой и знала дорогу. Им нужно было свернуть вправо, на другую улицу, потом еще вправо — и там стоял одноэтажный домик, в котором жила Паня.

Но, когда они свернули, их остановил снова патруль — офицер и солдат. Офицер махнул рукой и потребовал:

— Документы!

Пауль предъявил удостоверение. Фашист долго изучал его, потом отрывисто приказал:

— Пошли!

— Вот и попались,— тихо прошептала Настя. Ноги ее стали словно бы ватными, и сердце застучало молоточком: «Конец! Конец!»

Офицер шел впереди. За ним — Настя и Пауль, а позади — с автоматом наизготовку солдат. Настя дотронулась до рукояти пистолета, но как его выхватить из кармана? Заметит фашист — и в один момент прикончит. У Пауля тоже пистолет, так что есть шанс на спасение. Маленький шанс, но все же есть. Ведь надо как-то спастись... «Надо! Надо!» — хотела она крикнуть Паулю, но сдержалась. Каждый шаг туда, куда они шли, это ступень к неминуемой смерти, и она считала эти шаги: один, два, три... Страшные шаги, роковые...

И вдруг случилось невероятное, по крайней мере для тех, кто их сопровождал. Пауль резко повернулся, сильным рывком вырвал автомат у солдата и ударил его прикладом по голове. Настя в этот момент выхватила пистолет. Офицер мгновенно повернулся — у него в руке тоже был пистолет, и все же она выстрелила первой, прямо в упор, в грудь ему. Она увидела, как фашист скособочился и замертво рухнул на землю. Пауль бро­сился на солдата. Они повалились наземь, и началась борьба. Пауль крикнул хриплым, натужным голосом:

— Беги!

Однако она не побежала, хотела броситься на по­мощь — и не могла, замерла на месте. Пауль снова крикнул:

— Беги скорей! Спасайся! Беги!

И тогда она побежала, сначала вдоль улицы, в ту сторону, откуда только что пришли, и вдруг поняла, что туда бежать опасно. Но куда же? Где спасение? И как там Пауль? Мысли отрывочно раздваивались: то ли на­до выручать Пауля, то ли бежать куда. Но раз он крик­нул: «Беги!» — значит, надо бежать. Она бросилась к ближайшему дому, ноги почти не слушались. Боялась, что не выдержит напряжения и упадет. Сердце колоти­лось так сильно, что ей казалось, вот-вот разор­вется.

Отперла калитку и оказалась во дворе. Поняла, что в дом стучаться бесполезно — никто не откроет. В огород вела дверца из штакетника, она открыла ее и побе­жала дальше. Ноги вязли в липкой грязи; прошлогод­ние грядки уже достаточно оттаяли. Миновав огород, оказалась на задах уже у другого дома, противополож­ной улицы. В нерешительности остановилась: куда бе­жать? Той, другой улицей? Но там могут оказаться враги. Возможно, фашисты подняли тревогу и начнут прочесывать все улицы. Она услышала снова выстрел. Кто стрелял? Пауль? Или кто другой?

Она поняла только одно: надо бежать, бежать как можно дальше от этого проклятого места. Ведь у нее ценные сведения для штаба фронта, она должна доставить все это по назначению. А Пауль? Как Пауль? Ужель погиб или схвачен и его повели на расправу? Может, вернуться и умереть вместе с ним? «Нет, нет, нельзя»,— решила мгновенно и побежала огородами как можно дальше. Перелезая через забор, ободрала ногу обо что-то острое и, почувствовав боль, на мгновение присела. Запыхавшись, едва переводила дыхание. Затем прошла еще метров сто, постояла, прислушалась. Кругом тихо, так тихо, что слышала, как все еще тревожно и гулко колотится сердце. «Нет, надо передохнуть, — подумала она. — Погони, кажется, нет». И опять с тревогой о Пауле: «Неужели пропал? Господи 6оже мой, что же делать? Надо как-то спасать его. Спа­сать... А может быть, уже убили? Был второй выстрел. Кто стрелял? В него стреляли или он прикончил фашиста и, возможно, тоже убежал? Где-нибудь рядом? Но ведь погони нет. Что же такое случилось? Скорее всего, взяли живым. Будут допросы, пытки, потом расстрел. От фашистов пощады не жди...»

Подумав об этом, она готова была сама пойти туда, где остался Пауль. И решила вернуться. Шла осторожно, часто останавливалась, прислушивалась. Стояла мертвая тишина, как будто и не было недавних выстрелов, как будто все это было во сне. Но где же Пауль? Что с ним? Как узнать? Ведь не пойдешь к фашистам и не спросишь. Она подошла к тому дому, где свернула на огороды, через заборчик посмотрела на улицу, на то место, где была схватка Пауля с фашистом. Но там никого не было — ни патрулей, ни прохожих. Кругом пустынно и мрачно, и ей казалось, что и сама она про­валивается в эту черную бездну ночи. Постояв у забора несколько минут и убедившись, что на улице нет нико­го, решила пробираться огородами к тому дому, где жила Паня Кудряшова.

Шла огородами и, как ей показалось, заблудилась, точно в дремучем лесу: место было незнакомое. Реши­ла выйти на улицу и посмотреть. Во дворе низенького деревянного дома на нее с лаем бросилась собака. Она замерла, минуты две стояла, не шелохнувшись, затем перелезла через изгородь и очутилась у высокого забора с колючей проволокой на островерхих концах, поэтому не могла сразу перебраться в другой огород. А собака все лаяла, заливаясь в неумолчном хлипе, потом затихла.

Долго искала выход, наконец нашла. Затем она оказалась в тупике — надо было выйти на улицу и осмотреться. Тяжело дыша, прислушивалась, боялась, что снова нарвется на злую собаку. Это так опасно, что лучше обождать, еще раз обдумать, в каком месте и как

удобней выйти. Ведь не стоять же в огороде целую ночь и ждать рассвета.

И наконец решилась. Тихо, почти бесшумно шла, всматриваясь в темноту, даже собственные шаги настораживали, а в мыслях был только он, Пауль: так она переживала, проклинала себя, что оставила его одного. Надо было выстрелить в затылок фашисту и вместе бежать, но он крикнул: «Беги!» — и она побежала.

Но как найти Паню Кудряшову? Возможно, и она арестована? На улице, куда она вышла, было сумрачно, неприветливо, сиротливо. Шла тихо, оглядывалась, не следит ли кто за ней, но улица была почти мертвой, кой-где в окнах мерцали слабые огоньки. Значит, жизнь не замерла, в домах живут люди, кто в страхе за свою судьбу, кто с безразличием. О чем думают жители это­го городка, чего ждут?

В конце концов распознала местность и обрадова­лась, что близка к цели. Домик, в котором находилась Паня, стоял одиноко, чуть-чуть на отшибе, в глубине от улицы. Она подошла и замерла, вглядываясь в окна. Есть ли кто дома? Поди, уже спят. Подошла к крыльцу, постучала в калитку.

— Кто там? — спросили за дверью.

— Из Риги гость. Моченые яблоки привез,— ответи­ла Настя паролем, и дверь открылась.

Перед ней стояла Паня, в одной рубашке, простово­лосая и такая домашняя, родная, что Настя бросилась к ней в объятия:

— Пашенька, Паня, беда!

— Что ты, что, родная! А Пауль где? Почему одна?

— Нарвались на патруль. Я убежала, а он — не знаю... То ли убит, то ли... Уж лучше бы вместе нас! Не знаю, Пашенька, что и делать! — Она вздрагивала от переживаний, от страхов за Пауля.

— Успокойся. Завтра постараемся узнать о его судьбе. Только не расстраивайся. Может быть, живой.

— Нет, нет, Паня! Чует сердце, что с ним неладное. Страшное что-то случилось...

Вошли в дом. Паня зажгла коптилку, поставила на стол тарелку с супом.

— Ты поешь да успокойся. Завтра все прояснится, все разузнаем.

— Нет. Не до еды сейчас. Да и навряд ли засну. А хозяева спят?

— Спят, в другой комнате.

— Ох, Паня, Паня! В страшное время мы живем. В такое страшное, что и подумать боязно: сегодня живы, а завтра? Неизвестно, что будет с нами завтра, через два, три дня...

Долго не могла уснуть в эту ночь Настя. Обо всем передумала, всякое прикидывала. Уж не она ли виновата в гибели Пауля? Надо было идти по другой улице, по окраинной, где меньше военных. Пошли, где поближе. И вот — прямо в сети. А может, живой? Может, еще объявится? Вот постучит в калитку и скажет: «Это я пришел. Всем чертям назло живым остался». Если бы так. Она хотела, чтобы было именно так. Беспокойство распирало ее, она спрашивала у Пани:

— Может, убежал он? Бросился в другую сторону?

— Все может быть,— отвечала Паня. — Подождем до завтра. Утро вечера мудренее. Если живой — найдем. Непременно разыщем.

От этих слов у Насти теплело в груди, тоска отступала, и тревога за судьбу Пауля притуплялась, ей казалось, что все обойдется к лучшему. Была маленькая надежда, а это уже неплохо, когда надежда согревает сердце: может, и живой. Так она думала и хотела так думать, но проходило какое-то время — и она снова терзалась в догадках.

Почти всю ночь Настя не спала: все думала и думала, иногда будила Паню, спрашивала:

— Пашенька, помнишь партизана Афиногена? Кудрявый такой, Чакак?

— Как же не помнить? Помню. Его все знали. Парень надежный.

— Я ведь с ним ходила в Большой Городец. Задание особое было, очень ответственное.

— Помню, как вы ходили. Это когда Синюшихин сбежал?

— Кара настигла мерзавца.

— Земляк твой,— сказала Паня. — Как матушка-земля носила такого? А вот хороших людей жалко. Пауля жалко. Но ты не печалься, Настенька. Возможно, все обойдется. Спи давай, спи.

И все же Настя не могла уснуть. То она вспоминала Афиногена, то мать, с которой не виделась вот уже несколько месяцев. Как-то она там, бедная старушка? Одна, ни сыновей, ни дочери — все разлетелись. Одно утешало: Большой Городец не у немцев теперь, и люди, поди, вздохнули, избавились от страхов и унижений. Как хотелось бы сейчас повидать свою мать, обнять ее, сказать слова утешения. Не знает, не догадывается, где ее доченька Настя, в каких краях, по каким стежкам-до­рожкам ходит. А дороги-то скользкие. Вот только что играла в прятки со смертью. А мать ждет весточки от пропавшей дочери, а вестей все нет и нет.

Так она думала и незаметно под утро уснула. Проснулась, когда в окнах было светло — свет струился по стенам, тепло наполняло комнату радостью и покоем. В комнату заглянула Паня, проговорила:

— Вставай, вставай! Хватит валяться! И мне пора идти.

— Куда пойдешь одна? Может, мне с тобой? — спросила Настя.

— Нет, тебе нельзя,— сказала Паня. — Пойду. Про­пуск у меня надежный, и люди надежные. Потолкуем и решим, что и как. А ты жди. Хозяйка чайку согреет, картошечки наварит. Ну, я пошла.

— Иди, иди, да смотри осторожней. Разузнай, что там с Паулем. За него душа изболелась — почти всю ночь не спала, все думала.

— Через часик приду, а может, и раньше,— и Паня выскочила из комнаты.

Настя осталась одна. Хозяйка ушла, ничего не ска­зав, поставила чайник на стол, краюшку хлеба поло­жила.

И опять навалилось отчаяние, какая-то безысход­ность. Ходила из угла в угол и все думала, думала. Без Пауля она словно бы потерялась, что-то отломилось от нее самой.

Паня пришла с недобрыми вестями. Немецкий солдат, как сообщили ей верные друзья, схвачен ночью ге­стаповцами, а что с ним дальше произошло, неизвестно. Ищейки обыскивают дома, перекрыты все выходы из городка, кого-то ищут. Настя сразу догадалась, кого. Ищут ее, советскую разведчицу.

— Возможно, Пауля пытают,— сказала Паня и заплакала.— Что будем делать, Настенька? Что?

Настя не могла вымолвить и слова. Поняла, что случилась беда. С кем посоветоваться? Надо выручать человека, если он еще живой. В любой момент могут его расстрелять. Настя знала — в городе есть свои люди. У них только что побывала Паня, они что-то предприни­мают и сделают все, что возможно сделать. Но не так-то просто вызволить пленника из лап фашистов. В гестаповских застенках крепкие замки — это было Насте хорошо известно.

— Нужно уходить из города,— поплакав, сказа Паня. — Поуляжется суматоха, найдем «окно» — и выскочим... Только дня два обождать надо. Спрятаться. Отсидеться в подвале или на чердаке. И рацию в землю закопать.

— Рацию? А сведения своим когда передадим? Ведь от нас ждут.

— А запеленгуют? Считай, крышка,— начала возражать Паня. — Они сейчас настороже. Всех на ноги подняли. Постараюсь передать, и этой же ночью рацию закопаем. На огороде. Я ящик на всякий случай приготовила, а сами уйдем, потихоньку, огородами. Согласна?

— Согласна.

Ночью они уже были в другом конце городка, на явочной квартире партизанского разведчика по кличке Стригун. Это был парень лет двадцати пяти, среднего роста, белокурый. Держался он просто, усадил разведчиц за стол и сразу сказал:

— Вот что, девочки. У меня оставаться нельзя. Абсолютно нельзя. Сейчас же пойдете. Я вас провожу надежным путем на окраину города. А там уж давайте сами, до ближнего леса недалеко. И до фронта рукой подать.

— А как же рация? — спросила Паня. — Мы закопали ее. Как же без рации явимся в штаб?

— Ничего,— успокоил Стригун. — Рация найдется, когда войска освободят городок.

— А Пауль, что с ним? — с тревогой спросила Настя.

— Пауль схвачен. Судьба его пока неизвестна.

— Нет, я не могу уйти до тех пор, пока не узнаю, что с Паулем. — Настя поднялась с табурета, почернела лицом, в глазах появились слезы. — Не могу! Не могу!

— Успокойся, Усачева. — Стригун понимал, как трудно потерять товарища, но почему заупрямилась, по­чему не хочет выйти туда, где свои, где спасение? В этом городке можно запросто погубить себя, да и не только себя, но и других. Рисковать нельзя.

— Я приказываю,— произнес Стригун,— приказываю покинуть город. Там ждут вас и примут решение, куда снова направить.

— А с Паулем как? — опять спросила Настя.

Стригун не ответил. Он просто не знал, жив Пауль или уже нет его в живых. Не мог ничего сказать.

Поздно ночью Настя и Паня были недалеко от линии фронта. Разведчицы стояли на опушке леса и терпением ждали того часа, когда нужно будет двинуться дальше. Это был самый опасный для них отрезок пути, всего каких-нибудь два километра — и там свои. Немного передохнув, пошли вдоль кромки леса, но лес был редкий и голый, продуваемый холодными ветрами. В неглубокой ложбине налетели на немецкий патруль. Часовой их остановил и приказал поднять руки. Настя с поднятыми руками подошла вплотную к немцу и по-немецки сказала:

— Ну, здравствуй, солдат! Мы свои, не бойся. Опу­сти автомат. Вот, вот так...

Солдат растерялся и не знал, что делать. Женщина говорила на чистейшем немецком языке, точно с неба свалилась прямо сюда, на передовую. Чудеса, и только.

— Немка я,— сказала Настя. — Из Германии. К му­жу в гости приехала. Из Берлина.

— Из Берлина? — спросил солдат. — Я сам из Берл­ина. Уж не ко мне ли?

— А разве у тебя есть жена?

— Жена и дети, двое детей. Но вряд ли моя сюда заявится. Как вас сюда занесло? Неужели к мужу?

— Да, к нему. Может, адресок дадите? Премного бу­ду благодарна.

— А другая фрау тоже мужа ищет?

— И она,— ответила Настя.

— Мужей своих вы тут, пожалуй, не найдете,— от­резал солдат. — Поворачивайте обратно. Идите прямо, вон к тому лесу. Там командный пункт дивизии. Справки наведут, и возможно, найдутся ваши мужья.

Солдат отпустил их. Пройдя шагов сто, Настя ска­зала подруге:

— Кажется, нам повезло, а мог бы задержать. Давай свернем влево, вон к тому леску. Переждем немного и... по-пластунски.

За час до рассвета они перешли линию фронта, их привели под конвоем в штаб полка. Майор, высокий и худой, начал допрашивать:

— Кто такие? Откуда? Документы есть?

— Все, как положено,— ответила Настя. — Документы немецкие. А разведчицы — советские.

— Знаем, знаем мы таких советских. Может, не сове­тские, а немецкие. Шпионки немецкие, лазутчицы. Проверить вас надо.

— Проверяйте. Я требую отправить в штаб фронта. Там разберутся.

— Вот и отправим. Только не в штаб, а в особый отдел дивизии. Там и проверят, кто вы такие.

— Пускай, пускай проверяют. Все равно мы свои. Ужель не видите, что свои?

— На лбу у вас это не написано,— строго сказал майор и приказал конвоиру отвести их по назначению.

Проверку обе прошли в тот же день, а на следующий Настя доложила представителю разведки фронта подполковнику Семенову о работе разведгруппы в тылу врага.

— Потеряли Пауля,— сказала она. — Может, живой, может, вырвем его из лап гестапо?

— Сделаем все возможное,— обнадежил ее подполковник. — Если успеем...

— Надо обязательно его спасти. — Настя смахнула слезы, просяще посмотрела в глаза подполковнику: — Пошлите снова туда, в этот маленький городишко. Прошу вас, пошлите!

— Туда нельзя,— ответил подполковник, и Настя поняла, что это окончательное решение. Просить было бесполезно.

— Для вас, Усачева, у меня приятная новость,— продолжал Семенов. — За успешное

выполнение заданий командования вы награждены вторым орденом Красной Звезды. Кудряшова и Пауль Ноглер — тоже. Все трое. Кроме того, командование объявляет всем вам благодарность. Награду получите завтра.

Через несколько дней она снова была заброшена в тыл врага, но уже в другой район, и вернулась на род­ные берега только через месяц.

**Глава двадцать первая**

В один из майских дней Настя почувствовала, что она беременна, о том, что будет ребенок, догадывалась и раньше — и две недели, и месяц назад.

А время шло своим чередом. В конце мая ее вызвал представитель разведки фронта Семенов и предложил снова отправиться туда, куда она направлялась неоднократно раньше,— за линию фронта. Нужны были разведданные для штаба, и добыть их могла только Усачева.

— Нет, больше не могу,— сказала она подполковнику и опустила голову, словно виноватая в чем-то, совсем другая, словно не Настя Усачева, смелая и решительная. — Не могу...

— Почему? — спросил подполковник. — Мы надеемся на тебя, Усачева. Очень надеемся. Это задание можешь выполнить только ты. Мы рассчитываем на тебя. Очень рассчитываем.

Он не сказал, какое это задание, но она поняла, что опасное, сопряженное с риском. Она всегда рисковала, когда шла туда. Но шла, преодолевая себя, и боялась иногда, встречаясь с ними, с фашистами, лицом к лицу. И вот снова надо было идти, а она не может. Не имеет права рисковать, потому что она теперь не одна... Но как сообщить об этом, как открыться?

— В чем причина? — спросил Семенов, и ей показалось, что он что-то уже знает,— определила это по его глазам.

— Не могу.

— Почему же? Должны быть веские основания. Ведь не раз там была...

— Я жду ребенка,— как-то само собой вырвалось у нее.

Он глядел на нее с недоумением, все еще, видимо, не веря ее словам. Это она поняла по его взгляду, сразу же поняла, как сказала, открылась. «Зачем об этом сказала? Зачем? — пронеслось в голове. — Как он те­перь подумает обо мне? Что скажет?»

А он молчал, озадаченный этим известием, и сразу решил, что отправлять ее в тыл к немцам уже нельзя. Он просто не имеет права в таком состоянии отправить женщину через линию фронта.

— Ребенок-то Пауля Ноглера,— открыла она до конца свою тайну. — Я была его

невестой.

— Невестой?

— Да, невестой. После войны мы решили поженить­ся. Дали клятву друг другу.

— Ну что ж, Усачева, надо теперь возвращаться домой. Дома-то кто?

— Мать. А братья на фронте, возможно, погибли. Мать одна.

— Спасибо, Усачева, за все. Большое спасибо. Ты нам помогла хорошо. И Ноглер, и Кудряшова. Все вы трое. Счастливой мирной тебе жизни. Как приедешь — напиши. Пиши на мой адрес. Если трудно будет — по­можем.

В тот же день Настя поехала к матери. Ехала сна­чала на попутке, потом поездом, на второй день выса­дилась на железнодорожной станции, от которой до большого Городца было километров восемь. Эти восемь километров, пока она шла, показались длинными, беско­нечными... Что скажут люди, когда узнают, что она но­сит в себе ребенка? От кого принесла? И зачем? В такую-то злую годину! Страшно было думать об этом, и она уже сомневалась, возвращаться ли под родимый кров. Лучше уехать куда-нибудь в незнакомое место, устроиться на работу, и все пошло бы своим чередом. Родила бы, ну и что ж! Мало ли рожают бабы-фронтовички, пулями на войне обвенчанные.

Она шла по знакомой дороге, часто останавливалась, смотрела на деревья, размолодившиеся яркой зеленью. И трава на обочинах набирала силу. Все пробуждалось вокруг, тянулось к солнцу, торжество жизни над смертью было необратимым и, казалось, будет вечным. Земля отдыхала. Пели птицы, журчали ручейки. И облака, словно пуховые одеяла, медленно уплывали на запад. «Родина, вот моя родина»,— шептала сама себе Настя, и сердце ее трепетало от волнения.

А вот и деревня. Родительский дом стоял у поворота все такой же, знакомый с детства, желанный и дорогой. Вот сейчас перешагнет порог и встретится с матерью. Жива ли? Подумала так и снова заволновалась пуще прежнего. Наконец-таки она пришла, теперь вернулась, и может, навсегда.

На улице было тихо и пустынно, деревня словно бы замерла в пугающем безмолвии. Наконец переступила порог родного дома и увидела мать, обняла ее, запричитала:

— Мама, мамочка! Как я рада! Родная...

Мать лепетала бессвязно и еле слышно:

— Жива... Жива, доченька! А я уж думала... Господи, жива!..

Настя обнимала старушку и чувствовала, как по всему телу разливается радость: «Дома я, дома! Как хорошо, что мать жива! Какое это счастье!» Она снова обнимала мать, и слезы лились по щекам, но это были слезы радости, и она смахивала их ладонью и неотрывно глядела на мать.

Потом они вдвоем сидели на кухне, разговаривали, вспоминали, делились новостями. Настя рассказывала о своих мытарствах, и мать вздыхала, пугалась, охала. Вот жива ее Настя, жива, а ведь смертушка с блестящей косой в костлявых руках так долго и зловеще кружилась над ней. Несладко было и матери. Тоже могли убить, покалечить, дом поджечь. Но, слава богу, все страшные беды остались позади.

— А писем не было? — спрашивала Настя.— От братьев, а может, еще от кого?

— От сынков-то не было,— отвечала мать. — Пропали, видать, сгинули.

И она заплакала. Насте тоже было больно: было жаль и братьев, и Федора. Хотела сходить к Блиновым, еще раз расспросить все подробно.

А вдруг живой? Все может быть на этом белом свете. И мертвые воскресают, и живые гибнут. Так думала она и боялась, что Федор вдруг придет и спросит, как чтила, как берегла себя.

— О господи! — застонала она.

— Что ты, доченька, что? — Спиридоновна испуга­лась, обняла, перекрестила.— Чай, теперь супостаты ушли. Прогнали их, окаянных.

Потом она спросила у матери о маленьком Федоре. Ведь она, Настя, спасла мальчишку от неминуемой ги­бели.

— Забрали его, Настя, определили в детский дом. Увезли. И жалко было по первости. Привыкла к нему, словно к родному внуку.

Настя упала матери на грудь, замерла.

— Боюсь я, мама, боюсь,— вырвалось у нее.

— Кого же ты боишься?

Она не ответила. Боялась тени мужа. Он часто мая­чил перед глазами, большой и скорбный, будто бы жи­вой. А вдруг и на самом деле он жив, что тогда? При этих мыслях страх распирал ее, пригибал, почти унич­тожал. Она боялась Федора, даже мертвого. Вспоминая о нем, всегда вспоминала другого человека — немца, разведчика Пауля. Да, да, она любила Пауля, очень любила и страшно переживала, когда он так нелепо погиб. Но самое страшное, чего она сейчас боялась,— это огласки, раскрытия тайны: ведь о том, что она не­сет в себе ребенка, в Большом Городце еще никто, кроме нее, не знал. И все же понимала: эта тайна — пока еще ее тайна, но рано или поздно она будет раскрыта. И что тогда? Какие будут пересуды и толки?

В начале июня в Большой Городец неожиданно при­шел Афиноген Чакак. Настя встретила его возле дома, бросилась к нему на шею, и такая радость, такое счастье переполняли ее в эти минуты, что она не могла вымолвить и слова. И он, пожимая ей руку, повторял одни и те же слова:

— Настенька, родная, жива?

Придя в себя, она повела гостя в дом, усадила за стол, позвала мать. Спиридоновна вышла из передней, увидев Афиногена, всплеснула руками, заохала:

— Откуда, Афиноген? Ужель с неба свалился? Живой и целый. Батюшки мои, думала, сынок нежданно-негаданно переступил порог, а это ты, Афиноген...

— Из госпиталя я, решил вот к вам заглянуть, по старому знакомству проведать.

— Так куда ж, на фронт?

— Отвоевался теперь.

— Как же так?

— Без ноги я, на протезе.

— Но ведь ноги-то при тебе. Вот с ногами сидишь.

— Это верно, что с ногами. Одна — своя, другая — казенная. — Он стукнул палкой по протезу. — Ступню оторвало, так что почти незаметно. И без палки хожу хорошо.

Спиридоновна начала греть самовар, а Настя повела гостя в переднюю, усадила на стул, спросила:

— Значит, домой?

— А куда же? Свое дело сделал. Поеду в родное село Юнгапоси. Ждут там меня — сестренка Роза, дед еще живой.

— Ты счастливый, Афиноген,— сказала Настя.— Хоть и на протезе нога, но счастливый. И невеста ждет тебя?

— Ждет девушка. Поженимся. А ты приезжай, Настя, на свадьбу. Хочешь — вместе сейчас и поедем

Настя смотрела на него с печалью. Куда она поедет, да и зачем? В такую-то даль! Афиноген заметил печаль в ее глазах, встревожился.

— Поедем, а?

— Нет-нет,— ответила она поспешно. — Куда я от матери, от родного дома?

— Погостишь недельку-другую, посмотришь, как у нас, в Чувашии, люди живут. Пивца самодельного отведаешь. А печалишься что? Грустишь. Ведь я вижу.

— Одна я теперь. И кому нужна? Только матери...

— Людям нужна, Настя. Людям. Война закончится — и жизнь пойдет, да еще какая жизнь!

Она смотрела на него и немножко завидовала ему. И хотела бы поехать хоть на край света, но понимала, что не может. И тайну свою не открыла, только сказала на прощание:

— Может, и приеду потом, когда закончится война. Пиши мне, Афиноген, не забывай.

Он зашагал, слегка прихрамывая, она долго смотрела ему вслед, а потом, когда он скрылся за поворотом, присела на бревнышко и горько заплакала. Домой пришла уже под вечер, поцеловала мать и, ложась спать, решила, что из Большого Городца никуда не уедет.

Дома она оказалась, как никогда, кстати. Надо было пропалывать морковные грядки, поливать огурцы, окучивать картофель. Мать была рада, что дочь вовремя вернулась и помогала в хозяйстве. В деревне не показы­валась. Степачевы погибли, погибла и Ольга Сергеевна. Кое-кто вернулся из партизанских отрядов, и в колхозе мало-помалу налаживалась нормальная жизнь. Первые два месяца на колхозную работу никто нарядов не да­вал. Только в сентябре к ней пришла бригадирша Нюр­ка Крюкова и предложила:

— Работенка есть непыльная. Не возьмешься ли?

Нюрка смотрела на нее с некоторым подозрением: вот пришла невесть откуда, где-то бродяжничала, оста­лась жива. Уцелела. Уж не служила ли фашистам? Пе­рекинулась, поди, в трудную минуту. Шкуру спасала. А люди погибли, не пожалели себя.

— Ты как, Настя, спаслась?

— Как видишь, жива. Сквозь ад прошла.

— Что-то неприметно, что сквозь ад. Может, в раю тешилась?

— Пшеничные блины со сливками ела.

— Ой ли!

— Вот тебе и ой ли! Какую же работу для меня сго­товила?

— Утиной фермой заведовать будешь. Согласна?

— А утки где? Небось фрицы давно слопали...

— Не успели. На дальнем озере три десятка оста­лось. Для развода хватит.

— Ну что ж. За эту работу возьмусь.

Уток перевели из лесного озера в маленькое озер­ко, которое находилось неподалеку от деревни, и Настя почти каждый день ходила подкармливать полудиких птиц. Она так привязалась к ним, так прикипела серд­цем, что готова была пойти ночью на утиную ферму. «Уж не стряслось ли что там,— думала она,— не за­брался ли хорь в сараюху?» Утром приходила, выгоняла уток из сарая и провожала к озерку.

А домой возвращалась с печалью, даже были минуты отчаяния: воспоминания о недалеком прошлом мучили ее, и казалось, что она идет к пропасти, к какой-то роковой черте. И назад пути уже не было, приближалось то страшное, чего она больше всего боялась,— бо­ялась бесчестия. Она понимала, что деревенские начали догадываться о ее беременности, да и скрывать это было уже невозможно; она ловила себя на мысли, что и мать уже знает, и соседи знают, и что уже весь мир знает о ее грехе,— и это так угнетает, так терзает ее угрызениями совести, что не хочется даже жить. Но она жила, чувствуя в себе самой то живое, что нарождалось в ней и что неизбежно должно народиться,— и ради этого нужно было жить.

Однажды мать взглянула на нее с подозрением, словно обожгла.

— Эх, доченька, доча! — завздыхала она. — Горюшко и так лихое, а ты его двоишь. Говори, где прижила?

— Ребенок мой. Сама подниму, выращу.

— Вырастить вырастишь... А если Федор жив? Что тогда? Придет и спросит: «Откуда взяла?»

А вдруг и на самом деле Федор объявится? Муж-то законный. И спросит. Предъявит свои права. Может, уехать, бросить все? На чужом, незнакомом месте не будут знать, от кого она ждет ребенка. А куда поедешь? В Чувашию, к Афиногену? Нет, нет, не может она по­ехать туда сейчас. С какими глазами приедет? Что ска­жет? Уж лучше дома. Тут и картошка своя, и овощи, да и угол свой, мать рядом.

Вечером пошла к Блиновым. Гешка сидел на табурете и подшивал валенок. Когда вошла, бросил рабо­ту, в глазах засверкали искорки, спросил:

— Про Федора узнать еще раз хочешь?

— Про него. Про кого ж еще? Может, живой он, Федор-то?

Гешка потупил кудлатую голову, засопел.

— Я ж тебе сказывал про него. Вместях воевали. Видел, как ранен был. Погиб.

— А если жив?

— Всяко бывает. Только навряд ли: с того света еще никто не приходил...

Тревога нарастала, накатывалась с каждым днем все сильней и сильней. Как она ни старалась сохранить в тайне беременность, но в деревне почти все знали, что она ждет ребенка. «А кому какое дело,— думала иногда,— ну и жду, и рожу, и растить буду. И не в тягость, а в радость будет ребенок. Сыночек или доченька. Война окончится — и все пойдет своим чередом».

Мать изредка упрекала:

— С дитем-то кому нужна? Без ребенка замуж бы выскочила, раз Федора нет. Нашла б жениха. Вот и чуваш-то, Афиноген, какой ладный парень. Приняла бы в дом.

— Нужна я ему! У него — невеста. А другие женихи — где они? Война всех подобрала.

— Всех не всех, а кто-то живой придет — а у тебя дите. Эх, Настя, Настя! Горемычные мы с тобой, никому не нужные... Люди вон что говорят: «Может, от нем­ца забеременела».

— А хоть бы и от немца! Кому какое дело? Немцы всякие бывают...

— Срамота-то какая, господи! — взмолилась Спиридоновна. — Ни стыда ни совести... А вдруг люди узнают — что подумают?

— Что хотят, пускай то и думают. Ребенок мой, а от кого — не скажу. Тайна это, моя тайна!

И все же упреки матери тяжело было выслушивать, сердце болело, словно на что-то острое накололось,— тревога не унималась.

А через два дня на улице она встретила Синюшиху. Старуха шла скособочась, опираясь на палку, зыркая глазищами по сторонам, точно искала кого-то. Синюшиха переселилась в Большой Городец месяца два назад, жила в байнюшке около самой речки и редко показывалась на люди, сторонилась: все городчане были для нее словно бы не свои, а чужие. Сын Гаврила мно­го бед натворил, оставил о себе недобрую память.

— Усачева, постой! — каркнула Синюшиха, и Настя вздрогнула от этого окрика, не хотелось разговаривать со старухой, но все же остановилась, повернулась к ней лицом.

Синюшиха глядела на нее, точно ведьма: глаза вы­пучены, волосы растрепались, лицо все в глубоких морщинах, голова вздрагивала, словно в лихорадке.

— Гаврилу мово, говорят, сгубила?

— Сам себя погубил.

— Нет, не сам. Ты привела татарина, и он убил его.

Настя думала, как ответить на это старухе, что сказать, а Синюшиха не отставала:

— Ну, что молчишь? Говори!

— Гаврилу приговорил суд к расстрелу,— спокойно сказала Настя.

— Какой еще суд? Кто его судил?

— Народ судил. Много людей невинных сгубил твой сынок. Много бед натворил.

— А ты где была? Может, тоже прислуживалась? Может, тоже пачканая! Переводчицей была там, в комендатурах...

— Ну, и была.

— С кем якшалась? Обрюхатилась. С офицерами немецкими в постелях нежилась. С этим самым Брунсом. Так что не попрекай сыном. Сама мазаная, перепачканная!

Настя от обиды не могла стронуться с места, сердце больно сжалось, и в голове застучало, искрами токи прошли по всему телу. Да, такого она не ожидала. Синюшиха словно хлыстом ударила по голове. Значит, пустили слушок по деревне, замарали грязью...

Она стояла, онемелая, и ничего не могла скатать в ответ. Не находила слов, а

Синюшиха, скособочась, осатанело глядела на нее, переполненная злорадством.

— Ну что, красавица писаная, правда глаза колет?

— Неправда это. Клевета!

— Вот посмотрим, что за клевета! А если Федюха жив, законный-то муженек? Что тогда?

Настя молчала. Что она могла сказать? А если и на самом деле жив Федор? Но был бы живой — написал бы. Нет его в живых! Нет! Так и хотела она сказать Синюшихе, хотела, но молчала. А та продолжала:

— Может, в плену он, Федор-то твой. Окончится война — и объявится, как снег на голову, а ты с дитем. И дите от немца!

— Ну и что ж такого? Что пристала ко мне? Я честно воевала. Партизанкой была. Разведчицей. Награждена орденами.

— Какими такими орденами? Покажи эти ордена.

— Кому надо — покажу, но твоим свинячьим глазам — ни за что не покажу! А сынок твой Гаврила — предатель! И расстреляли его по закону.

— По какому такому закону? Кто его убил? Уж не ты ли?

— Приговор в исполнение приведен мною и еще одним человеком...

— А кто этот человек? Татарин какой-то? Я слышала, что татарин.

— Не татарин, а чуваш. Могу по имени назвать.

— Ну, скажи — кто?

— Афиноген Чакак.

— Какой еще такой Чакак?

— Партизан такой был. Карал предателей. По слугам карал. И твоего сынка отправил к праотцам. А меня не замараешь: документы у меня чистые. А будешь каркать — к ответу привлеку за клевету.

— Вот Федор вернется, он с тебя спросит, где ты была и с кем была.

— Разберемся и с Федором. Перед ним сама ответ держать буду. Я, а не ты. Не ты!

Синюшиха плюнула и пошла прочь, ворча ругатель­ства. И все же Настя была потрясена, словно комок грязи бросили в лицо. А за что? За какие грехи? Ведь она чиста перед людьми, перед всеми чиста. И все же страшно жить в родной деревне. Ой как страшно! Нет, тут ей оставаться нельзя. Уехать куда-то, за тридевять земель, только бы подальше от стыда, подальше от по­зора.

Пришла домой, сразу сказала матери, что уедет ку­да-нибудь на берега Волги, туда, к Афиногену.

— Да ты что, очумела? — накинулась на нее мать.— Что будешь делать в чужих-то людях? С дитем на ру­ках кому нужна? Нет уж, сиди дома. С ребеночком я понянчусь, а ты работать будешь, как и все.

— А как людям в глаза глядеть?

— А что люди? Посудачат и бросят. Мало ли тепе­рича таких, как ты, вековух безмужейных. Тысячи. И де­тишек нарожают, и растить будут. Не одна ты така. А я кому нужна останусь? Подумала об этом?

— Прости, мама. Погорячилась я. И на самом де­ле — куда поедешь? Уж лучше дома все перетерпеть. В родном доме и стены помогут.

И она никуда не поехала. Решила про себя: умные люди не осудят, поймут, а если надо — помогут. Ну, а злые языки пускай чешутся, не вечно же они будут че­саться. Когда-нибудь перестанут.

Прошел еще месяц, уже прохладный, осенний. Люди собрали первый мирный урожай, земля отблагодарила людей за труды и ласку. Настя выкопала картошку, сняла капусту, рубила ее сечкой, квасила в бочке, сносила в подвал морковь и свеклу. Приглядывала за ут­рами. Работы было — хоть отбавляй, и она за этой ра­ботой отдыхала душой.

В один из осенних дней, когда уже тревоги и ду­шевные муки понемногу улеглись, почтальон передал Спиридоновне письмо и сказал, что оно адресовано Насте.

— Настеньке? От кого? — с тревогой спросила Спиридоновна.

— Не знаю. Может, от мужа?

— Но ведь сказывают, погибший он, Федор-то?

— А может, воскрес.

— Господи боже мой! — взмолилась Спиридоновна. Она не на шутку разволновалась, вертела в руках треугольничек, не зная, что с ним делать. Читать она умела немножко, но боялась вскрыть письмо, положила на стол и пошла в огород, где работала Настя. Перешагнув за изгородь, крикнула:

— Письмо тебе! Кажись, от Федора.

Настя разогнулась, посмотрела в сторону матери и не поняла сразу, что та сказала, уловила только «от Федора» и вздрогнула. Из рук вывалилась сорная трава. Она подалась вперед, спросила:

— Что? От кого?

— Кажись, от Федора. Иди сама прочитай.

Дрожа всем телом, как в лихорадке, Настя поплелась домой, остановилась у порога, передохнула, вздохнула еще раз глубоко, натужно и переступила порог. На столе лежал не конверт, а маленький солдатский треугольник из простой тетрадочной бумаги. Она взяла его, развернула и, захлебываясь воздухом, стала читать. Кто-то чужой, не Федор, писал ей. Почерк был не Фе­дора, другой почерк — это она заметила сразу. Буквы прыгали у нее перед глазами.

*«Настенька моя, родная и вечная. Это я, Федор, но пишет за меня другой человек. Лежу в госпитале, Настенька, вот уже несколько месяцев. Был тяжело ранен в руку и в голову. Рука все еще больная, потому и пишет за меня другой. Но скоро, видимо, на выписку. Собираюсь домой. Как вы там? Живы ли, здоровы ли? Я — инвалид, на фронт уже больше не пошлют. Так что приеду. Жду от вас весточки. Федор».*

Настя поняла, что это он, Федор, ворвался снова в ее жизнь так неожиданно и так властно. «Что же бу­дет, что ждет меня впереди? Да, теперь он приедет, не­пременно приедет, и как я его встречу? В каком состоянии? Господи боже мой! Что наделала? Как буду теперь жить?»

Она несколько раз перечитала коротенькое письмецо Федора, волнение настолько сильно охватило ее, что она сидела, закрыв глаза, и тихо постанывала от не­стерпимой боли в груди. Мать с тревогой спросила:

— Что пишет Федор-то, что?

Настя тяжело дышала и молчала. Отдышавшись, поглядела на мать печальными глазами и еле слышно про­шептала:

— Живой Федор. Живой. В госпитале он...

— Значит, приедет?— оторопело спросила старуха.

Все последующие дни она мучилась ожиданием чего-то рокового для нее, неотвратимого, ужасного потому, что встретить мужа боялась, очень боялась. Как оправдается? Что скажет? Она леденела вся, когда думала о том дне, о том мгновении, когда вернется Федор, жи­вой, реальный, вернется к законной жене и спросит, как жила все эти годы, как берегла свою честь.

Надо было отвечать на письмо. Настя медлила, от­кладывала со дня на день, обдумывала. Разные варианты текста приходили в голову, но все их она брако­вала, все получалось лживо, неискренне, а правду написать не могла. Понимала, что этой правдой причинит ему боль, даже может погубить его, а этого делать она не хотела.

Выходя на улицу, сторонилась встреч с людьми, все казалось, что деревенские уже знали о том, что жив Федор, что вот-вот должен приехать, и боялась, что кто-то спросит ее об этом. Но проходили дни, никто не спрашивал, даже Гешка Блинов — и тот ничего не сказал. Значит, не знает ничего. Сама хотела сообщить ему, что Федор жив, что он, Гешка,

просто обманул ее.

**Глава двадцать вторая**

Как ни вертела Федора Усачева круговерть по воен­ным дорогам, в каких только переплетах не был он, как частенько ни витала смертушка над его головой — все же остался живым. Война обцеловала горячим свинцом, повалила на долгие месяцы на госпитальную койку. И не совсем он целехонек: левую руку оторвало напрочь, а на правой осталось два пальца — большой и указа­тельный—и глаз один. Изувечила Федора война, сде­лала калекой. Лучше бы сразило наповал — и де­лу конец. А куда теперь он свою голову приклонит: ни топор в руках держать не может, ни руль автома­шины, вот даже пуговицу на брюках еле-еле застеги­вает и ложку кое-как держит, словно-те несмышленый младенец. Кому он такой? Одна дорога — в инвалидный дом.

Больше всего беспокоился о жене. Думал о ней, при­кидывал так и этак: ехать иль не ехать в Большой Городец? Ну, примет, обласкает из жалости, а потом что? Обузой на шее быть? Не хотел он, Федор Усачев, в таком непотребном виде домой появляться: почти без рук, одноглазый, через всю щеку бугристый шрам. Даже не похож он на прежнего Федора, совсем переменился, будто бы его другая мать родила.

Особенно забеспокоился, когда хирург произнес: «Пора на выписку». Просто сказать — пора... А куда поедет? Жена не ответила почему-то на два письма.

Той ночью, как хирург сказал, что пора домой, долго не мог уснуть. Вспомнил и детство, и юность, и женитьбу. Вспомнил, как получил повестку из военкомата. Настя растерялась и стояла перед ним окаменевшая, как чужая. Провожала до станции, не плакала, была немножко печальна, плечом жалась к нему, Федору.

— Федя, пиши, не забывай... Федя...

Он обнимал ее, слегка отталкивал, глядел в бесслезное лицо:

— Ты тут гляди...

— О чем ты, Федя?

— Не балуй!

— Да что ты, Федюшка! — зарделась она, опуская голову. — Подумал худое что, Федя?

— Ну, ладно, ладно,— замахал он рукой, поцеловал, затем пошел, слегка расталкивая провожатых, и ловко вскочил в шумный запыленный пульман.

Так вспоминал прошлое, и нередко перед ним рисовались фронтовые картины. Первые бои. Вот он тяжело ранен, лежит на траве и не может подняться. Бой пе­реместился куда-то вправо, совсем рядом лес. Его тащит Гешка Блинов. Затащил в кустарник и выбился из сил.

— Не могу больше. Оставайся тут, Федя. Санитары отправят куда надо.

Потом плен. Когда подлечился, бежал. Длинная дорога к линии фронта. И опять бои, всполохи пожаров, смерть друзей. Писать домой было бесполезно: Большой Городец в оккупации, а ведь Настя там, у матери. Это обстоятельство больше всего удручало. От Насти получил одно письмо, только одно... Перечитывал это ма­ленькое письмецо много раз, читал — и как бы чувствовал прикосновение теплых рук жены, слышал голос ее, видел глаза... Как хотел он повидать Настю! Все эти годы мечтал о встрече. Он любил ее, и эта любовь со­гревала его в зимнюю стужу, ласкала постоянно, окрыляла в трудную минуту, и воевал он словно бы играючи, без страха, не думая о смерти...

Последний раз его ранило на окраине небольшого городка в зимний полдень. Немцы были почти выбиты, и, когда уже замирали раскаты боя, вдруг Федор почувствовал, как обожгло его, ослепило вспышкой, точно на лицо накинул кто-то огромный горящий факел. Эта вспышка и острая, обжигающая боль были мгновением, а потом все пропало, Федор словно провалился в бездонную пропасть и очнулся только в медсанбате. Руки были обвязаны бинтами, голова — тоже. И понял — случилось самое страшное, чего боялся. Боль в руках тупая, и левый глаз нестерпимо болел. «Калека я, калека,— пронеслось в голове. — Целы ли руки? И глаза ничего не видят. Пропал!» У Федора закипела жалость к себе, липкая такая жалость, противная: не­жели на веки вечные калека — без рук и без глаз? Как будет жить? Кому нужен такой?

Томила жажда, и он попросил пить. Услышал, как кто-то подошел к его раскладушке, почувствовал дыха­ние подошедшего, но ничего не видел, остался только слух, обостренный, как у слепого, слышал, как позва­нивает воздух над его головой. Слегка приподнял голо­ву, спросил:

— Кто тут?

— Это я, няня,— послышалось в ответ.

— Какая няня? Что, я ребенок, что ль?

— Вот пить принесла, родненький. Ты же пить просил.

— Ах, пить, пить... — Он и на самом деле умирал не от ран, а от жажды: во рту все пересохло, даже язык прилипал к небу и еле шевелился. Хотел пить...

— Чайку принесла, чайку... — Голос у няни был ла­ковый, домашний, вроде бы Настин голос.

— А что, я живой? — спросил он. — Ничего не вижу. Глаза завязаны, и руки в бинтах.

— Ранен тяжело,— ответила няня. — А глаза, может, и целы. На вот, попей.

Она подсунула ладонь под его голову, приподняла чуток и поднесла к губам носик чайника. Напившись, он облизал сухие губы и лежал в полузабытьи, может быть, час, а может, и больше. Потом очнулся. Опять нему подошли. Почувствовал прикосновение рук — его приподняли и осторожно положили на носилки, затем понесли. Носилки слегка покачивались, и это монотонное покачивание причиняло нестерпимую боль. Федор сжимал зубы до скрежета, особенно было больно, когда его снова стали приподнимать и, наконец, положили. Догадался, что положили на операционный стол, чувствовал, что рядом люди: они о чем-то тихо говорили, о чем — не мог понять. И вдруг услышал — обращались к нему:

— Усачев, вы слышите?

— Слышу,— ответил он.

— С руками придется расстаться. — Голос был простой и тихий, обыденный голос. Говорил хирург, и говорил так, точно бы ничего особенного не произошло.

Федор сначала не понял смысла этих слов, не понял их трагизма, молчал. Потом, видимо, догадался, о чем идет речь. Задыхался от волнения, но понял, что от него ждали согласия, а он не мог дать сразу ответ на такой страшный вопрос.

— Руки надо ампутировать. У вас, Усачев, газовая гангрена.— Врач говорил спокойно, потом повысил голос, спросил: — Что же вы молчите, Усачев?

Он не знал, как ответить, что сказать, а сказать хотел, вернее, хотел попросить о пощаде, о снисхождении: жизнь без рук была бы бессмысленной, да к тому же он еще ничего не видит. Без рук и слепой... Страшно! Хирург ждал ответа минуту, другую, третью. Потом ещё раз спросил:

— Вы согласны?

У Федора перехватило дыхание, он замер, лицо его передернулось под бинтами, и он почувствовал резкую боль.

— А Настя? — еле слышно спросил он.

— Какая Настя?

— Настя, жена,— пояснил Федор.

Он приподнял от подушки голову, как бы подчерки­вая этим жестом свое физическое здоровье. Голова дер­жалась слабо, а забинтованное лицо горело от боли, и он опустился снова на жестковатую подушку.

— Лучше бы умереть,— сказал он с мольбой в голосе.

Хирург, повидавший всякого за годы войны, вдруг растерялся, не знал, как поступить.

Вернее, знал, что только немедленная операция может спасти человеку жизнь.

— Если не сделаем операцию — умрете,— уже строго предупредил доктор.

— Ладно, делайте,— неожиданно согласился Федор.

Сестра освободила нос от бинтов, потом положила на лицо марлевую маску и приказали считать до ста. Он считал, а в голове дзинькало и отсчитывалось с каждой секундой: «Настя, Настя, Настя...» Глаза не видели ничего, но он видел Настю, как бы в тумане видел, потом все исчезло, потерялось, еле досчитал до восемнадцати — провалился в небытие, в какую-то черную звеня­щую пропасть.

Проснулся ночью. В ушах позванивало, слегка тошнило. Один глаз был освобожден от повязки, и он открыл его, к удивлению своему, понял, что видит. Это обрадовало, он даже слегка застонал от радости, но боль сковала снова, и он стиснул зубы. Увидел на столе керосиновую лампу, слабый свет от нее падал пепельной синью на лежавших больных, покрытых про­стынями, на стол, на окна, на занавески. Посмотрел на потолок — он тоже был синим и, казалось, немного по­качивался. Кто-то из раненых глухо стонал. Федор смах­нул простыню. Руки были забинтованы, и сквозь бело­снежность бинта кой-где проступала багровая сукровица. В пальцах чувствовалось покалывание множества мельчайших иголочек, и ладони покалывало, и кисти рук чем-то невидимым скручивало и давило. Федор пы­тался разжать пальцы левой руки, но не мог, они, не­смотря на его усилия, оставались в неизменном состоя­нии. На правой — большой и указательный повинова­лись ему, они были забинтованы в неволю, но чувство­валось, что живые. «Два на правой целы, и то ладно»,— подумал и снова испугался: почему кажутся целыми те пальцы, которых нет? Почему? Он приподнял голову и неестественно громко крикнул:

— Люди, где вы?! Помогите!

Больные стали просыпаться. Кто смотрел на Федора серьезно, кто с удивлением. Не сошел ли человек с ума, подумали о нем.

Пришла сестра.

— Что случилось? — спросила.

— Руки чувствую. Пальцы — вот на левой, а их нет.

— Успокойтесь,— сказала сестра. — Так у многих после ампутации. Лежите спокойно — и все пройдет.

Он не мог уснуть до утра. В голову приходили отчаянные мысли. Как приедет калекой к жене? Лучше бы умереть.

В восемь часов утра пришла няня, принесла манную кашу.

— Будем завтракать,— сказала и поднесла к пере­сохшим губам Федора ложечку с едой.

Он принял пищу, слегка сладковатую, но каша не шла в горло — казалась неприятной.

— Не надо,— проговорил тихо. — Не надо. Дайте лучше воды.

Няня принесла чайник, Федор пил долго и жадно и, напившись, глядел в потолок своим единственным глазом, лежал в бездумье.

Через неделю его отправили в тыл. Ехал в санитарном поезде дней пять, а на шестой уже лежал в светлой палате, с каким-то безразличием ко всему. Почти ничего не ел. Ему казалось, что он примирился со своей участью: дни походили один на другой. Страшно было, когда везли в перевязочную. Бинты присыхали к ранам, хирург отдирал их быстрым привычным движением, так что Федор, нередко застигнутый врасплох, не успевал крикнуть, лишь вздрагивал от сильной боли. Постепенно он привык и к перевязкам, раны заживали, боль притуплялась. Привык и к тому, что кормит няня, пожилая женщина, кормит, словно капризного младенца, с ложечки, приговаривая:

— Родненький, ну еще немножко... Ну еще...

Когда он проглатывал очередную порцию, хвалила:

— Вот так, мой родной. Вот так...

Дни текли медленно и тупо, но время делало свое: Федор поправлялся. Он уже вставал с постели и, пошатываясь, ходил по палате. Голова слегка кружилась, будто бы был слегка опьяневшим. Быстро уставал, снова ложился и думал. Думал подолгу о Насте, о себе. Пытался отогнать тревожные мысли, но никак не мог. Настя все время была перед ним, иногда казалось — вот она откроет дверь и войдет в палату, войдет и посмотрит на него... Но потом приходил к выводу, что не придет она и не может прийти, что она далеко. И жива ли? И снова грустил...

— Что маешься? — спросил у него однажды сосед по койке. У соседа была ампутирована левая рука ниже локтя.

Федор молчал, смотрел на соседа и завидовал ему: все же хоть одна рука да целехонька — жить можно.

— Тебе просто,— наконец ответил он. — А тут вот как... Всего два пальца...

— Не грусти. Женат небось?

— Женат.

— Как она, жена-то?

— Да никак,— отмахнулся Федор. — Не писал еще. Не могу написать...

В палате стояла тишина, мертвая, томительная. Сосед запыхтел, заглянул в тумбочку, предложил Фе­дору:

— Давай напишем, что ль, жене? Сам не можешь — помогу. Бумага и карандаш есть.

Федор задумался. Пошлешь письмо — почерк другой, не его, Федоров, почерк. Будет думать: что с руками? А он пока не хотел открывать тайну жене, не хотел…

— Что молчишь?

— Ладно, пиши,— неожиданно для себя согласился Федор и стал диктовать.

Трудно складывались нужные слова. О том, что сильно покалечен, решил не писать. Настя была послед­ней зацепкой в жизни, последней надеждой, и он боял­ся, что эта последняя надежда может рассыпаться, рух­нуть, развеяться в прах.

Ответа не приходило, и он затосковал, загрустил. Жива ли? Может, и нет никого в живых. Может, и де­ревня сгорела. Война — злодейка, она никого не щадит, людей загублена тьма-тьмущая и счету нет. А может, замуж вышла? Устала ждать. Молодая, красивая. Под­вернулся какой-нибудь... Подумал так, и голова у самого закружилась, сердце зашлось. И, словно бы угадав его мысли, сосед сказал:

— Чего боишься? Напишем напрямки. Если отка­жется, значит, дрянь баба. Пустышка, и только...

— Не баба она, — возразил Федор, — царевна. Ред­кой красоты женщина. Люблю и боюсь.

— А чего боишься?

— Покалечен...

— А, чай, не в драке поувечили, а в честном бою. Гордиться надо, а не бояться.

Сосед уломал его, и написали, как оно есть, все без утайки. Но ответа Федор опять не получил. Его перевели в другой госпиталь, и он больше уже не писал. Не мог писать. И вот хирург сказал, что пора на выписку. Внезапно все это получилось. Испугался, не знал, что и делать. Нужно ехать, а куда? Эх, Настя, Настя! Приеду, свалюсь как снег на голову: принимай, жена, такого, каков есть. Легко сказать — принимай. А вдруг у нее другая любовь, другая жизнь? Тогда почему молчит?

И все же решил ехать домой. Как говорят, была не была… В инвалидный дом никогда не поздно. Почему в инвалидный? Нет, нет, он не будет лежебокой, иждивенцем на готовых харчах. Он найдет свое место в жизни. Обязательно найдет.

**Глава двадцать третья**

Федору дали в провожатые медицинскую сестру Веру. Она уже не первый раз сопровождала в дальние и ближние веси безруких, безногих, слепых, всех тех, кому нужна была в пути посторонняя помощь. Федор сначала отказался от проводницы, потом согласился: как-никак вдвоем веселей. Все живой человек рядом. В крайнем случае, если не примет Настя, поддержит Вера в трудную минуту. Определит, куда надо.

Он был печален и неразговорчив. Сидел тихо и почти безотрывно глядел в вагонное окно: перед глазами мелькали поля, подернутые туманной дымкой, березо­вые рощицы, по-осеннему грустные. Он смотрел на все это, и ему так захотелось остановить поезд, выйти из душного вагона, уединиться в укромном уголке и вспо­минать, вспоминать прошлое...

И он вспоминал... Вспомнил детство, теперь уже такое далекое и безвозвратное. Рос, как и все деревен­ские ребятишки, не баловнем: рано привык лямку тянуть, был смел и вынослив, и все пригодилось потом, в крутую пору военного лихолетья. Федор рос крепким парнем: ноги его были пружинисты и бойки, а ру­ки крепки и проворны. Он не боялся никакой работы. Если надо — жал рожь, да так, что бабы не поспевали за ним. Плел из прутьев корзины, да такие, что любо заглядеться. А когда метал стога, то поддевал на вилы такую увесистую копну сена и так ловко и легко ее подкидывал, что отец, забравшийся на верхотуру, кричал с опаской:

— Ты, Федька, полегче! Полегче гляди! Едва на ногах стою. Смотри, опрокинешь!

А Федор работал играючи. Легко и споро работал. Если надо, ремонтировал трактор или комбайн, разбирался не хуже заправского механика в различных марках моторов. А когда разливалось половодье, ловил рыбу наметкой до полуночи, не зная устали, вязал сети. Ладил из жести трубы, делал противни, на которых деревенские бабы пекли вкуснющие пироги, на зорьке звонко отбивал косы. А как он косил! Словно сбривал траву острой бритвой — чисто и ровно, а на траве блестела изумрудными блестками утренняя роса.

Особенно любил Федор работать в лесу. И не летом, а в зимнюю пору, когда ядреный морозец бодрит тело, как бы подгоняя: «Пошевеливайся, друг-человек, не зевай!» И Федор кипел, везде поспевал. Пилил кряжи двухручкой так, что напарник через каких-нибудь полчаса с мольбой просил о перекуре. Легко и весело на­валивал толстенные комли хлыстов на дровни, предва­рительно накрепко воткнув в бревно сверкающее острие топора. В таких случаях напарник говорил ему:

— Сила у тебя, Федька, медвежья. Борцом тебе быть, тяжеловесом.

На морозе он работал частенько без рукавиц. И руки не мерзли. Кровь играла в нем, согревала все тело. Он брал в горсть ком рыхлого снега, обтирал обжига­ющей студенью пальцы до хруста в суставах, затем хлопал в ладоши и бежал рысцой рядом с дровнями версты три, а то и все четыре, насвистывая что-то ве­селое и озорное.

И недаром его полюбила Настя — самая красивая девушка в округе. Он вспомнил, как ехал с Настей в райцентр на резном возке, на том возке, который он смастерил сам. Возок был всем возкам на диво, хоть в музей на самое видное место его ставь. Ехал с Настей на концерт самодеятельности. В возок был впряжен вороной жеребец-трехлеток, сильно горячий, почти не­объезженный. Он мчался резво, пофыркивая, грациоз­но изгибая шею. Федор крепко держал в руках вожжи, и упругий ветер со свистом и воем, с россыпью колю­чих снежинок обволакивал лицо, шею, грудь и уносил­ся назад, в безмолвное пространство зимних полей.

У Федора было радостно на душе. Он смотрел на невесту и улыбался. Впереди была счастливая жизнь. Настя поступала в институт на заочное отделение, изучала немецкий язык, хотела стать учительницей в местной школе.

Счастье, счастье!.. А вот оно и порушилось, пронеслось на вороных по снежному полю, блеснуло молнией, укатилось в неоглядную даль. Счастье! А может, оно еще обогреет его? Ведь едет домой, к жене. Настя, Настя! Знала бы ты, как Федор стосковался, как он по-прежнему любит тебя!

На железнодорожной станции было пустынно и тихо. Вокзальчик, как подметил Федор, сгорел. Стояла времянка, что-то вроде финского домика. Но местность Федор признал. Он заволновался в предчувствии свидания с родной деревней, с людьми, с Настей. На вокзальчике его никто не встречал, да и некому было встречать. Мать с отцом умерли перед самой войной, а Насте телеграмму не посылал — решил приехать внезапно.

Стоял уже поздний вечер, и сильно подмораживало. Над водонапорной башней мерцал золотистый серпик луны. Пахло морозцем, каменным углем, дымком. Эти острые запахи кольнули в сердце, закружили голову. До Большого Городца нужно было идти километров восемь. В ночную пору — путь не близкий. Но пожитки у Федора были невелики — небольшой вещмешок, да у Веры маленькая кошелка. Дорога звенела под ногами. Морозец крепчал. Стояла уже та пора поздней осени, когда все погружается в глубокий покой. Федор шел и смотрел по сторонам. Все было знакомо ему: и оголившиеся ольховые заросли вдоль канав, и сами канавы, вырытые еще в аракчеевские времена, остекленевшие первым ледком, и телефонные столбы, однотонно гудящие на ветру, и поля в полумраке ночи, чуть-чуть припорошенные первым снежком, и даже небо, лунное и звездное.

Шел Федор, и волнение распирало его, и чем ближе была родная деревня, тем все больше и больше пу­гала подспудная робость. Он боялся встречи с женой.

Деревня показалась за поворотом дороги, тихая, по­груженная в глубокий сон. Федор остановился в нере­шительности, сердце сильно и гулко колотилось.

— Пришли, — произнес он еле слышно и стал рас­сматривать берег речки, дома вдоль нее, за домами скотные дворы и сараи для сена.

Все было прежним и неизменным на первый взгляд, но это только казалось. На самом деле Большой Городец пострадал от нашествия. И когда он всмотрелся по­внимательней, то разглядел проплешины и пустоты: дома изрядно поредели. Тещин дом был цел, и Федор быстрей зашагал, Вера спешила за ним. Подойдя поближе, заметил, что крыльцо кем-то подновлено — заменены доски настила, они были гладко выструганы и сверкали в лунном свете белизной. Дрогнуло сердце. Чья-то мужская рука здесь хозяйствовала. А что, если Настя приняла в дом другого? Потому и на письма, видать, не ответила. Эта мысль снова обожгла его, и он застучал носком сапога в дверь. Никто не выходил. Постучал еще раз, потом еще. Все замерло в эти мгновения. Каждая секунда казалась вечностью. Федор почти не дышал. Наконец, скрипнула дверь, скрипнула где-то наверху, и в сенях послышались шаги. Потом звонкий, до боли знакомый Федору голос спросил:

— Кто там?

— Открывай... Это я, Федор. — У него в горле застряли слова, и больше ничего не мог сказать. Голова кружилась, словно бы опьянел.

— Кто? — Настя, вероятно, не узнала его голоса и не открыла сразу.

— Я, Федор! — выкрикнул он неестественно громко и почувствовал, как кровь хлынула к голове, запульсировала в висках.

В сенях стояла тишина. Она все еще не решалась открыть, хотя чувствовала, что за дверью он, муж Федор Ноги подкашивались — так сильно волновалась. Овладев собой, спросила робко:

— Федя, ты? — хотя теперь уже знала наверняка, что это был он.

— Я. Открывай! Не узнала, что ль? — властно, хозяйским голосом потребовал Федор.

Щеколда стукнула, и дверь отворилась. Настя, высокая, красивая, стояла перед ним — как изваяние, как какое-то видение, словно царевна из сказки. В темноте он не заметил лихорадочного блеска ее глаз и той тревожной растерянности, которые отражались на ее лице, лишь услышал тяжелый выдох. Она подалась к нему, положила руки на плечи, запричитала:

— Федя, Феденька!.. Живой!

У него комок отступил от горла, в груди потеплело. Попытался обнять ее за шею, но она вдруг отпрянула.

— Что с тобой сделали, Федя? — Она подалась назад в испуге, увидев, что на левую руку мужа был надет черный чулочек, а правая обнажена. Настя заметила, что и правая рука обезображена. — Федя, ужель...— Она замолчала, ожидая, что он скажет.

— Я же писал, что руки покалечены. Почему не ответила?

Она стояла растерянная, молчала. Потом сказала:

— Не знала я, Федя, не знала...

— Как же так, а письма? Почему не ответила на письма?

— Не получала я от тебя писем.

В горле опять у него заломило, словно накинули на шею петлю. Сами собой вырвались горькие слова:

— Может, не нужен тебе? В обузу, калеченный?

Она молчала. Боялась сказать, что виновата перед ним. Как скажешь об этом?

Вошли в дом. Тут все было так же, как и до войны. Федор осматривал стены, потолок, печку, незатейливую мебель. Казалось, не три с лишним года назад, а лишь вчера покинул он этот дом, такой по-русски уютный, где всегда было тепло, пахло ржаным тестом, кислой капустой, солеными огурцами и еще какими-то еле уловимыми запахами кухонных приготовлений. Присев на скамейку, он как-то сразу обмяк. Дом бы не его дом, тещин дом, перед самой войной перешел сюда, а родительский продал.

Несколько минут все сидели молча за большим кухонным столом, накрытым зеленой клеенкой. Он вспо­мнил, что клеенку купил за полгода до войны, и вот она еще жива, но уже изрядно поизносилась — в нескольких местах была протерта насквозь. На подоконниках стояла герань, она пахла терпким ароматом и распустила два розовых цветка, тут же распушил еловидные лапки другой цветок. Как называется он, Федор не помнил; он любил цветы, когда-то для них набирал землю из-под опавших перепревших липовых листьев или в парниках и в болотистых торфянистых лугах. Фе­дор знал в этом толк: пробовал землю на ощупь, разминал ее пальцами — покойница мать всегда была довольна сыном.

— Землю-то не меняли в цветочных горшочках? — спросил он, нарушив тягостное молчание.

— Нет. А что? — встрепенулась Настя и посмотрела на подоконник.

— Я просто так спросил, — ответил Федор, а сам хотел сказать, что земля в горшках истощала, что надо ее заменить.

Вошла мать Насти, Екатерина Спиридоновна. Увидев зятя, стушевалась, тоже, по-видимому, ждала.

— Никак Федя?! Господи! Думали, и в живых-то нет, а вот на тебе, воскрес...

Федор приметил, как она подозрительно взглянула на Веру.

Теща спросила:

— Кажись, с кралей пожаловал? И где такую красотку подцепил, в каких краях?

Федор грубо оборвал:

— Какая там краля! Сестра милосердия. Из госпиталя. Привезла меня.

— Привезла. Ах, господи! — запричитала Спиридоновна — А я-то подумала... Прости, зятек. Извини.

— Издали они приехали. Из большой дали,— начала пояснять Настя. — Ведь Федор без руки теперь.

Спиридоновна заохала:

— Изувечили бедного... Господи! Как жить-то теперича? Ой-оюшки!

— Ладно, мать, ладно. Не надрывай душу! — Настя поднялась, и Федор заметил, что она погрузнела, раздалась в ширину. Платье носит широкое, и походка грузная, степенная. А в глазах все еще испуг. Чего она испугалась? Его, Федора, боится? Или еще чего?

А Спиридоновна не унималась:

— Ждала тебя Настасья-то. Ждала. Неровен час и замуж бы выскочила...

— При живом-то муже? И замуж? Этого еще не хва­тало!— У Федора на щеках

заиграли желваки, и ды­шать стало тяжело. Он пытался унять в себе волнение и не мог.

— Все думали, что тебя и в живых-то нет. Пропал...

— Почему пропал? Почему так думали? Похорон­ку, что ль, получили?

— Нет. Похоронки не было, — спокойно ответила Настя. — Блинов Геша вести страшные привез. Сказал, что погиб...

— Так, значит, Гешка. Ах, вон оно что! Теперь по­нятно. А я всем смертям назло жив остался. Живой! Видите, живой!

— Видим, видим, зятек. Живой-то живой, да... — теща не договорила и с жалостью смотрела на Федора, чуть ли не плакала. — Без рук-то как? Ни дров раско­лоть, ни огород вскопать... Как жить-то?

Федору было горько слушать причитания тещи. Он не хотел, чтобы его жалели. Не хотел! Жалость и сострадание со стороны других вызывали чувство внут­реннего протеста, даже неприязни к тем людям, кото­рые его жалели. В голове кружилось и вихрилось: «Зачем приехал? Зачем? Были б дети — другое дело. Настя молодая, красивая, найдет другого, по себе. А я теперь для чего тут? Для чего? Исковеркаю чужое счастье, изломаю». Да он и не поехал бы, если бы не любил Настю. Всегда страдал, еще там, в госпиталях, когда думал о том, что Настя ласкает другого, стирает для другого белье, готовит обед другому... Ему горько было думать об этом, но иногда так размышлял он, и видимо, не без причины.

— Что живого отпеваете? — вырвалось у него. — Не нужен — так прямо и скажите! Не боюсь правды. Вся правда со мной. Вот смотрите!..

— Федя, Федор, успокойся! Никто тебя не гонит. Все обдумаем, обговорим. — Так сказала Настя и не смогла скрыть волнения. — Во всем война виновата! Только война...

Она смотрела на Федора большими печальными глазами, и он уловил в ее поведении что-то неладное, какое-то смятенное чувство у нее на душе. А что? Он не мог понять.

— Смотрите, не нахлебник я вам! — вырвались слово обиды. Он не хотел так сказать, а почему-то сказал.

— Поговорим вдвоем, наедине, — предложила Настя. — Мама, ты иди, спи и Веру уложи. А мы с Федором потолкуем.

На столе горела керосиновая коптилка. Красный огонек с черным вьющимся хвостиком слабо подрагивал. Федор глядел на это живое и трепетное сердечко огня и думал о том, как отразилась война на всех ме­лочах быта людей. Вместо лампы — коптилка, потолок потемнел. Но что поделаешь, керосина не хватает, да и мало ли теперь чего не хватает. Вот стены и пото­лок не мешало бы оклеить, но где купишь обои? Днем с огнем не найдешь. И все война. Если б не было ее, как бы жили хорошо, и у него, у Федора, судьба сло­жилась бы по-иному. Другим бы он был, не таким. И стало больно от мысли, что не станет прежним. Война закончится. Появятся и обои в продаже. А что с ними, с этими обоями, будешь делать без рук-то? И коптил­ка исчезнет — будет гореть электричество. Непременно будет! И дома будут новые. Все будет, все изменится, только он, Федор, останется безруким на веки вечные.

Настя сидела тут же и долго молчала, и он молчал, глядел на нее и задавал вопрос: «Зачем приехал?» 3атем запретил себе так думать, отогнал эти мысли. Ведь он, Федор, если справедливо-то разобраться, за нее, за Настю, и погибал там, на фронте. Чтоб сберегласьдля него, для Федора.

Наконец спросил:

— А жила-то как? Расскажи.

— Жила не в покое, — ответила она. — Несладко нам тут жилось.

— Я понимаю, несладко. — Федор немного помолчал, затем добавил: — А без мужиков-то как обходились?

Она не отвечала, хотя и поняла двусмысленность этого вопроса. А он смотрел на нее и ждал.

— Без мужиков-то как? — снова спросил он.

— Как вы на фронте без баб, так и мы тут.

— Теща-то не зря намекнула, будто ухажер у тебя был...

У Насти замерло сердце, словно насквозь он ее просветил, заглянул в душу.

— Что ж молчишь? — не унимался Федор. — Отвечай, аль грешок какой есть? От деревенских все равно узнаю.

Он пристально смотрел на нее. И она увидела, как он натужно дышит, внутри у него все клокочет: он ждал правды, и больше ничего другого не ждал.

И вдруг она осмелела:

— Я тоже смерти глядела в глаза. И не раз! Сквозь ад прошла!

— Это через какой ад-то?

— Разведчицей была. Смерть со мной ходила рядом, и не раз. Ну, что скажешь на это? Может, документы показать, награды?

Федор опешил. Не ждал такого ответа. Значит, партизанкой была. Воевала.

— В партизанах небось ухажер был?

— Ну что пристал? Был ли, не был. Ну, а если и был, что из этого?

— Как что? Ты ж замужняя, должна была ждать законного мужа.

— Жди, когда сказали, что погиб ты. В окружение попал.

— Кто сказал? Ведь тут были немцы.

— Гешка Блинов. Вот кто. Уж говорила тебе.

— Блинов? — удивился Федор. — А что, он живой?

— Вот в том-то и дело, что жив. Вернулся безногим.

— Ну и дела! И что же сказал он тебе, Гешка?

— Сказал, что погиб. И документы твои передал. В подтверждение своих слов.

— И ты решила, что свободна?

— Решила.

— И на письма не ответила,— снова начал попрекать Федор. — Ведь писал же...

Она похолодела. Да, не ответила на его письма. Не знала, как отвечать. И о чем могла написать? Только о том, что жива? Но ведь жива-то жива, а в каком положении? Даже жизнь не мила с тех пор, как получила первое письмо от него, от Федора.

— Не получала я писем,— солгала она и почувствовала, что сказала не так. Надо было сказать правду, а правду сказать опять не смогла.

— Не получала? А я ведь писал. Правда, не сам писал, сосед-инвалид. Я диктовал ему...

— Думала, в живых тебя нет. Ведь Гешка-то видел тебя погибшим.

— Ну и что! Плохо, что воскрес? Ведь живой, Настя, видишь, живой! — Он задыхался от волнения. О чем-то догадывался, и она это понимала, чувствовала, что подозревает в измене. — Может, другой у тебя? Так и скажи! Я не боюсь правды. Лучше горькая правда, чем ложь.

— Виновата я перед тобой, Федор. — Она опустила голову, как бы прося у него пощады. — Виновата...— подтвердила еще раз и, закрыв лицо руками, заплакала.

«Призналась»,— подумал Федор. Он готов был уже простить ее, но что-то мешало сказать последнее реши­тельное слово: то ли опять ревность зашевелилась, то ли обида, но волнение исчезло, он успокоился.

— Ладно, прощаю,— сказал он и сам не знал, за что он ее прощает.

Она встрепенулась, подняла голову, перестала плакать. Подалась к нему, уткнулась головой в колени му­жа и снова заплакала.

— Хватит плакать, хватит,— приказал он и отстранил ее от себя. — Что было —

быльем поросло. Не будем вспоминать прошлое. Не будем...

Она глядела ему в глаза, и неизъяснимое чувство жалости охватило ее, охватило так сильно и так остро, что она не знала, куда себя деть. То ли жалела себя, то ли его жалела — в этом она сейчас не могла разо­браться, но свою тайну все еще не могла перед ним открыть. Не могла...

— Я прощаю тебя, Настя, за все прошлое. И не хо­чу о нем знать, не хочу вспоминать. Но чтоб он сюда, этот ухажер-то, не показывался.

«Да что он, никак с ума спятил,— подумала она. — Ухажером каким-то попрекает».

Поднялась, подошла к окну, откинула занавеску и увидела, что на улице уже светает. Повернулась к Федору, сказала:

— Я пойду...

— Куда?

— Мне надо. На острове утки.

— Какие утки?

— Колхозные. Замерзли они там у меня. В амбарушку их загоню, в зимовник.

И, быстро одевшись, вышла на улицу.

**Глава двадцать четвертая**

За деревней поля сверкали белизной: только что выпал снег. Мороз начал сдавать. Было тихо. Свежий воздух кружил голову, и Настя, не чувствуя своих ног, быстро подошла к озеру.

Она шла, и сильное, неуемное волнение все более и более охватывало ее. Она словно бы приближалась к роковой черте и, чувствуя шаткость своего положения, готова была утопиться в этом озере. «Господи! Федя! Живой... Что я наделала, Федя?!»

А вот и озеро, белое-белое. Берега еле различались, и Настя остановилась, не зная, что делать дальше. Еще вчера на озере был тонкий сверкающий ледок. Она бы­ла тут вечером. Стояло низко солнце, красновато-желтое и большое. Скользящие лучи, словно стрелы, играли на агатовой поверхности тонкого льда.

Озеро покрывал снежок. Белый, пушистый. И запах от него тонкий и резкий, свежий запах первого пред­зимья. Вот слева — пожухлые камыши, ивняковое оже­релье, припорошенное снегом. До острова метров сто, не больше. Там утки. Настя стояла в нерешительности. Затем пошла. Лед, потрескивая, прогибался, но не про­ламывался. Она прошла больше половины пути и, по­скользнувшись, упала. И вдруг лед затрещал, а когда начала подниматься, из трещин упругими фонтанчика­ми проступила вода, расползаясь пятнами по рыхлой поверхности снега.

«Провалилась... Господи, провалилась! Зачем пошла? Ведь знала, что лед тонок, ненадежен». Вода обо­жгла, но, к счастью, было неглубоко. Она поднялась и, разламывая лед, пошла к острову, точно к своему спасению. Шла медленно, оставляя за собой полынью.

Но где же утки? Что с ними? Разгребая стылыми руками звенящие тростинки, звала:

— Уть, уть!..

Выйдя на полянку, остановилась: на снегу, подобрав под себя лапки и спрятав клюв под перья, безмолвно сидели утки, припорошенные снежком. Они даже не шелохнулись на зов хозяйки. Только глаза, будто изумрудные бусинки, напоминали о том, что птицы живы. Настя ударила в ладошки — и стая ожила, затрепыхала крыльями.

— Домой, домой! — крикнула она и погнала уток к полынье.

Птицы, кремовато-белые и серые, с красными широкими лапками, испуганно покрякивая, словно недовольные, что их вспугнули, стряхивая с крыльев снежинки, вразвалку заковыляли к полынье. А селезень Акимка, любимец Насти,— настоящий красавец: шея и грудь с зеленоватым отливом, черные, словно у ворона, крылья, осанистая походка — остановился, поглядел на хозяйку.

— Узнал, Акимка?

В ответ Акимка крякнул.

Подойдя обратно к берегу, Настя почувствовала, что все ее тело пронизывает щемящий холод. Одежда зале­денела и при движении шуршала, точно из жести.

Она зашла в воду, наблюдая, как утки устремились за ней. Шла медленно, одежда сковывала движения. Голыми руками хваталась за окрайки тонкого льда, лед обламывался, а пальцы ломило от ледяной воды. И вдруг почувствовала резкую боль в животе. Что-то жи­вое и властное проснулось в ней — и всю пронзило то­ком. Утки дружной стайкой заковыляли в горку, а она села на снег и глухим голосом застонала. Только теперь она поняла, что приближается неизбежное, то, о чем думала с затаенной тревогой многие дни и ночи.

Она присела на бревнышко и не могла подняться. И вдруг увидела Федора. Он бежал к берегу. «Ну вот и конец,— подумала,— дело идет к развязке. Теперь узнает, что беременна, что изменила ему». Стало так страшно, что даже не почувствовала холода, не чувствовала, что замерзает.

Подбежав, Федор первым делом спросил:

— Что с тобой, Настенька? Зачем пошла? Ну зачем?

— В больницу надо,— сказала она, — В больницу скорей!

Не хотелось рожать здесь, на глазах у мужа. Она должна была родить в другом месте. Только не здесь…

— Вези в больницу, Федор,— уже спокойней сказала она. — Запрягай лошадь и вези побыстрей...

Уцепившись стылыми пальцами за полу его шинели, она поднялась. Как хотела умереть в эту минуту! Как хотела исчезнуть, уснуть и не проснуться!

— Дойдешь ли? — забеспокоился он. Снова начал упрекать ее: — Зачем пошла? Для чего?

Дома мать раздела, уложила в постель. Федор побежал в правление, но председателя не оказалось. В небольшой комнатушке сидел счетовод Макарыч, дымил самосадом.

— Федя! Федя! — закричал Макарыч. — Объявился, ёшкин ты шкворень!

Федор был бледен, и Макарыч сразу осекся, начал расспрашивать:

— Что с тобой, Федор? На тебе лица нет...

— Беда, Макарыч. Беда... — Федор еле выговаривал слова.

— С кем беда-то?

— С женой беда. Лошадь срочно нужна. Лошадь!

Макарыч оторопело снял очки, осоловело глядел на Федора. Затем сказал:

— Нет председателя. И лошадей нет. Все на лесоза­готовки уехали. В колхозе всего три лошади. На всех трех и укатили, вместе с председателем. Вишь ли, лес нужен. Строиться надо. Каждое бревно на вес золота. А с Настей-то что?

— Под лед провалилась. За утками пошла, чуть не утонула.

— Слава богу, жива. В избе отогреется. Отойдет. Баньку истопи, веничком пропарь. И хворь как рукой снимет.

Макарыч долго ему объяснял, как лечить от просту­ды. Федор слушал, потом махнул

культяпкой и заторо­пился к выходу.

Настя лежала и охала, глядела на Федора оловянными глазами, просила, чтоб отвез. А на чем повезешь? Хоть сам впрягайся. Он залез на чердак, разыскал сан­и-самоделки и решил все же Настю отвезти. Теща закутала ее в тулуп, усадили в салазки, и Федор, впрягшись словно лошадь, рванулся по рыхлому снегу, еще никем не обкатанному, в село Ивановское, где была сельская больница.

— Работает ли больница-то? — спросил он у жены. — Может, сгорела при фашистах?

— Больницу открыли месяц назад,— проговорила Настя из-под тулупа и почувствовала, что у нее начались сильные схватки. Она собрала всю свою волю, сжалась в комок: только бы не закричать, доехать до боль­ницы.

Снег слегка таял. Сначала Федор тащил санки без особого труда, они скользили свободно и на спусках чуть ли не сами догоняли его. Он торопился и все время задавал себе один и тот же вопрос: чем она заболела? Может, опасное что? Он думал об этом и робел и почти бежал, натягивая лямки саней. Идти было все тяжелей и тяжелей. На третьем километре оглянулся: на санях безжизненно громоздилось из кучи одежд что-то бесформенное и неподвижное, не похожее на человека. «А что, если умерла она?» И он с опаской подошел к саням, осторожно отвернул уцелевшими пальцами правой руки ворот тулупа и через щелочку увидел слегка припухлые губы, заострившийся нос и полузакрытые глаза жены.

— Настя! — крикнул он и затаил дыхание. — Настенька, жива?

Она открыла глаза, испуганно посмотрела на него, прошептала:

— Скорей бы... Федя, скорей!

— Сейчас довезу, сейчас.— И он снова впрягся в санки, но почувствовал, что сильно устал.

Дул встречный ветер, повалил снег. Федор вдыхал горьковатый запах мокрого снега, облизывал губы, ино­гда култышкой смахивал снежинки со лба и тянул лямку, точно бурлак бечеву. Все чаще останавливался, пе­реводя дух, и глядел вдаль, где сквозь снежную пелену виднелись дымки над крышами. Последние две сотни метров показались ему особенно тяжелыми. Отдыхал через каждые две-три минуты и снова шел. Раза четыре падал. Последний раз упал на спуске в ручей, у самого села. Когда поскользнулся и со всего размаху сел, санки больно ударили ему в спину. Он вскрикнул от боли и сразу не мог подняться. Отдышавшись, встал, раскорячив ноги, повернулся лицом к санкам и крикнул:

— Приехали, Настя!

Она отвернула ворот тулупа и посмотрела на него, словно затравленный зверек. А он стоял и глядел нее, радуясь, что довез.

Она позвала его:

— Федя, подойди... ко мне поближе...

Он подошел.

— Спасибо, Феденька! Спасибо!

— За что спасибо-то, Настя? Ведь я люблю тебя, дорогая! Очень люблю!

Она молчала, не знала, как ему ответить. Ведь он так любит ее. Достойна ли она этой любви? Она, изменившая ему. А он, Федя, святой: на все готов ради нее. На все!

— Ты добрый, хороший, Федя. А я... — она договорила, не хватило мужества сказать правду. Горька была эта правда! Страшно горька!

Он уже начал догадываться о чем-то неладном, но жалость к Насте, сострадание, привязанность к ней, любовь к ней — все это чувствовал в себе Федор и готов был простить все, в чем бы ни была она виновата.

— Ладно, не беспокойся,— сказал он тихо, наклонил­ся и поцеловал в горячий лоб. — Все будет хорошо, родная. Все хорошо.

Он снова впрягся и единым махом вынес санки к больнице. И только у крыльца почувствовал, как сильно устал. Стоял, пошатываясь, и уже не в силах был подняться по ступенькам. Отдышавшись, крикнул:

— Эй, люди, где вы?!

Его услышали. Женщины в белых халатах выбежа­ли на улицу, подхватили Настю под руки и повели в больницу. Он видел, как Настя поднималась по лестни­це, еле переставляя ноги, тяжелая, неуклюжая в овчин­ном тулупе. Он хотел было помочь женщинам, но почему-то остался стоять и, когда жена скрылась за дверью, двинулся следом за ней.

Настю увели в приемный покой, а он ждал в коридо­ре, сидя на скамейке. Врач вышел минут через десять. Это был маленький старичок, остроносый и с седеньки­ми усами. Посмотрев на Федора улыбающимися глазка­ми, спросил:

— Привез сам, значит?

— Сам.

— Ишь прыткий какой!

— Жена! Что с ней? — спросил Федор.

— Не задержим,— ответил доктор. — Приезжай че­рез недельку. Повезешь обратно.

— Я приеду. Обязательно приеду.

— Ну, вот так-то.

Федор подхватил салазки и двинулся в обратный путь.

**Глава двадцать пятая**

Обратно он не шел, а будто бы летел на крыльях: пустые санки катились легко, Федор даже не ощущал их. Шел и думал о своей судьбе, думал о Насте — да, пожалуй, он больше всего думал о ней. Только бы обошлось все благополучно, только бы поправилась. И он обязательно привезет ее обратно на этих же санках, этой же дорогой. Привезет домой...

Вечером решил навестить Гешку Блинова. Пришел к Блиновым как раз в тот момент, когда они садились ужинать.

— Федюха! — Гешка загремел костылями, вышел из-за стола, обнял Федора, костыли с грохотом упали на пол. — Эх ты, маткин берег! Вернулся, пропащий...

— Вернулся, да вот похуже тебя. — И он протянул Гешке свои руки, вернее, то, что осталось от рук.

Гешка грузно опустился на табурет, пучеглазо уста­вился на Федора.

— Да, с такими руками житье поганое,— промямлил он наконец. — Но ведь жив остался. А я думал, что ты уже на том свете, в раю у самого господа. И Насте сообщил, что тебя нет в живых. Документы твои ей передал.

— Вот живой, как видишь. И ты живой. Инвалиды Отечественной...

— А пенсию какую дали? — спросил Блинов.

Федор ответил.

— Не густо, дружок. И подзаработать к пенсии не так просто. А я живу. — Гешка засмеялся, показав жел­тые зубы, подмигнул жене: — Марья, принеси-ка буты­лочку первача. Не мешает и выпить ради такой встречи.

Марья моментально исчезла. Гешка помог Федору снять шинель, повесил на гвоздь, спросил:

— Когда приехал?

— Ночью. А утром Настю отвез в больницу. Забо­лела она. Отвез на салазках.

На Гешкином лице застыло удивление.

— Это бабу-то? Настю? На салазках... Сам. Я бы ни за что не повез.

— Да ты и не смог бы с одной-то ногой. А у меня ноги все ж целы.

— Хоть бы и ноги были, все равно б не повез.

Марья принесла бутылку, плотно заткнутую проб­кой, поставила на стол.

— И стаканы подавай,— приказал Гешка, вынимая зубами пробку. Потом стал разливать мутноватую жид­кость. Поднял стакан: — Ну что ж, со встречей!

Федор хотел было отказаться, но счел неудобным, приподнял рогульками стакан и вдруг выронил. Самогонка разлилась по столу, потекла на пол.

— Эх ты, Проня! — начал попрекать Федора Блинов. — Что дитя малое — и стакан удержать не можешь. А как же с бабой ты? Пропадешь!

Федор смотрел на Гешку растерянно, не знал, что сказать. Гешка быстро, почти в два глотка, выпил свой стакан, смачно чихнул, обтер кулаком губы, затряс го­ловой.

— Хороша, чертовка! Хороша! — прокричал в ухо гостю. Налил полный стакан и поднес к губам Федора: — А ну-ка, пей!

В ноздри Федора пахнуло сивушным. Он круто отвернул лицо, но Гешка сноровисто подхватил левой рукой под затылок, а правой начал вливать самогон в раскрытый Федоров рот. Гость сопротивлялся. Вонючая жидкость переливалась через край стакана, стекала за ворот гимнастерки, неприятно щекотала кожу. Федор решительно затряс головой.

— Не могу, не могу так. Давай лучше сам. Наливай.

Гешка долил в стакан.

— Сможешь ли сам-то?

— Смогу. — Он снова зажал рогульками стакан, при­держивая его левой культяпкой. Поднес к губам. Пил долго, мелкими глотками, локти судорожно вздрагива­ли, и шея напряглась и покраснела, взбугрилась жила­ми вен. Выпив, чуть не выронил пустой стакан

из куль­тяпок.

— Ишь ты, едрена корень! — Гешка засмеялся.— Вино пить можешь, значит, толк будет, не пропадешь.

Он ловко поддел вилкой огуречный кругляш и подал его Федору:

— Закусывай.

Кормил Федора квашеной капустой и огурцами. Ка­пуста похрустывала на зубах, и

неприятное ощущение сивушности моментально исчезло. Голова слегка закру­жилась. Одну порцию еды Гешка бросал вилкой в рот себе, другую — Федору.

— Может, повторим? — предложил он гостю и, не ожидая согласия, налил по второму стакану.

От второй порции Федор изрядно захмелел. Чувствовалась усталость, нервная перегрузка давала о себе знать. По всему телу разлилась размягчающая теплота. Он сидел и молчал, а Гешка без умолку рассказывал:

— Братец ты мой, я в плен попал. Там, в лазарете немецком, и ногу оттяпали. По самое некуда. Потом меня в лагерь спихнули. Ну, по лагерям и болтался. Работать не работал — нахлебником был у них. Но хлеба­-то лагерные, сам знаешь, не сладки — остались кожа да

кости. И взяла меня к себе одна бабешка: выклянчила — и отпустили. Пожил я у ней с полгодика, да и домой подался. И вот, как видишь, дома, у жены под крылышком. И, когда освободили нашу деревню, пенсию схлопотал, получаю ерунду пустяковую, а жить надо. Съездил в Иваново, ситцевый город такой есть. Раздобыл ситцу метров с полсотни — и на Кавказ махнул. Там все на сухофрукты обменял — и обратно в Иваново. Дорога бесплатная. Туда — ситец, обратно — фрукты, лавровый лист. Бизнес прибыльный, и житуха — во! — Гешка поднял прокуренный палец, прищелкнул языком и, свирепо посмотрев на жену, приказал: — Неси еще заветную!

— Может, хватит? — предложил Федор, но Мария вышла на кухню.

— Принесет,— не унимался Гешка. — Гульнем как следует, так, чтоб чертям было тошно. Гульнем?

Федор молчал. В голове крутились хмельные мысли. Он хотел сказать Гешке что-то важное и значительное, но не мог. Хотел спросить про жену, что и как. Мысли обрывались, путались. Он слушал Гешку, а думал о другом. Настя преподнесла загадку. Он хотел забыть обо всем. И тоже не мог.

А Гешка между тем продолжал без умолку:

— Не пропадешь и ты, Федюха! Без рук оно, конечно, плохо, но деньжищи заграбастывать и культяпками можно. Да еще какие! Гляди, у тя подвесок-то на груди — иконостас настоящий, хоть молись. Три ордена, две медали. — Он провел пальцами по груди Федора. Ордена и медали зазвенели. — Звон-то какой! Малиновый. С таким иконостасом озолотиться можно.

Он хохотнул заливисто, взмахнул руками, словно хищная птица крыльями, шлепнул по Федоровой спине ладонью:

— Со мной, брат, не пропадешь. Я все ходы и выходы знаю. Давай подадимся на железку, в поездах будем разъезжать. Я шапку понесу, а ты: «Подайте, гражданы, христа ради, инвалиду...» И рублики, а то и трешницы посыпятся дождиком. Ты думаешь, стыдно? Это споначалу, а потом и стыд улетучится. А народ у нас добрый, жалостный. Особливо матери, у которых сыновья на фронте погибли, или вдовушки-вековухи. Глянет иная на твои култышки, на ордена — слезьми обольется, глядишь, не то что трешницу, пятишник подаст. Одна — рубль, другая — три, а за день-то, гляди, сколько наберешь.

— Нет, я на это не способен, Геша.— Федор хмельно тряс головой, стыдливо морщился. — Нет, нет.

— За Настину юбку держаться надумал? Ну, дер­ись, держись. Посмотрим, что у тя получится.

— Люблю ее, Геша. Сильно люблю.

— Люби, люби. Да вот она тебя, видать, разлюбила.

Федор насторожился. К чему это клонит Блинов? Что он знает?

— Куда ты ей такой нужен? — продолжал Гешка.— Увечный, безрукий? Поди, другого кавалера завела?

— Кого ж? Скажи, если знаешь.

— И скажу. В партизанах у ней там немец какой-то был.

— Это ты зря, Геннадий. Какие в партизанах немцы?

— Были, говорят, и немцы. Те, что супротив Гит­лера... А?

— Это уж дудки. Не верю я этим побасенкам. Не верю!

— А кто ей крыльцо ладил? Знаешь об этом?

— Откуда ж мне знать?

— Вот и наматывай на ус. — Гешка загоготал, за­пустил пятерню в рыжие волосы. — Есть тут один плот­ник такой. В партизанах был, но сердечко у него начало шалить, когда отряду туго было. Так вот он по женской части настоящий мастак. Эй, Марья,— позвал Гешка жену,— расскажи-ка рогоносцу, как Костя Сапрыкин красивым вдовушкам головы вскруживал.

Марья показалась из-за двери, зыкнула на мужа:

— Нашел, о чем спрашивать! Иди у самого и спро­си. А Федора не мучай. У него и так на душе кошки скребут. Не терзай человека!

— Ну что, давай договаривай, чтоб ясно было,— по­требовал Федор и строго посмотрел на Блинова.

На Гешкином лице расплылась неприятная улыбка. Глаза, серые и пронзительные, в каком-то сатанинском прищуре, тоже смеялись.

— Бабе поверил? — выдавил два слова Гешка и злобно выбросил плевок в дальний угол. Помолчал и добавил:— Живи, как хошь,— твое дело. Но смотри, как бы она, твоя красотка, тебе подарочек не прине­сла. Люди-то что говорят?

— А что? — насторожился Федор.

— Поживешь — узнаешь.

Беспокойно стало на душе у Федора. Он хотел что-то сказать Гешке, сказать о том, что с Настей все уладил, что простил ее,— хотел сказать, но ничего так и не ска­зал. Гешкины слова вертелись в голове, он не мог избавиться от навязчивых раздумий, почти не слушал Бли­нова, механически, по инерции поддакивал ему, во всем соглашался. Пил самогон, пьянел. Сидели они допоздна, а как легли спать — потом не мог вспомнить.

Федор проснулся рано и не сразу понял, где находится. Лежал на полу, под голову была подброшена подушка. Голова разламывалась. Во рту было гадко, и хотелось пить. Федор смотрел в потолок, оклеенный старыми, уже пожелтевшими от времени газетами, и в душе проклинал себя за вчерашнюю выпивку. «Нет, так не годится,— думал он,— недолго и под откос пойти. А скатишься, упадешь — подняться трудно будет. Да и вообще можешь не подняться — пропадешь ни за что А узнала бы Настя, что напился до такого скотского состояния, что подумала бы?» Воспоминания о вчерашнем дне возвращались отрывочно, спутанно и непоследовательно. Вспомнил, что Гешка непочтительно отзывался о женщинах, что-то нехорошее говорил о Насте. А что? Припомнить Федор не мог. Виновата ли Настя? Возможно. Она и сама призналась в своей вине. А в чем виновата — Федор так толком и не мог понять. Может, виноват он сам. Когда лежал в госпитале, долго не писал жене писем. Боялся. Написал всего два письма. Не исключено, что не дошли до адресата. А может быть, и получила, а теперь говорит, что не получала, чтоб себя оправдать. А если не получила? Решила, что он, Федор, умер, пропал безвестно, а раз сгинул — ждать некого. И подвернулся другой. Так кто же? Кто это мог быть?! Федор, как ни напрягал память, вспомнить не мог. Ведь Гешка намекал, что кто-то крыльцо чинил. Ага, теперь вспомнил — Костя Сапрыкин. Костя, Костя... Это тот Костя, что живет в Ивановском, мальчишка желторотый? Теперь, поди, подрос. Нет, Костя тут ни при чем. Не могла же Настя с каким-то сопляком любовь кру­тить. Не могла...

Так он лежал на полу и думал. Было тихо. Но вот скрипнули половицы. Федор насторожился. В боковушку, где он лежал, заглянула Мария. И только теперь он понял, что ночевал в чужом доме, у Блиновых.

— Не спишь? — спросила Мария.

— Да вот, проснулся. Геннадий где?

— Сидит на кухне, тебя поджидает.

Федор встал. Тело разламывало. В пальцы, которых на самом деле не было, впивались

тысячи мельчайших иголочек, он хотел стряхнуть эту боль, избавиться от нее — и не мог. Понял — кусается война.

Гешка сидел за столом, мутные глаза бесцельно блуждали. Казалось, что был зол на то, что ничего не осталось на опохмелку. Загромыхал костылями и сиплым, пропойным голосом прокричал:

— Маруха! Где ты? Холера персиянская...

— Что ругаешься? — одернул его Федор и сел на скамейку.

— Это я так, любя.

Федора передернуло. Было неприятно слушать Гешкины ругательства,— он чувствовал,

что назревает скандал, и хотел было подняться и уйти, но Гешка вцепился пятерней в плечо и усадил на место:

— Ты, друг, не уходи! Без тебя — пропал. Когда гость в доме, она мягче, баба-то. Самогон у нее упрятан — сам черт не найдет.

Мария не показывалась. А когда вошла, Гешка перестал ругаться, ласково поглядел на жену:

— Машенька, голубка! Пожалей нас, грешных, найди бутылочку. Ради гостя дорогого...

— Только что ради гостя. Для тебя бы — ни за что! Но самогонка-то вся кончилась. Откуда возьму?

— Есть еще бутылка. В подызбицу спрятала... По­ищи, пошуруй.

Долго уламывал жену, обещал достать на костюм хороший отрез, каялся, умолял. Мария, казалось, была непреклонна. Молча вышла из кухни, спустилась в под­вал. Гешка сразу повеселел:

— Она, баба-то, у меня добрая. Только ключик по­добрать к ней надо. Иногда и поругаешь на пользу, а вдругорядь словно бисер по бархату перед ней рассыпл­ешься. Упряма чертовка! Тряпки любит. Привезешь что поцветастей — глаза разгорятся. Вот так и живу...

Из-под пола показалась Мария. Искрометно взгля­нула на мужа:

— Что язык распустил?

— Да ничего,— заулыбался Гешка,— хвалю тебя, Машута, не нахвалюсь.

— Знаю, как ты хвалишь и кого хвалишь,— и поставила бутылку на стол. — Последняя. Больше не проси, ничего не будет.

— Эге! — Гешка погрозил ей пальцем. — Последнюю завтра достанешь, а сегодня день только начался. При­несешь еще.

Он стал разливать по стаканам. Рука дрожала — и в Федоров стакан он перелил, самогон на столе образо­вал мутноватую лужицу. Гешка сноровисто слизнул ее языком, слизнул вприхлеб.

— Чтоб не пропадало. Как-никак добро. Давай, дружок, по махонькой.

— Не буду,— решительно отказался Федор.

Гешка поставил свой стакан на стол, с удивлением поглядел на гостя.

— Да ты что, с больной головой поедешь?

— Не буду — и баста!

Федор решительно встал, попросил холодной воды, долго и жадно пил маленькими глотками. Выпил до дна, поблагодарил Марию. Процедил сквозь зубы:

— Пойду.

— Куда пойдешь-то? — спросил Гешка.

— В больницу пойду.

— Это к ней, к Насте?

— К ней.

— Ну что ж, иди. Может, подарок она преподнесла. Иди, иди.

— Какой такой подарок?

— Ступай. Сам узнаешь.

**Глава двадцать шестая**

Федор вышел от Блиновых — точно колючим еловым веником исхлестали его по спине. Он так и не мог по­нять, на что намекал Блинов, но явно намекал на что-то нехорошее и, может быть, непоправимое. Подарок. Какой же подарок? Он, Федор, не ждет никаких подарков.

Не заходя к теще, Федор вышел на большак и спо­ро зашагал по дороге. Решил пойти в больницу, узнать, как там она, Настя. Слегка морозило. Солнце бросал косые лучи на снег. На ослепительно белой поверхности полей сверкали мириады блесток, Федор смотрел на эти светлячки, шел и размышлял, вспоминал прошлое, пытался отогнать мрачные мысли...

Вдали за отвалами полей синел лес — холодный и, видать, неуютный в эту пору. И вспомнил Федор летний лес. Он любил этот лес, привыкнув с детства к его молчаливым и задумчивым дебрям, к его дремучему вековому шепоту, когда легкий ветер слегка колышет макушки деревьев. Каждая тропинка в этих лесах ему знакома. Он знал и любил тенистые полянки, просвеченные солнцем вырубки, где наливается соком земляника, где нежно зреет малина — тронь ветку, и сладкие ягоды начнут падать на теплую землю. А еловые боры, где полным-полно черники — ягоды синие, сочные, вкусные. А там, где редколесный сосняк, притаился на мшистых кочках брусничник с мелкими листьями, блестящими, точно отполированными, и гроздьями красных и розовых ягод.

Он вспомнил, как ходил за брусникой с деревенски­ми девчатами. Год был урожайный, и ягоды собирались спорко: каких-нибудь полтора часа — и ведро полным-полнехонько. Настя набрала быстрее всех, но споткну­лась о кочку, лукошко у нее выпало из рук и брусника просыпалась. Федор подбежал, помог подобрать ягоды, добавил из своего ведра.

И ранней весной он пошел в этот же лес, на те же брусничные места. На мшистых кочках веточки были темно-зеленые, словно и не было зимы. И ягоды встре­чались уже не гроздьями, а одинокими бусинками — иные бледно-красные, другие дымчато-белые. Положишь ягодку в рот — сама растает кисловато-сладким зимним настоем. До чего же вкусна! Федор набрал туесок зим­них ягод — и брусники, и клюквы,— и все это для На­сти. Только для нее...

И сейчас вот спешит он в больницу, точно неведомая сила подгоняет его, ветерок подталкивает в спину, и молодой снежок скрипит под ногами, как бы поторап­ливает: иди, иди, она ждет тебя... Иди...

А ждет ли? В приемном покое он долго сидел на скамейке. Успокоившись, приоткрыл дверь в соседнюю комнату. А вдруг там Настя! Но ее не было. За столи­ком сидела незнакомая женщина в белом халате. Она сразу заметила Федора, спросила:

— Вы к кому?

— Извините,— робко проговорил Федор. — Я хотел бы узнать о здоровье жены. Фамилия — Усачева, Ана­стасия Усачева.

— Усачева? Ах да, Усачева. Сына родила Усачева.

— Сына? — Федор попятился и зашатался. Эта новость ошеломила его настолько, что

и вымолвил только единственное слово. Больше ничего не мог сказать. Стоял бледный, потерянный, онемевший.

— Что с вами? — спросила встревоженно сестра,— Жена здорова, и ребенок хорошенький.

Она подумала, что он от радости растерялся, а затем догадалась, что здесь что-то другое, непонятное.

Через некоторое время он пришел в себя и снова спросил:

— Родила?

— Да, родила. Роды нормальные, не беспокойтесь

— А могу повидать ее? — спросил и спохватился, что видеть он ее уже не может и не хочет, а спросил, просто не подумав.

— Нет, сейчас пока нельзя, — услышал будто бы издали приглушенный голос

женщины.

— Нельзя? — снова спросил он.

— Да, нельзя.

Федор махнул култышкой и повернулся к выходу. Сильно толкнул ногой в дверь — в комнату хлынул хо­лодный воздух.

— Фу, ненормальный какой! — услышал позади себя голос сестры и быстро спустился по ступенькам. Пошел, слегка пошатываясь.

На улице все еще не мог понять, что же произошло на самом деле. Не верил в случившееся. Не хотел ве­рить. Как же так? Настя родила. При живом-то муже! Сколько пересудов будет в Большом Городце! Вдруг ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от людей. Уйти от позора в лес, однако и лес холодный, неприют­ный, чужой. Показалось, что и сам он никому не нуж­ный, совсем лишний человек на этом белом свете. На­стя, Настя! От кого же родила? С кем связала судьбу? Вспомнил о Сапрыкине. Это он чинил крыльцо. Значит, похаживал в гости. И Гешка Блинов об этом намекал. Сапрыкин, Сапрыкин... Этот парнишка как-то расплыв­чато возникал перед ним. Федор помнил его подростком, совсем еще зеленым, смазливым на лицо. Лет шестна­дцати он его помнил, а сейчас, поди, настоящий па­рень. Надо бы повидать его, этого Сапрыкина. Обяза­тельно повидать. Спросить у него кое о чем. И себя показать — что вот вернулся Федор Усачев. Жив. При­шел. Стал припоминать, где живут Сапрыкины. Оказа­лось — совсем недалеко от больницы, всего через два дома.

Сапрыкин колол дрова. Федор сначала и не узнал его — вроде бы он и не он. Подошел

поближе и убедился, что это был Сапрыкин. Костя заметно изменился. Лицо круглое, румяное, красивое. Да, такой парень любой красотке может голову вскружить. Может. Еще до войны девчата заглядывались на Сапрыкина, затаенно вздыхали, но нередко подшучивали: красив паренек, да зелен. А сейчас перед Федором стоял настоящий красавец в расцвете сил: из-под меховой шапки выбивалась пышная грива золотистых кудрей, на висках курчавились небольшие баки, лицо чисто выбрито, и от всей фигуры Сапрыкина веяло благополучием, сытостью.

Так вот он, Костя Сапрыкин... Костя... Первым делом Федор хотел подойти и ударить Костю, но сдержался. Злоба бурлила в нем, словно в кипящем котле.

Взгляды их встретились. Сапрыкин улыбнулся, хотел что-то сказать, но молчал, ждал, когда заговорит первым Федор. А Федор глядел на своего врага и не заметил в его глазах ни стыда, ни враждебности, ни жа­лости. Это еще больше взбесило его.

— Ну что ж, здорово! — вырвалось у Федора. — Петух на все курье стадо...

— Я-то петух. А вот курочка яичко снесла.

— Какая ж это курочка? Твоя, думаешь?

— Моя еще на насесте. А кто знает, может, и моя.

Сапрыкин продолжал улыбаться, а Федора распира­ла ревность. Он готов был уничтожить своего недруга.

— Жену тебе не отдам,— подойдя вплотную, произ­нес Федор. — Ребенок твой, бери,

а Настя — не шути с этим — она моя. Жена законная. А тебе кто?

Сапрыкин обалдело глядел на него и не мог понять, о чем идет речь. Он и не собирался отнимать у Федора жену. И ребенок не его — он знал об этом. Сказать пря­мо, что Федор заблуждается, что Настя родила от другого, не поверит. И он сказал:

— Бери свою Настю. Вместе с ребенком бери.

— Ах, бери, бери? Отдаешь! Обокрал фронтовика. Инвалида. Не стыдно?!

— Бери, раз твоя, не жалко.

Федор смотрел на Сапрыкина с неприязнью. Раздра­жало спокойствие и уступчивость Кости. Напакостил, опозорил. И вот на, бери... Здоров и красив, доволен собой. А что он, Федор? Кто? Калека. И одет кое-как: на плечах — потертая шинелька, на ногах — прохудившиеся кирзовые сапоги. Кому нужен такой? Может, от­казаться от Насти, пока не поздно? И на самом деле, какой он муж? Эта мысль больно ударила по сердцу, и он решил: «Нет, не отдам никому, хоть изменила... Не отдам!» И, подойдя снова к Сапрыкину, дохнул ему в лицо самогонным перегаром.

— Настя моя! Только сейчас был у ней,— солгал он, — только что разговаривал и простил. А ты лишний. Уходи!

— Куда пойду? Я дома, уходи сам, откуда пришел.

— И пойду.

— Вот давай, проваливай...

Федор повернулся и пошел прочь. Все бурлило и кипело в нем. И надо же, этакий щеголь обесчестил и гонит! А ведь красив — ничего не скажешь. И в душе у Федора разрасталась зависть к Сапрыкину. Ведь несправедливо распорядилась судьба. Видать, и война не коснулась парня, обошла стороной. Красив, с руками и ногами. И Настя не устояла... Эх, Настя, Настя! На душе было горько. Шел в обратный путь, точно пьяный. Ревность терзала, не давала покоя. Надо было решать, что делать, как жить. Все порушилось, изломалось. Оказался лишним, встал поперек дороги молодым и здоровым людям. И зачем вторгается в чужое счастье? Зачем? Имеет ли на это право? У них с Настей не было детей. Только официально является мужем. На самом деле, может, давно и не муж, разлюбила. И родила не от него, и любит другого. Но почему не сообщила об этом в госпиталь? Честно, открыто. Написала бы обо всем, как есть, без утайки. И он, Федор, не по­ехал бы в Большой Городец. Остался бы там, искал бы свою судьбу в других краях.

Он не шел, а словно бы плыл по разъяренному вет­ром полю. Солнце светило — низкое, холодное, зимнее. На широком снежном покрывале в лучах серебрились мириады сверкающих блесток. И маленькие серебрин­ки, прыгающие и мигающие, убегали от него все даль­ше и дальше. Ему казалось, что это счастье прыгает и сверкает перед его глазами. Счастье! Куда оно улетело? И вернется ли? Он пытался догнать светящиеся бле­сточки, но они убегали, дразня, и снова вспыхивали вдали. Счастье как бы заигрывало с ним своей призрач­ной близостью и в то же время было таким далеким, нереальным, пугающим. Он пытался догнать свое сча­стье, поймать его, точно жар-птицу, в свои убогие руки — и не мог...

**Глава двадцать седьмая**

Екатерина Спиридоновна возилась возле печи, готовила курам корм. Разминала вареную картошку, стучала ухватом. Увидев зятя, спросила:

— Где пропадал?

— У Насти был.

— У Насти?

— Родила Настя.

Теща всплеснула руками, наскоро перекрестилась и плавно опустилась на табурет.

— Господи боже мой! Как же так?

— А вот так, матушка. При живом-то муже. Опорожнилась.

Старуха поднялась с табурета, суетливо начала перебирать посуду, обтирала глиняные кринки тряпицей. Федор заметил — волнуется.

— Ну, как теперь жить будем? — спросил он. — При­несла ребенка...

— Родила — и бог с ней,— не сразу ответила Спи­ридоновна и перекрестилась снова.— Видать, так богу угодно.

Федор тупо глядел на тещу, потом спросил:

— От Сапрыкина дите? Видел его, негодяя. Сказал — бери, расти...

Спиридоновна с недоумением глядела на зятя, дума­ла, не помешался ли.

— Что мелешь-то зря? От кого родила — одному бо­гу известно. Спроси у ней — от кого. А ты, знамо дело, какой отец? Безрукий-то? — Старуха заплакала.

Федор видел, как мелко и знобяще вздрагивают ее плечи, как судорожно она сжимает пальцами край пе­редника. «Переживает,— подумал,— за дочку пережива­ет, а я, видать, лишний, почти чужой. Свалился горь­ким комом, нежданный, негаданный». Он глядел на Спиридоновну, и ему было нисколько не жаль старуху. Потом встал, широко расставил ноги, потребовал:

— Вот что, мамаша! Пальто достань драповое, хва­тит в шинельке ходить. Оденусь — пойду...

Спиридоновна подняла голову, перестала плакать. Смотрела на зятя испуганными глазами, часто и подсле­повато мигала.

— Какое пальто?

— Мое. Довоенное. То, что в Ленинграде купил.

— Нет того пальто. Проели с Настенькой. Променя­ли на хлеб.

— Как — променяли?

— А так. Думали, нет тя в живых.

Федор рванулся к шкафу и снова потребовал:

— Открой! Сам посмотрю.

— На, на, гляди... — Она открыла дверцу шкафа.— Смотри, проверяй.

Федор увидел на вешалках Настины платья, коф­точки и другие вещи. Пальто не нашел. Теща открыла нижние ящики, начала рыться в белье. Федор сидел на корточках, смотрел. Пахло тряпичной затхлостью, кожей и еще какими-то еле уловимыми запахами подержанных вещей. Руки тещи судорожно перебирали то одну, то другую тряпку. Она вытряхнула на пол старые наволочки, полотенца, чулки, носовые платки, перчатки. Наконец, обнаружила мятую Федорову рубашку.

— На, бери! — бросила на плечи зятя.

Рубашка шелковая, голубая, та, которую надевал в день свадьбы. Федор попытался свернуть и уложить ее на коленях.

Теща фыркнула:

— Подобрать даже не можешь! — и подхватила шелк, подошла к столу, завернула в обрезок газеты и подала Федору.

Он прижал сверток и вдруг понял, что он тут лишний, совсем чужой и никому не нужный в этом доме. У порога спросил:

— А Вера где?

— Это сестрица-то? Ушла на станцию еще утром. Торопилась к поезду.

Пришел к Блинову. Не хотел идти к нему, совсем не хотел, а вот пришел. Гешка сидел на табурете и подши­вал старые валенки.

— Садись, друг, садись,— пригласил Федора.— Что невеселый такой?

— Дела неважнецкие. — Федору нужна была чья-ли­бо поддержка, хотя бы друга-фронтовика. А какой друг Гешка? Собутыльник, пьяница. Не по пути ему с ним.

— Может, тяпнем по махонькой? — предложил Геш­ка и весело крикнул: — Марья!

— Нет, пить не буду,— отказался сразу Федор. — Горе самогоном не зальешь.

— А что у тя за горе?

— Жена родила. Настя.

— Ой-хо-хо! — Гешка закатил глаза, озорно засви­стел.— Вот это новость! Подарочек, значит, преподнесла. Я же говорил тебе, что принесет. Ну, и что дума­ешь делать?

— Уеду, чтоб с глаз долой.

— Куда поедешь? Куда?

— А хоть куда. Нельзя оставаться здесь. Сапрыкин — отец ребенка.

— Сапрыкин? — Гешка скрипнул зубами. — А может, не он? Кто другой, может?

— Он. Видел его там, в Ивановском, разговаривал.

— Ну и что?

— А то, что прохвост он препорядочный. Гад!

— И все-таки, может, другой кто у ней, у Насти-то? В партизанах была. Разведчицей. Может, понапрасну на Сапрыкина грех накладываешь? У самой спроси.

— И спросил бы, да к ней не пускают. А вообще, что толку теперь спрашивать? Не все ли равно от кого?..

— Давай выпьем с горя-то. Все полегчает.

— Нет, не буду,— опять отказался Федор. — Водка — она что? Человека калечит. Сопьешься — пропал.

— Самогончик тяну — не пропадаю. И совесть свою всю еще не пропил. Всегда чуток про запас берегу. Без совести, брат, нельзя. Она без зубов, совесть-то, а все одно загрызет...

— Это хорошо, что в тебе, Геша, совесть ласточкой приютилась, гнездышко маленькое свила. Значит, че­ловек в тебе не пропал. — Федор строго поглядел на Гешку. — Чтоб не грызла совесть, пить брось. Самогонка, она и остатки совести слопает, а то и всего съест.

— Брось ты, брось! Без водки нельзя. Горюшко свое инвалидное чем зальешь? Вином, больше нечем. Выпьешь — оно и легче. Словно те после исповеди — все грехи напрочь.

— Не прав ты, Геннадий! Водка погубит.

— А что делать? Инвалид — нога болит. Куда де­нешься? Вот и плывешь по волнам — нынче здесь, зав­тра там... Не знаешь, куда и занесет, к какому берегу прибьет. А вот ты со своими культяпками что будешь делать?

— Учиться буду. С азов начну, а добьюсь своего. Мы с тобой не пропащие, Геша. Войну прошли, да еще какую войну! Победители мы с тобой — вот кто! Гордись! На обочину не сворачивай. А если и толкнет кто — не сдавайся. Иди прямой дорогой. Прямо к цели.

— Ишь ты какой идейный! — замахал руками Гешка. — А если я по-своему жить

хочу? И не мешай мне, не агитируй. Жисть — она корявая штуковина, сукова­стая. И по головке погладит, и на лопатки положит. Кто сильней да похитрей — тот и выиграл. А? Вот, к приме­ру, твое, Федя, дело. Жену от тебя отбили. Борись не борись, а сильным оказался не ты — другой посильней тебя.

— Это еще посмотрим!

— И смотреть нечего. Я бы ему морду набил, этому Сапрыкину, по число по первое. И ушел бы... — У Гешки заиграли скулы. — Но ты даже этого сделать не можешь: без рук ты, и он, этот Костя, сильней тебя.

Горько было слушать Федору Гешкины слова. Хоть и возражал ему, кипятился, а правда была безутешной. Ему хотелось непременно повидаться с Настей, объясниться раз и навсегда, чтоб разрубить этот туго затянутый узел, прояснить все до конца. И он решил опять пойти в Ивановское, в больницу, добиваться свидания.

Отправился в путь на другой день. Погода была пасмурной. Шел по скользкой дороге и думал, что увидит Настю, поговорит — и все уляжется, все встанет на свои места. Ему казалось, что он любит ее настолько сильно, настолько властно завладела им эта роковая лю­бовь,— он просто не может жить без нее, без Насти. Он готов был простить ей все — измену и позор, только бы она сказала ему, что по-прежнему любит его, Федора.

Свидания с Настей снова не разрешили. Он стоял у больницы, заглядывал в окна, но увидеть ее так и не удалось. Долго ходил без цели по улице села и не заметил сам, как оказался возле дома Сапрыкина. Костя опять был во дворе, складывал дрова в поленницу. Федор почувствовал, как хлынула кровь в голову, обожгла всего. Красивый и ладный, Сапрыкин, взглянув на Федора, улыбнулся, спросил:

— Опять к жене?

— К ней. Только что навестил и с тобой хочу поговорить, откровенно, как бывший солдат.

— О чем же пойдет разговор?

— О том же, что и вчера. Не договорили до конца.

— А я думал, все сказали, все прояснили. Жена твоя родила. Как говорят: хозяюшка в дому — олады­шек в меду.

— Ты брось эти штучки-подковырочки.

Перед Федором, как и вчера, стоял Костя Сапрыкин. На нем было добротное пальто с каракулевым воротни­ком, что еще больше украшало Костю. А у Федора на плечах шинелька, прохудившаяся, фронтовая. И вдруг он понял в какой-то миг, что на Косте пальто его, Федорово пальто. «Так вот кому теща спровадила мою одежку, а может, и сама Настя подарила»,— подумал и, подойдя к Сапрыкину, култышкой толкнул его грудь:

— Снимай давай! Приоделся в чужое!

— Не лезь! — Сапрыкин побледнел, отступил.

— Сними, шкурник! В чужое приоделся!

Федор рогулькой правой руки вцепился в каракуль. Сапрыкин свалил его с ног, нагнулся, прошипел:

— Уходи по добру, не то дам пинка!

— Это мне?

— А кому ж еще!

Федор ударил Сапрыкина сапогом в живот.

— Не подходи! Еще раз получишь!

— Ах, так! — Сапрыкин ответил ударом.

Удар был тяжелый и сильный, отозвался тупой болью в животе. Дышать было трудно, и Федор распластался плашмя на снегу.

— На инвалида поднял руку? Стервец, негодяй!

Сапрыкин начал его поднимать, но Федор не давался, схватил его обрубками рук за

ноги, пытаясь свалить. И вдруг увидел, что и бурки на ногах у Кости его, Федоровы бурки. Сапрыкин топтался, пытаясь вырваться, и в какой-то момент понял, что нечаянно каблуком на­ступил на Федорову культю. Кровь запачкала фетровые голенища. Сапрыкин отскочил, глаза у него округли­лись, и он стал пятиться, растерянно и торопливо.

— А, испугался! — Федор неуклюже сел. Кровь ска­тывалась в снег, капля за каплей. — Вот она, фронтовая, священная! — И он прижал культяпку к груди.

Сапрыкин и на самом деле перепугался. Воровато смотрел по сторонам — никого не было, и он рысцой по­бежал прочь.

— Стой! Куда? Трус! Будешь ответ держать! — крик­нул вдогонку Федор, но Костя

даже не оглянулся — че­рез минуту исчез за поворотом улицы.

Федор нашел мешочек в снегу, долго надевал его на левую культяпку. Шапка валялась тут же, рядом. От­ряхнул ее, надел и почувствовал неприятность снежной влаги. Снег таял, и струйки воды скатывались за шиворот. Встал на ноги и как-то сразу успокоился — лишь озноб разливался неприятной прохладой по всей спине.

Неторопливым шагом пошел обратно домой. А куда домой — и сам не знал.

Шел и думал, мучительно думал о своей и Настиной судьбе и вдруг услышал позади

себя шаги: кто-то догонял его. Оглянулся. К нему бежал Костя. Запыхавшись, остановился

поодаль.

— Ты прости меня, Федор Иванович! Прости! Не подавай в следствие! — срывающимся голосом начал умолять инвалида Сапрыкин. — Я ведь нечаянно... Прости! Погорячился я...

Федор глядел на него с отвращением.

— Такое не прощают вовек,— сказал и отвернулся.

Он хотел было пойти, но Сапрыкин забежал к нему наперед, упал на колени:

— Не губи, Федор Иванович. Ради бога, прошу, не губи!

— Прощаю формально,— ответил Федор,— а в душе не прощу. Скользкий ты человек, Сапрыкин! Смолоду грязной пеной по чистой воде плывешь. Подавать на тебя не буду, хотя и следовало бы. Обесчестил фронтовика. Можно сказать, обокрал...

— Пальто бери, я тебе отдам. — И Костя стал раздеваться. — Я его не даром взял. Дом

у твоей тещи чинил, пуд муки дал...

— Не возьму пальто, хотя оно и мое. Носи его, раз плечи твои не горят от стыда. А вот бурки возьму: сапоги прохудились. Бурки тоже мои...

Сапрыкин не знал, что делать — то ли снимать, то ли нет: как пойдешь босиком по снегу?

— Разувайся, да побыстрей,— торопил Федор, — Иль тоже за муку обувку-то у Спиридоновны выменял?

— У нее, у нее купил. Может, пальто возьмешь? — начал торговаться Сапрыкин. — Без обувки-то как?

— А как хошь.

Костя нехотя разулся, подал Федору бурки и снова спросил:

— Так подавать не будешь, Федор Иванович?

— Сказал — нет, значит, не буду. — Помолчал, доба­вил:— А ну, марш отсюда! Чтоб с глаз долой!

Сапрыкин не уходил, стоял и смотрел на него, хотел что-то еще сказать.

— Ну, что? — спросил Федор.

— Не виноват я перед тобой, Федор Иванович. Совсем не виноват.

— Ну, давай иди, чтоб больше тебя не видел.

Костя потрусил мелкой рысцой. Ноги его, обтянутые шерстяными носками, печатали на рыхлом снегу следы из крученых ниток.

**Глава двадцать восьмая**

Когда Настя родила и ей сказали, что мальчик, она испытала такое чувство, какое не испытывала никогда раньше: это — чувство материнства, чувство сопричастности к чему-то новому, еще не изведанному и таинственному. Она поняла, что стала матерью, и вместо радости почему-то к ней пришло неизбывное беспокойство, и это мучительное состояние неопределенности особенно мучило ее. Когда она услышала резкий, пронзительный крик ребенка, сердце зашлось, сжалось неуемной болью: этот маленький, живой, розовый комочек, который держала няня, был ее сыном.

— Сынок, сынок,— сказала няня и повернула младенца к матери: — Радуйся, сын!

Настя слабо улыбнулась и закрыла глаза: все в ней еще переламывалось болью, поясница ныла и в животе были рези — везде боль, и так хотела бы она в эти минуты забыться и уснуть глубоким сном.

На другой день разговаривала с медицинской сестрой Глашей, первым делом спросила:

— Он приходил?

Сестра уже знала, о ком она спрашивает, немного подумав, ответила:

— Приходил.

— Ну, и что? — спросила Настя, и сердце снова зашлось, застучало сильно, тревожно.

— Странный какой-то. Вроде бы ненормальный.

— Спрашивал что?

— Спрашивал, как жена. Сказала, что родила маль­чика, сына.

— Так и сказала? А он?

— Что он? Зашатался и на улицу выскочил как чу­мовой.

Настя лежала ни живая ни мертвая. И все думала, думала, терзалась муками и не могла уснуть. Ночью в полузабытьи видела Пауля, видела словно бы в по­следний раз, словно бы там, на улице латышского го­родка, слышала его последний приказ: «Настя, беги! Спасайся!..»

И она бежала, повинуясь его приказанию, снова плу­тала по огородам, ждала его и не дождалась... Так ушел он от нее и остался с ней уже в новой своей ипостаси, в ребенке, которого она родила... И от этой мысли, что она точно бы воскресила из мертвых своего возлюблен­ного, ей становилось легче, она дышала свободней, к ней приходила тихая радость. И с этой тихой радостью она засыпала, счастливая и в то же время несчастная, виноватая перед тем, который вернулся. Что он скажет? Какое примет решение? Она задавала сама себе эти вопросы и готова была в эти горькие минуты умереть.

Но был ребенок, ее ребенок, и она понимала, что должна ради него жить, только ради него. Услышав плач младенца, всякий раз вздрагивала, сердце замира­ло то ли от счастья, то ли от неуемной боли, и этот пронзительный крик новорожденного звал к действию, к воскрешению, к жизни.

И она поняла, что должна жить.

Федор шел по дороге к недалекому лесу. Таял снег. Небо было печальным и хмурым, вроде бы траурным, словно бы плакало. Он шел и думал о своей судьбе и не знал, что делать дальше, как жить. Появился у Насти ребенок. Чей он? От кого? Но от кого бы ни был он, все равно же родился человек, новый человек появился на этой растерзанной земле. А почему такая печаль у него на душе? Почему?

Очнувшись от раздумий, Федор зашагал обратно к деревне. Возле дороги лес был голый и неприютный. Он долго стоял под большой березой, глядел на мокрые ветви, с которых скатывалась изумрудная капель. Он заметил, что и на еловых иголках поблескивает ледяной бисер. Лес, молчаливый и торжественный, сбрасывал холодные капли в снег. Федору стало жутко в этой тишине, и он зашагал прочь от леса. Вышел в поле, посмотрел на небо. Оно было мутным и сырым, сыпало на землю мелкую холодную сеянь дождя. Ведь родился новый человек, а у него, у Федора, холод на душе. Почему так? Ему казалось, что он в своей жизни утратил что-то важное и значительное, утратил навсегда. Шел и страдал. Культяпкой смахивал слезы, протирал глаза, смотрел на деревья и ничего не видел...

А война все еще полыхала, откатываясь на запад неумолимым возмездием, калеча и коверкая на своем пути все живое и неживое. И время тянулось томитель­но и длинно, и казалось, что этому военному времени не будет конца...